

ДЖЕК ЛОНДОН

Морская волна

Mudofaa vazirligi kutub



Книга должна быть
возвращена не позже
указанного здесь срока

Количество предвыданных
выдач

18,03,22
7,04,22

181
16-96

1820-

ДЖЕК ЛОНДОН

МОРСКОЙ ВОЛК



Скоро



Издательство «FAN» Академии наук
Республики Узбекистан
Ташкент—2018

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI SHIRCHIQ
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
AXBOROT RESURS MARKAZI

УДК: 821.111.(73)-31
ББК 84(7СПА)
Л 76

Джек Лондон
Морской волк Джек Лондон – Т.: Издательство
«Fan» АН РУз., 2018, с. 304.
Л 76

Автор, с детства мечтавший покорить водные просторы и побывавший-таки моряком, всю свою любовь к морю вложил в это романтическое приозвучение. Здесь много отличных морских пейзажей с ключьями туман, мощными пассатами, надувавшими паруса, и пенящимся волнами, много опасных морских приключений и эпизодов суровой морской работы.

Продолжаются приключения и на суше: выблещенных героев ждет робинзонлада на уединенном острове, где они будут почти счастливы...

Книга предназначена для широкого круга читателей.

УДК: 821.111.(73)-31
ББК 84(7СПА)

ISBN 978-9943-19-442-7

© Издательство «Fan» АН РУз, 2018.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ	5
ГЛАВА ВТОРАЯ	13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	21
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	32
ГЛАВА ПЯТАЯ	38
ГЛАВА ШЕСТАЯ	45
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	58
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	62
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	71
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	78
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	84
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	89
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	98
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	102
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ	110
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ	116
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ	123
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ	136

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ	143
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ	150
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ	159
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ	164
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	168
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	173
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ	180
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ	193
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	206
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	214
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ	221
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ	227
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ	235
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ	238
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	246
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	252
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ	258
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ	265
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	274
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	283
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ	287
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ	295
ПРИМЕЧАНИЯ	296

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не знаю, право, с чего начать, хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю вину на Чарли Фэррелета. У него была дача в Милл-Вэлли, под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгауэра. С наступлением лета он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро.

Нельзя сказать, чтобы «Маринес», на котором я плыл, был неидеальным судном; этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я, ничто не смысли в мореходстве, и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и тайнственность нависшей над морем туманной пелены мало-помалу завладела моим воображением.

Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы — впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому, капитана, в застегнутой рубке у меня над головой. Помнится, я размышлил о том, как хорошо, что существует разделение труда и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты — рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплаваннии не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например — на роли Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пирс и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил,

что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опыте сказывались выгоды разделения труда: специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность — в то время как его благополучно переправляют на пароходе из Саусалито в Сан-Франциско — озадачиться с плодами моих специальных знаний о По.

У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек затопал по палубе, прерывая мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый бросил взгляд на рулевою рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе — очевидно, у него были протезы — и остановился возле меня, широко расставив ноги; на лице его было написано блаженство. Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море.

— От такой мерзкой погоды недолго и поселеть! — проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки.

— Разве это создает какие-то особые трудности? — отозвался я. — Ведь задача проста, как дважды два — четыре. Компас указывает направление, состояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет.

— Особые трудности! — фыркнул собеседник. — Просто, как дважды два — четыре! Арифметический подсчет.

Слетка откинувшись назад, он смерил меня взглядом.

— А что вы скажете об отливе, который рвется в Золотые Ворота? — спросил или, вернее, пропалал он. — Какова скорость течения? А как относится? А это что — прислушайтесь-ка! Колокол? Мы лезем прямо на буй с колоколом! Видите — меняем курс.

Из тумана доносились заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал. Колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода, и время от времени на него откликались другие гудки.

— Какой-то еще паролодишко! — заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки. — А это! Слышите? Просто гудит в рожок. Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы, там, на шаланде, не зевайте! Ну, я так и знал. Сейчас кто-то хлебнет лпиха!

Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, невидясь, в страшном сматении.

— Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись, — продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли.

Он разъяснил мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а пока у него горели и глаза сверкали.

— Слева паролодная сирена, а вон там, слышите, какой хрипун, — это, должно быть, паровая шхуна; она ползет от входа в бухту навстречу отливу.

Пронзительный свисток неистовствовал как одержимый где-то совсем близко впереди. На «Мартинесе» ему ответили ударами гон-та. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотание сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана, откуда-то сбоку, и звучал все слабее и слабее. Я непроизвольно посмотрел на своего спутника.

— Какой-то отчаянный катерок, — пояснил он. — Прямо стоило бы потопить его! От них бывает много бед, а кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на этукую посудину и носится по морю, сам не зная зачем, да свистит как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет и сам-то уж никак поосторониться не умеет! Прет вперед, а вы смотрите в оба! Обязанность уступать дорогу! Элементарная вежливость! Да они об этом никакого представления не имеют.

Этот необъяснимый гнев немало меня позабавил; пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед, я снова поддался романтическому обаянию тумана. Да, в этом тумане, несомненно, была своя романтика. Словно серый, исполненный таинственности призрак, навис он над крошечным земным шаром, кружащимся в мировом пространстве. А люди, эти искорки или пылинки, гонимые неистовой жадой действительности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью прокладывая себе путь в Неизримом, и шумели, и кричали самонадеянно, в то время как их души замирали от неуверенности и страха!

Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться. Разве я сам не блаженно ощущаю, думая, что мчусь уверенно сквозь тайну?

— Эге! Кто-то идет нам навстречу, — сказал краснолицый. — Слышите, слышите? Идет быстро и прямо на нас. Должно быть, он нас еще не слышит. Ветер относит.

Свежий бриз дул нам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и немного впереди.

— Тоже пассажирский? — спросил я.

Краснолицый кивнул.

— Да, иначе он не летел бы так, сломи голову. Наши там забеспокоились! — хмыкнул он.

Я посмотрел вверх. Капитан высунулся по гуль из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проникнуть сквозь него. Лицо его выражало тревогу. И на лице моего спутника, который проковылял к поручням и пристально смотрел в сторону незримой опасности, тоже была написана тревога.

Все произошло с неопостижимой быстротой. Туман раздвинулся в стороны, как разрезанный ножом, и перед нами возник нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно Леванафан — морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белобородого старика, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и, я помню, меня поразило, с каким хладнокровием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судье, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодно и как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого: «Отлипнись!»

Отглядываясь в прошлое, я понимаю, что воскипание рулевого и не требовало ответа.

— Цепляйтесь за что-нибудь и держитесь крепче, — сказал мне краснолицый.

Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием.

— Ну, сейчас женщины поднимут визг! — сердито, почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать.

Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину бор-

та, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. «Мартинес» сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неопределимый, дурераздирающий вопль, и тут меня обдал ужас. Я вспомнил, что спасательные пояса хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло, — в памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные пояса с полок над головой, а Краснолицый человек надевал их на биншихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я зазубренные края пробитых в стене салона и вполозавший в это отверстие клубившийся серый туман; пустые мягкие диваны с разбросанными на них паке-тами, саковжаками, зонтиками и пледами, оставленными во время внезапного бегства; полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напившего на себя пробковый пояс и с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня (журнал с моей статьей все еще был у него в руке), есть ли опасность; краснолицего человека, который бодро ковылял на своих искусственных ногах и надевал пояса на всех, кто появился в каюте... Помню дикий визг женщин.

Да, этот визг женщин больше всего действовал мне на нервы. Но, к сожалению, страдал от него и краснолицый, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти: плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом; обинихаясь в кучу женщины, с бледными, искаженными страхом лицами, пронзительно кричат, словно хор погибших душ, а краснолицый человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе промонержца, потрясая над головой кулаками, и орет:

— Замолчите! Да замолчите же!

Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что я впал в истерику, ведь предо мною были женщины, такие же, как моя мать или сестры, — женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне мои синие под ножом мисника, и это потрясло меня. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную при-

вязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали, не помня себя.

Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу. Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики, — кто-то пытался спустить шлюпки... Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедало. Все было несправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки: когда женщины и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом: другим она повисла на талих, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, выйдет нам спасательные шлюпки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро погружался, вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прятаться за борт. Другие, уже барахтаясь в воде, кричали, чтобы их подыняли обратно на палубу. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик: «Тонем!» Поддавшись охватившей всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно понял, почему люди кругом молчали, чтобы их подыняли обратно на пароход. Вода была холодная, нестерпимо холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло, как огнем, Холод проникал до костей; казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды прежде, чем спасательный пояс снова подынял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и в легкие.

Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди. Они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив. Но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространилось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенными хребтами перекатывались через меня; я захлебывался и задыхался.

Шум и крики становились все глуше; последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что «Мартинес» пошел ко

дну. Потом — сколько прошло времени, не знаю, — я очнулся, и ужас снова овладел мной. Я был один. Я не слышал больше голосов, криков о помощи — только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе и разделяет общую участь, не так ужасна, как страх, переживаемый в одиночестве. Куда несли меня волны? Креноватый говорил, что отлив уходит через Золотые Ворота. Не могли меня унести в открытое море? А ведь мой спасательный пояс может развалиться в любую минуту! Я слышал, что эти пояса делаются из картона и тростника, и тогда, намокнув, они быстро потонут из-за тяжести. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня терпело плавать. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня несло неведомо куда, среди извечной серой безбрежности. Признаюсь, мной овладело безумие, и я кричал, как кричали женщины, и был по воде околенившими руками.

Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытие, и вспоминаю об этом только, как о тревожном мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над самой головой я увидел выходящий из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой и наполненные ветром. Вода пенилась и клочилась там, где ее разрезал нос корабля, а я был как раз на его пути. И хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Нос судна скользнул мимо, едва не задев меня, и волна перекинулась над моей головой. Потом мимо меня начал скользить длинный черный борт судна — так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него, я готов был впитаться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне.

Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного, спокойно вурчащего сигару. Я видел дымок, поднимающийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд, случайный поворот головы, одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты, — просто из потребности в движении.

Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно. Я видел спину рулевого и голову

того, другого, когда он медленно, очень медленно обернулся и его взгляд скользнул по воде.

Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу, и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня, даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами. Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане.

Я почувствовал, что снова впадаю в беспамитство, и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом, уже совсем близко, раздался сердитый окрик:

— Какого черта вы не откликаетесь? «Это мне кричат», — подумал я и тут же провалился в пустоту и мрак.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне показалось, что какая-то сила качает и несет меня в мировом пространстве, подчинив мощному ритму. Мерцающие искорки выжили и пролетали мимо. Я догадывался, что это звезды и огненные кометы, сопровождающие мой полет среди светил. Когда в своем качании я снова достиг вершины амплитуды и уже готов был пуститься в обратный путь, где-то ударили и затудел громадный тонг. Невоспринимимо долго, целые столетия, безмятежно канувшие в вечность, наслаждался я своим исполненным полетом.

Но сон мой начал меняться, а я уже понимал, что это сон. Амплитуда моего полета становилась все короче и короче. Меня начало протаскивать из стороны в сторону с раздражающей быстротой. Я едва успевал перевести дух: с такой стремительностью мчался я в небесном пространстве. Тонг грохотал все чаще и яростнее. Я ждал какого-то удара с невыразимым ужасом. Потом мне показалось, что меня тащат по хрустящему, белому, раскаленному солнцем песку. Это причиняло мне невыносимые муки. Мою кожу опалил огонь. Тонг гудел, как похоронный колокол. Сверкающие точки мчались мимо нескончаемым потоком, словно вся звездная система проваливалась в пустоту. Я вздохнул, с трудом перевел дыхание и открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, хлопотали надо мной. То, что вращало меня в мощном ритме и несло куда-то, оказалось качкой судна на волнах океана, а вместо ужасного тонга я увидел висевшую на стене сковороду, которая брехала и дребезжала при каждом наклоне судна. Хрустящий, опаливший меня огнем песок превратился в жесткие ладони какого-то человека, растиравшего мою обнаженную грудь. Я застонал от боли, приподнял голову и посмотрел на свое красное, воспаленное тело, покрытое каплями крови, проглатываемыми сквозь расцарапанную кожу.

— Хватит, Ионсон, — сказал второй. — Не видишь, что ли, совсем поправил с джентльмена кожу!

Тот, кого называли Ионсоном, — человек могучего скандинавского типа, — перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. У второго — судя по выговору, типичного кокни [1] — были мелкие, почти женственные черты лица; внешность его позволяла предположить, что он с молоком матери впитал в себя перезвон лондонских церковных колоколов. Грязный потный ладонь колпак на голове и грубый засаленный передник на узких бедрах изообличали в нем кока того чрезвычайно грязного камбуза, в котором я находился.

— Ну, как вы себя чувствуете, сэр? — спросил он с угодливой улыбкой, которая является наследием многих поколений, привыкших получать на чай.

Вместо ответа я с усилием приподнялся и сел, а затем с помощью Ионсона встал на ноги. Дребезжание сковороды ужасно действовало мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Ухватившись, чтобы не упасть, за деревянную переборку, оказавшуюся настолько сильной и грязной, что я невольно стиснул зубы от отвращения, я потянулся к несносной посудине, висевшей над топившейся плитой, снял ее с гвоздя и швырнул в ящик с углем.

Как ухмыльнулся при таком проявлении нервозности. Он сунул мне в руку дымящуюся кружку с какой-то бурдой и сказал:

— Хлебните-ка, это пойдет вам на пользу! В кружке было отравительное пойло — корабельный кофе, — но оно все же согрело и оживило меня. Прихлебывая этот напиток, я рассматривал свою разорванную, окровавленную грудь, а затем обратился к скандинаву.

— Благодарю вас, мистер Ионсон, — сказал я. — Но не кажется ли вам, что вы применили ко мне слишком уж героические меры?

Не знаю, почувствовал ли он упрек в моих словах, но, во всяком случае, взгляд, который я бросил на свою грудь, был достаточно выразителен. В ответ он молча показал мне свою ладонь. Это была необыкновенно мозолистая ладонь. Я провел пальцами по ее роковым затвердениям, и у меня заняли зубы от неприятного ощущения шероховатой поверхности.

— Меня зовут Джонсон, а не Ионсон, — сказал он на правильном английском языке, медленно, но почти без акцента.

В его бледно-голубых глазах я прочел кроткий протест; вместо с тем в них была какая-то застенчивая прямота и мужественность, которые сразу расположили меня к нему.

— Благодарю вас, мистер Джонсон, — поспешил я исправить свою ошибку и протянул ему руку.

Он медлил, смущенно и неуклюже переминаясь с ноги на ногу; потом решительно схватил мою руку и с чувством пожал ее.

— Не найдется ли у вас чего-нибудь, чтобы я мог переодеться? — спросил я кока, оглядывая свою мокрую одежду.

— Найдём, сэр! — живо отозвался тот. — Если вы не побрезгуете носить мои вещи, я сбегал вниз и притащу.

Он вышел, вернее выскользнул, из дверей с проворством, в котором мне почудилось что-то кошачье или даже змеиное. Эта его способность скользить ужом была, как я убедился впоследствии, весьма для него характерна.

— Где я нахожусь? — спросил я Джонсона, которого не без основания принял за одного из матросов. — Что это за судно и куда оно идет?

— Мы около Фараллонских островов, на юго-запад от них, — неопределенно промолвил он, методично отвечая на мои вопросы и стараясь, по-видимому, как можно правильнее говорить по-английски.

— Это шхуна «Призрак». Идем к берегам Японии бить котиков.

— А кто капитан шхуны? Мне нужно поговорить с ним, как только я переоденусь.

На лице Джонсона неожиданно отразилось крайнее смущение и замешательство. Он ответил не сразу; видно было, что он тщательно подбирает слова и мысленно составляет исчерпывающий ответ.

— Капитан — Волк Ларсен, так его все называют. Я никогда не слышал его настоящего имени. Но говорите с ним поосторожнее. Он немного бешеный. Его помощник...

Он не дождался, в камбуз нырнул кока.

— Убейтесь-ка лучше отсюда, Ионсон! — сказал тот. — Старик ожидает тебя на палубе, а нынче, если ему не угодил, — беда.

Джонсон послушно направился к двери, подмигнув мне из-за спины кока с необычайно торжественным и значительным видом, словно желая выразить этим то, чего он не договорил, и инушить мне еще раз, что с капитаном надо разговаривать поосторожнее.

Через руку у кока было перекинуто какое-то грязное, матое тряпье, от которого довольно скверно пахло.

— Оно было сырое, сэр, когда я его снял и спрятал, — счел он нужным объяснить мне. — Но вам придется пока обойтись этим, а потом я высушу ваше платье.

Цепляясь за переборки, так как судно сильно качало, я с помощью кока кое-как натянул на себя грубую фуфайку и невольно пожегся от прикосновения колючей шерсти. Заметив, должно быть, гримасу на моем лице, кок осклабился.

— Ну, вам не навек привыкать к такой одежде. Кожа-то у вас нежная, словно у какой-нибудь леди. Я как увидел вас, так сразу понял, что вы — джентльмен.

Этот человек не понравился мне с первого взгляда, а когда он помог мне одеваться, моя неприязнь к нему возросла еще больше. Его прикосновения вызвали во мне гадливость. Я сторонился его рук и вздрагивал, когда он дотрагивался до меня. Это неприятное чувство и запах, исходивший от кипевших и бурливших на плите кастрюль, заставили меня поспешить с переодеванием, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух. К тому же мне нужно было еще договориться с капитаном относительно доставки меня на берег.

Дешевая сатиновая рубашка с обтрепанным воротом и подолзатыльными, похожими на кровавые, пятнами на груди была надета на меня под аккомпанемент неумолчных похвляний и извинений. Туалет мой завершила пара грубых башмаков и синий выцветший комбинезон, у которого одна штанина оказалась дюймов на десять короче другой. Можно было подумать, что дьявол пытался цапнуть «через нее душу лондонца, но, не обнаружив таковой, оторвал со злости кусок обложки.

— Но я не знаю, кого же мне благодарить? — спросил я, обвившись в это тряпье. На голове у меня красовалась фуражка, которая была мне мала, а поверх рубашки я натянул еще грязную полосатую бумажную куртку; она едва доходила мне до талии, а рукава чуть прикрывали локти.

Как самодовольно выпрямился, и заискивающая улыбка расплылась по его лицу. У меня был некоторый опыт: я знал, как ведет себя прислуга на атлантических пароходах, когда рейс подходит к концу, и мог поклясться, что кок ожидает поданки. Однако мое дальнейшее знакомство с этим субъектом показало, что поза была бессознательной. Это была врожденная услужливость.

Магридж, сэр, — пробормотал он с елейной улыбкой на своем изнуренном лице. — Томас Магридж, сэр. К вашим услугам!

Ледино, Томас, — сказал я. — Я не забуду вас, когда высохнет мое платье.

Его лицо просияло, глаза заблестели; казалось, голоса предков внушили в его душе, рождая смутные воспоминания о чаевых, полученных ими во время их пребывания на земле.

— Благодарю вас, сэр! — произнес он с чувством и почти искренним смирением.

Я отодвинул дверь, и кок, тоже как на роликах, скользнул в стонущую и вышел на палубу. Меня все еще пошатывало от слабости после долгого пребывания в воде. Порыв ветра нагнал на меня, и я, сделав несколько нетвердых шагов по качающейся палубе до края рубки, поспешил ухватиться за него, чтобы не упасть. Сильно пореженившись, шхуна скользила вверх и вниз по длинной тихоокеанской волне. Если, как сказал Джонсон, судно шло на юго-запад, то ветер, по моим расчетам, дул примерно с юга. Туман рассеялся, и поверхность воды искрилась на солнце. Я повернулся к востоку, так должна была находиться Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко ставшихся плывов тумана, того самого тумана, который встал на пути катастрофы «Мартинеса» и был причиной моего бедственного положения. К северу, неподалеку от нас, из моря торчала группа темных скал, и на одной из них я различил маяк. К юго-западу, там, куда мы держали курс, я увидел пирамидальные очертания парусов какого-то корабля.

Откинув море, я перевел взгляд на более близкие предметы. Моей первой мыслью было, что человек, потерпевший кораблекрушение и бывший на волосок от смерти, заслуживает, пожалуй, повышенного внимания, чем то, которое было мне оказано. Никто, как мне казалось, не интересовался моей особой, кроме матроса у штурвала, с добродушным поглядывавшего на меня поверх рубки.

Нее, казалось, были заняты тем, что происходило посреди палубы. Там, на крышке люка, лежал какой-то грузный мужчина. Он лежал на спине; рубашка на его груди, поросшей густыми черными волосами на шерсть волосами, была разодрана. Черная с проседью борода покрывала всю нижнюю часть его лица и шеи. Борода, вероятно, была жесткая и пышная, но

струйками стекала вода. Глаза его были закрыты — он, очевидно, находился без сознания, — но трудь тяжело вздымалась; он с шумом вбирал в себя воздух, широко раскрыв рот, борясь с удушьем. Один из матросов спокойно и методично, словно выполнял привычную обязанность, спускал за борт на веревке брезентовое ведро, вытаскивал его, перехватывая веревку руками, и окатывал водой лежащего без движения человека.

Возле люка расхаживал взад и вперед, сердито жуя сигару, тот самый человек, случайному взгляду которого я был обязан своим спасением. Ростом он был, вероятно, пяти футов и десяти дюймов, быть может, десяти с половиной, но не это бросалось мне прежде всего в глаза, — я сразу почувствовал его силу. Это был человек атлетического сложения, с широкими плечами и грудью, но я не назвал бы его тяжеловесным. В нем была какая-то жилистая, упругая сила, обычно свойственная нервным и худощавым людям, и она придавала этому огромному человеку некоторое сходство с большой гориллой. Я вовсе не хочу сказать, что он походил на гориллу. Я говорю только, что заключенная в нем сила, независимо от его внешности, вызывала у вас такие ассоциации. Подобного рода сила обычно связывается в нашем представлении с первобытными существами, с дикими зверями, с нашими предполагаемыми предками, жившими на деревьях. Это сила дикая, свирепая, заключающаяся в самой себе жизненное начало — самую сущность жизни, как потенции движения и первоначальной материи, претворяющихся в различных видах живых существ; короче говоря, это та живучесть, которая заставляет змею извиваться, когда у нее отрубят голову, и которая теплится в бесформенном комке мяса убитой черепахи, солдаатошаемся при прикосновении к нему пальцем.

Таково было впечатление, которое производил этот человек, шагавший по палубе. Он крепко стоял на ногах, ступал твердо и уверенно; каждое движение его мускулов — то, как он пожимал плечами или стискивал в зубах сигару, — все было полно решимости и казалось проявлением избыточной, бьющей через край силы. Но эта внешняя сила, пронизывающая его движения, казалась лишь отголоском другой, еще более грозной силы, которая притаилась и дремала в нем, но могла в любой миг пробудиться подобно ярости льва или бешеному порыву урагана.

Как вынул голову из двери камбуза и ободриюще улыбулся мне, указывая большим пальцем на человека, прохаживавшегося возле люка. Я понял, что это и есть капитан шхуны, или — на языке моря — «старик», то есть тот, к кому я должен обратиться, дабы поручить его просьбой доставить меня каким-нибудь способом на берег. Я двинулся было вперед, чувствуя, что мне предстоит первое объяснение, но в эту минуту новый страшный приступ удушья ошпарил несчастным, лежавшим на палубе. Его стали корчить convulsions. Спина его вытянулась дугой, голова совсем запрокинулась назад, а грудь расширилась в бессознательном усилии набрать побольше воздуха. Я не видел его лица, только мокрую черную борозду по шее, как багровеет его кожа.

Капитан — Волк Ларсен, как его называли, — остановился и посмотрел на умирающего. Жесточкой и отчаянной была эта последняя попытка со смертью; охваченный любопытством матрос перестал дышать, брезентовое ведро накрепилось, и из него тонкой струйкой стекала вода. Умирающий судорожно бил коблукми по крышке люка, потом его ноги вытянулись и застыли в последнем страшном напряжении, в то время как голова еще продолжала метаться из стороны в сторону. Но вот мышцы ослабли, голова перестала двигаться, и лицо как бы глубокого облетения слетел с его губ. Челюсть и тело отвисла, верхняя губа приподнялась, и обнажились два ряда поверженных от табака зубов. Казалось, его черты застыли в дьявольской усмешке, словно он издевался над миром, который ему удалось перехитрить, покинув его.

И тут произошло нечто неожиданное. Капитан внезапно, подобно удару грома, обрушился на мертвеца. Поток ругани хлынул из его уст. И это не были обычные ругательства или непристойности. В каждом слове было богохульство, а слова так и сыпались. Они трещали и трещали, словно электрические разряды. Я в жизни не слышал, да и не мог бы вообразить себе ничего подобного. Обладавая той литературной жилкой и питая пристрастие к сочным словам и оборотам, я, пожалуй, лучше всех присутствующих мог оценить своеобразную живость, красочность и в то же время неслышанную вышестепенность его метафор. Насколько я мог понять, причиной этой испещренности было то, что умерший — помощник капитана — застал перед уходом из Сан-Франциско, а потом имел неделекатность

умереть в самом начале плавания и оставить Волка Ларсена без его, так сказать, правой руки.

Излишне упоминать, — во всяком случае, мои друзья поймут это и так, — что я был шокирован. Брань и сквернословие всегда были мне противны. У меня засосало под ложечкой, заняло сердце, мне стало невыразимо тошно. Смерть в моем представлении всегда была сопряжена с чем-то торжественным и возвышенным. Она приходила мирно и священнодействовала у ложа своей жертвы. Смерть в таком мрачном отталкивающем обличье явилась для меня чем-то невиданным и неслыханным. Отдавая, как я уже сказал, должное выразительности изрыгаемых Волком Ларсеном проклятий, я был ими чрезвычайно возмущен. Мне казалось, что их огненный поток должен испепелить лицо трупа, и я не удивился бы, если бы мокрая черная борода начала завиваться колечками и вспыхнула дымным пламенем. Но мертвецу уже не было до этого никакого дела. Он продолжал сардонически усмехаться — с вызовом, с цинической издевкой. Он был хозяином положения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Волк Ларсен оборвал свою брань так же внезапно, как начал. Он раскурил потухшую сигару и отглыделся вокруг. Взор его упал на Матриджа.

— А, любезный кок? — начал он ласково, но в голосе его чувствовалось холод и твердость стали.

— Есть, сэр! — угодуливо и виновато, с преувеличенной готовностью отозвался тот.

— Ты не боишься растануть себе шею? Это, знаешь ли, не особенно полезно. Помощник умер, и мне не хотелось бы потерять еще и тебя. Ты должен очень беречь свое здоровье, кок. Понятно?

Последнее слово, в полном контрасте с мягкостью всей речи, прозвучало резко, как удар бича. Кок съезжился.

— Есть, сэр! — послышался испуганный ответ, и голова провинившегося кока исчезла в камбузе.

При этом разное, выпавшем на долю одного кока, остаточной оцепенел перестал глядеть на мертвеца и вернулся к своим делам. Но несколько человек остались в проходе между камбузом и люком и продолжали переговариваться шепотом. Я понял, что это не матросы, и потом узнал, что это охотники на котиков, занимавшие несколько привилегированное положение по сравнению с простыми матросами.

— Иогансен! — позвал Волк Ларсен. Матрос тотчас приблизился. — Возьми иглу и гардаман и зашей этого бродягу. Старую парусину найдешь в кладовой. Ступай!

— А что привязать к ногам, сэр? — спросил матрос после обычного «есть, сэр».

— Сейчас устроим, — ответил Волк Ларсен и кликнул кока. Томас Матридж выскочил из своего камбуза, как игрушечный чертик из коробки.

— Спустишь в трюм и принеси мешок угля.

— Нет ли у кого-нибудь из вас, ребята, Библии или молитвенника? — послышалось новое требование, обращенное на этот раз к охотникам.

Они покачали головой, и один отпустил какую-то шутку, которой я не расслышал; она была встречена общим смехом.

Капитан обратился с тем же вопросом к матросам. Библия и молитвенник были здесь, по-видимому, редкими предметами, но один из матросов вызвался спросить у подвахтенных. Однако минуты через две он вернулся ни с чем.

Капитан пожал плечами.

— Тогда придется бросить его за борт без лишней болтовни. Впрочем, может быть, выловленный нами молодой человек знает морскую похоронную службу наизусть? Он что-то смахивает на попа.

При этих словах Волк Ларсен внезапно повернулся ко мне.

— Вы, верно, пастор? — спросил он.

Охотники — их было шестеро — все, как один, тоже повернулись в мою сторону, и я болезненно ощутил свое сходство с вороньим пугалом. Мой вид вызвал хохот. Присутствие покойника, распростертого на палубе и тоже, казалось, скалившего зубы, никого не остановило. Это был хохот грубый, резкий и беспощадный, как само море, хохот, отражавший грубые чувства людей, которым незнакомы чуткость и деликатность.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах мелькали искорки удовольствия, и только тут, подойдя к нему ближе, я получил более полное впечатление от этого человека. — до сих пор я воспринимал его скорее Жак шагающим по палубе фигуру, изрыгающую поток ругательств. У него было несколько угловатое лицо с крупными и резкими, но правильными чертами, казавшиеся на первый взгляд массивным. Но это первое впечатление от его лица, так же как и от его фигуры, быстро отступало на задний план, и оставалось только ощущение скрытой в этом человеке внутренней силы, дремлющей где-то в недрах его существа. Скулы, подбородок, высокий лоб с выпуклыми надбровными дугами, могучие, даже необычайно могучие сами по себе, казалось, говорили об огромной, скрытой от глаз жизненной энергии или мощи духа. — эту мощь было трудно измерить или определить ее границы, и невозможно было отнести ее ни под какую установленную рубрику.

Глаза — мне довелось хорошо узнать их — были большие и красивые, осененные густыми черными бровями и широко расставленными, что говорило о недожизненности натуры. Цвет их, изменчиво-серый, порождал бесчисленным множеством — оттенков, как переливчатый искл в лучах солнца. Они были то серыми — темными или светлыми, — то серовато-зелеными, то принимали лазурную окраску моря. Эти изменчивые глаза, казалось, скрывали его душу, словно не престанно менявшиеся маски, и лишь в редкие мгновения она как бы проглядывала из них, точно рвалась наружу, навстречу какому-то заманчивому приключению. Эти глаза могли быть мрачными, как хмурое свинцовое небо; могли метать искры, отливая стальным блеском обнаженного меча; могли становиться холодными, как полярные просторы, или теплыми и нежными. И в них мог вспыхивать дробный огонь, обжигающий и властный, который притягивает и покоряет женщин, заставляя их сдаться восторженно, радостно и самоотверженно.

Но вернемся к рассказу. Я ответил капитану, что я не пастор и, к сожалению, не умею служить панихиду, но он бесцеремонно перебил меня:

— А чем вы зарабатываете на жизнь? Признаться, ко мне никогда еще не обращались с подобным вопросом, да и сам я никогда над ним не задумывался.

Я опешил и довольно глупо пробормотал:

— Я... я — джентльмен.

Но губам капитана скользнула усмешка.

— У меня есть занятие, я работаю, — торопливо воскликнул я, — стою перед судьей и нуждаюсь в оправдании, отчетливо сознавая в то же время, как нелепо с моей стороны пускаться в какие бы то ни было объяснения по этому поводу.

— Это дает вам средства к жизни? Вопрос прозвучал так властно, что я был озадачен, — сбив с панталыку, как сказал бы Чарли Фрэнк, молчал, словно школьник перед строгим учителем.

— Кто вас кормит? — последовал новый вопрос.

— У меня есть постоянный доход. — с достоинством ответил я и в ту же секунду готов был откусить себе язык. — Но все это, простите, не имеет отношения к тому, о чем я хотел поговорить с вами.

Однако капитан не обратил никакого внимания на мой протест.

— Кто зарабатывал эти средства? А?.. Ну, я так и думал: ваш отец. Вы не стойте на своих ногах — кормитесь за счет мертвецов. Вы не могли бы прожить самостоятельно и суток, не сумели бы три раза в день набить себе брюхо. Покажите руку!

Страшная сила, скрытая в этом человеке, внезапно пришла в действие, и, прежде чем я успел опомниться, он шатнул ко мне, схватил мою правую руку и поднес к глазам. Я попытался освободиться, но его пальцы без всякого видимого усилия крепче охватили мою руку, и мне показалось, что у меня сейчас затрещат кости. Трудно при таких обстоятельствах сохранять достоинство. Я не мог извиняться или брыкаться, как мальчишка, однако не мог и вступить в единоборство с этим чудовищем, угрожавшим одним движением сломать мне руку. Приходилось стоять смиренно и переносить это унижение.

Тем временем у покойника, как я успел заметить, уже обшарили карманы, и все, что там сыскалось, сложили на трубе, а труп, на лице которого застыла сардоническая усмешка, обернули в парусину, и Иогансен принялся штопать ее толстой белой ниткой, втыкая иглу ладонью с помощью особого приспособления, называемого гарданом и сделанного из куска кожи.

Волк Ларсен с презрительной гримасой отпустил руку.

— Изнеженная рука — за счет тех же мертвецов. Такие руки ни на что, кроме мытья посуды и страппини, не годны.

— Мне хотелось бы сойти на берег, — решительно сказал я, овладев наконец собой. — Я углану вам, сколько потребуете за хлопоты и задержку в пути.

Он с любопытством поглядел на меня. Глаза его смотрели с насмешкой.

— У меня другое предложение — для вашего же блага. Мой помощник умер, и мне придется сделать кое-какие перемещения. Один из матросов займет место помощника, юнга отправится на бак — на место матроса, а вы замените юнгу. Подпишете условие на этот рейс — двадцать долларов в месяц и харчи. Ну, что скажете? Заметьте — это для вашего же блага! Я сделаю вас человеком. Вы со временем научитесь стоять на своих ногах и, быть может, даже ковылять немного.

Я не придал значения этим словам. Замеченные мною на юто-западе паруса росли; они вырисовывались все отчетливее и, видимо,

принимали такую же форму, как и «Призрака», хотя корпус судна, насколько я мог его разглядеть, был меньше. Шхуна, покачиваясь, скользила нам навстречу, и это было очень красивое зрелище. Я видел, что она должна пройти совсем близко. Ветер быстро крепчал. Концы, послав нам несколько тусклых лучей, скрылось. Море пришло мрачный свинцовосерый оттенок, забурлило, и к небу полетели клочья белой пены. Наша шхуна прибавила ходу и дала большой греб. Пронесся порыв ветра, поручни исчезли под водой, и волна камнула на палубу, заставив охотников, сидевших на закраине люка, поспешно поджать ноги.

— Это судно скоро пройдет мимо нас, — сказал я, помогая. — Оно идет в обратном направлении, быть может, в Сан-Франциско.

— Весьма возможно, — отозвался Ларсен и, отвернувшись от меня, крикнул: — Кок! Эй, кок!

Томас Магридж вынырнул из камбуза.

— Где этот юнга? Скажи ему, что я его зову.

— Есть, сэр.

Томас Магридж бросился на корму и исчез в другом люке около штурвала. Через секунду он снова появился на палубе, а за ним шел коренастый парень лет восемнадцати-девятнадцати, с лицом мурым и злобным.

— Вот он, сэр, — сказал кок.

Но Ларсен, не обращая на него больше внимания, повернулся к юнго.

— Как тебя зовут?

— Джордж Лич, сэр, — последовал угрюмый ответ; видно было, что юнга догадывается, зачем его позвали.

— Фамилия не ирландская, — буркнул капитан. — О'Тул или Мак-Картн куда больше подошло бы к твоей роже. Верно, какой-нибудь провиндец прятался у твоей мамы за полениншей.

Я видел, как у парня от этого оскорбления сжались кулаки и побурнела шея.

— Ну, ладно, — продолжал Волк Ларсен. — У тебя могут быть веские причины забыть свою фамилию, — мне на это наплевать, пока ты делаешь свое дело. Ты, конечно, с Тегеграфной горы [2]. Это у тебя на лбу написано. Я вашего брата знаю. Вы там все трюмы, как ослы, и злы, как черти. Но можешь быть спокоен,

мы тебя здесь живо обломаем. Понял? Кстати, через кого ты нанимался?

— Агентство Мак-Криди и Свенсон.

— Сэр! — затрепел капитан.

— Мак-Криди и Свенсон, сэр, — поправились юнга, и глаза его злобно сверкнули.

— Кто получил аванс?

— Они, сэр.

— Я так и думал. И ты, небось, был до черта рад. Спешил, знал, что за тобой кое-кто охотится.

В мгновение ока юнга преобразился в дикаря. Он пригнулся, словно для прыжка, ярость искажила его лицо.

— Вот что... — выкрикнул было он.

— Что? — почти вкрадчиво спросил Ларсен, словно его одолевало любопытство.

Но юнга уже взял себя в руки.

— Ничего, сэр. Я беру свои слова назад.

— И тем доказываешь, что я прав, — удовлетворенно улыбнулся капитан. — Сколько тебе лет?

— Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

— Врешь! Тебе больше восемнадцати. И ты еще велик для своих лет, и мускулы у тебя, как у жеребца. Собери свои пожитки и переходи в кубрик на бак. Будешь матросом, гребцом. Это повышение, понял?

Не ожидая ответа, капитан повернулся к матросу, который зашивал труп в парусину и только что закончил свое мрачное занятие.

— Иогансен, ты что-нибудь смыслешь в навигации?

— Нет, сэр.

— Ну, не беда! Все равно будешь теперь помощником. Перенеси свои вещи в каюту, на его койку.

— Есть, сэр! — весело ответил Иогансен и тут же направился на бак.

Но бывший юнга все еще не трогался с места.

— А ты чего ждешь? — спросил капитан.

— Я не нанимался матросом, сэр, — был ответ. — Я нанимался юнгой. Я не хочу служить матросом.

— Собирай вещи и ступай на бак! На этот раз приказ звучал властно и грозно. Но парень упрямо наусупился и не двинулся с места.

Тут Волк Ларсен снова показал свою чудовищную силу. Все произошло неожиданно, с быстротой молнии. Одним прыжком — футом и шесть, не меньше — он кинулся на юнга и ударил его кулаком в живот. В тот же миг я почувствовал острую боль под лопаткой, словно он ударил меня. Я упомянул об этом, чтобы показать, как чувствительны были в то время мои нервы и как подобные грубые удары были мне неприятны. Юнга — а он, кстати сказать, весил никак не менее ста шестидесяти пяти фунтов, — согнулся пополам. Его тело безжизненно повисло на кулаке Ларсена, словно мокрая тряпка на палке. Затем я увидел, как он взлетел на воздух, описал дугу и рухнул на палубу рядом с трупом, ударившись о доски головой и плечами. Так он и остался лежать, корчась от боли.

— Ну как? — повернулся вдруг Ларсен ко мне. — Вы обдумали?

Я потянулся к приближавшемуся шхуну, которая уже почти поринилась с нами; ее отделило от нас не более двухсот ярдов. Это было стройное, изысканное суденышко. Я различил крупный черный номер на одном из парусов и, припомнив виденные мною раньше изображения судов, сообразил, что это доцманский бот.

— Что это за судно? — спросил я.

— Доцманский бот «Леда Майн», — ответил Ларсен. — Доставил винных лопманов и возвращается в Сан-Франциско. При таком ветре будет там через пять-шесть часов.

— Будьте добры дать им сигнал, чтобы они переправили меня на берег.

— Очень сожалею, но я уронил свою сигнальную книгу за борт, — ответил капитан, и в группе охотников послышался смех.

Секунду я колебался, глядя ему прямо в глаза.

Я видел, как жестоко раздался он с юнгой, и знал, что меня, быть может, ожидает то же самое, если не что-нибудь еще хуже. Понторпано, я колебался, а потом сделал то, что до сих пор считалось самым смелым поступком в моей жизни. Я бросился к борту и, размахивая руками, крикнул:

— «Леда Майн», эй! Сvezите меня на берег. Тысячу долларов за доставку на берег!

Я впился взглядом в двои людей, стоявших у штурвала. Один из них правил, другой поднес к губам рупор. Я не поворачивал головы и каждую секунду ждал, что зверь-человек, стоявший за моей

спиной, одним ударом уложит меня на месте. Наконец — мне покажется, что прошли века, — я не выдержал и оглянулся. Ларсен не тронулся с места. Он стоял в той же позе, — слегка покачиваясь на расставленных ногах, и раскуривал новую сигару.

— В чем дело? Случилось что-нибудь? — раздалось с «Леви Майн».

— Да! Да! — блатим матом заорал я. — Спасите, спасите! Тысячу долларов за доставку на берег!

— Ребятахватили лишнего в Фриско! — раздался голос Ларсена. — Этот вот, — он указал на меня, — допилился уже до зеленого змия!

На «Леви Майн» расхохотались в рупор, и судно пошло мимо.

— Высыпьте ему как следует от нашего имени! — долетели напутственные слова, и стоявшие у штурвала помахали руками в знак приветствия.

В отчаянии я облокотился о поручни, глядя, как быстро ширится полоса холодной морской воды, отделяющая нас от стройного маленького судна. Оно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов! У меня голова пошла кругом, сердце отчаянно заколотилось и к горлу подкатил комок. Пеннистая волна ударила о борт, и не брызнуло в лицо соленой влагой. Ветер налетал порывами, и «Призрак», сильно кренясь, зарывался в воду подветренным бортом. Я слышал, как вода с шипением взбегала на палубу.

Отпавувшись, я увидел юнгу, который с трудом поднялся на ноги. Лицо его было мертвенно бледно и зелено от боли. Я понял, что ему очень плохо.

— Ну, Лич, идешь на бак? — спросил капитан.

— Есть, сэр, — последовал покорный ответ.

— А ты? — повернулся капитан ко мне.

— Я дам вам тысячу... — начал я, но он прервал меня.

— Брось это! Ты согласиен приступить к обязанностям юнги? Или мне придется взяться за тебя?

Что мне было делать? Дать зверски избить себя, может быть, даже убить — какой от этого прок? Я твердо посмотрел в жесткие серые глаза. Они походили на гранитные глаза изваяния — так мало было в них человеческого тепла. Обычно в глазах людей отражаются их душевные движения, но эти глаза были бесстрастны и холодны, как свинцово-серое море.

— Ну, что?

— Да, — сказал я.

— Скажи: да, сэр.

— Да, сэр, — поправился я.

— Как тебя зовут?

— Ван-Вейден, сэр.

— Имя?

— Хэмфри, сэр. Хэмфри Ван-Вейден.

— Возраст?

— Тридцать пять, сэр.

— Ладно. Пойди к коку, он тебе покажет, что ты должен делать.

Так случилось, что я, помимо моей воли, попал в рабство к Волфу Ларсену. Он был сильнее меня, вот и все. Но в то время это казалось мне каким-то навязчивым. Да и сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое, все, что приключилось тогда со мной, представляется мне совершенно невероятным. Таким будет это представляться мне и теперь — чем-то чудовищным и непостижимым, каким-то ужасным кошмаром.

— Положили! Я послушно остановился, не дойдя до камбуза.

— Иогансен, вызови всех наверх! Теперь все как будто стало на свое место и можно заняться похоронами и очистить палубу от ненужного хлама.

Пока Иогансен собирал команду, двое матросов, по указанию капитана, положили зашитый и парусину труп на лючину. У обоих бортов на палубе, днищами кверху, были принаготовлены маленькие шлюпки. Несколько матросов подняли доску с ее страшным грузом и положили на эти шлюпки с подветренной стороны, повернув труп ногами к морю. К ногам привязали принесенный коком мешок с углем.

Похороны на море представлялись мне всегда торжественным, внушающим благоговение обрядом, но то, чему я стал свидетелем, абсолютно развело все мои иллюзии. Один из охотников, невысокий темнотазый парень, — я слышал, как товарищи называли его «моком», — рассказывал анекдоты, щедро сдобренные бранными и непристойными словами. В группе охотников поминутно раздавались изрывы хохота, которые напоминали мне не то вой волков, не то лай псов в преисподней. Матросы, стуча сапогами, собирались

на корме. Некоторые из подвахтенных протирали застанные глаза и перегоривались вполголоса. На лицах матросов застыло мрачное, озабоченное выражение. Очевидно, им мало улыбалось путешествие с этим капитаном, начавшееся к тому же при столь печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена, и я видел, что они его побаиваются.

Капитан подошел к доске: все обнажили головы.

Я присматривался к людям, собравшимся на палубе, — их было двадцать человек; значит, всего на борту шхуны, если считать рулевого и меня, находилось двадцать два человека. Мое любопытство было простительно, так как мне предстояло, по-видимому, не одну неделю, а быть может, и не один месяц, провести вместе с этими людьми в этом крошечном плавушем мире. Большинство матросов были англичане или скандинавы, с тяжелыми, малоподвижными лицами. Лица охотников, изобретенные резкими морщинами, были более энергичны и интересны, и на них лежала печать необходимости игры страстей. Странно сказать, но, как я сразу же отметил, в чертах Волка Ларсена не было ничего порочного. Его лицо тоже избороздили глубокие морщины, но они говорили лишь о решимости и силе воли.

Выражение лица было скорее даже прямодушное, открытое, и впечатление это усиливалось благодаря тому, что он был гладко выбрит. Не верилось — до следующего столкновения, что это тот самый человек, который так жестоко обошелся с юнгой.

Вот он открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот миг резкий порыв ветра налетел на шхуну, сильно накренив. Ветер дико свистел и завывал в снастях. Некоторые из охотников лежал покойник, зарывшись в небо. Подветренный борт, у которого волна перекапталась через палубу, захлестнув нам ноги выше шипов. Внезапно хлынул ливень: тяжелые крупные капли били, как градины. Когда шквал пронесся, капитан заговорил, и все слушали его, обнажив головы, покачиваясь в такт с ходившей под ногами палубой.

— Я помню только часть похоронной службы, — сказал Ларсен. — Она гласит: «И тело да будет предано морю». Так вот и бросьте его туда.

Он умолк. Люди, державшие лючину, были смущены; краткость церемонии, видимо, озадачила их. Но капитан яростно на них накричал:

— Поднимайте этот конец, черт бы вас подрал! Какого дьявола вы кинитесь?

Кто-то торопливо подхватил конец доски, и мертвец, выброшенный на борт, словно собака, соскользнул в море ногами вперед. Мешком с углем, привязанный к ногам, потянул его вниз. Он исчез.

— Иогансен! — резко крикнул капитан своему новому помощнику. — Оставь всех наверху, раз уж они здесь. Убрать топсела и кливер, да поживей! Надо ждать зюйд-оста. Заодно возьми рифы у трюма и у стакселя!

Вмиг все на палубе пришло в движение. Иогансен зычно выкрикивал слова команды, матросы выбирали и травили различные снасти, а мне, человеку сугобо сухопутному, все это, конечно, представлялось сплошной неразберихой. Но больше всего поразило меня произнесенное этими людьми бессердечие. Смерть человека была для них мелким эпизодом, который канул в вечность вместе с защитным и парусину трупом и мешком угля, и корабль все так же продолжал свой путь, и работа шла своим чередом. Никто не был взволнован. Охотники уже опять смеялись какому-то непристойному анекдоту Смока. Команда выбирала и травила снасти, двое матросов ползали на мачту. Волк Ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны. А человек, так жалко окончивший свои дни и так недолго погребенный, опускался все глубже и глубже на дно.

Опущение жестокости и неумолимости морской стихии виднут индифферентно на меня, и жизнь показала мне чем-то дешевым и минимальным, чем-то диким и бессмысленным — каким-то немым балансом в грязной тине. Я держался за фальшборт у самых вант и смотрел на угрюмые, пенящиеся волны и низко нависшую грядущину, скрывающую от нас Сан-Франциско и калифорнийский берег. Премнами налетал шквал с дождем, и тогда и самый туман исчезал из глаз за плотной завесой дождя. А наше странное судно, с его чудовищным экипажем, ныряло по волнам, устремляясь на юго-запад и широкое, пустынные просторы Тихого океана.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Все мои старания приспособиться к новой для меня обстановке зверобойной шхуны «Призрак» принесли мне лишь бесконечные страдания и унижения. Магридж, которого команда называла «доктором», охотники — «Томми», а капитан — «коком», изменился, как по волшебству. Перемена в моем положении резко повлияла на его обращение со мной. От прежней услужливости не осталось и следа: теперь он только покрикивал да бранился. Ведь я не был больше изысканным джентльменом, с кожей «нежной, как у леда», а превратился в обыкновенного и довольно бестолкового юнгу.

Как требовал, как это ни смешно, чтобы я называл его «мистер Магридж», а сам, объясняя мне мои обязанности, был невыносимо груб. Помимо обслуживания кают-компании с выходящими в нее четьрьмя маленькими каютами, я должен был помогать ему в камбузе, и мое полное невежество по части мытья кастрюль и чистки картофеля служило для него неиссякаемым источником изумления и насмешек. Он не желал принимать во внимание мое прежнее положение, вернее, жизнь, которую я привлек вести. Ему не было до этого Никакого дела, и признаюсь, что уже к концу первого Дня я ненавидел его сильнее, чем кого бы то ни было в Жизни.

Этот первый день был для меня тем труднее, что «Призрак», под зарифленными парусами (с подобными терминами я познакомился лишь впоследствии), нырял в волнах, которые насылали на нас «ревуший», как выразился мистер Магридж, знойд-ост. В половине шестого я, по указанию кока, накрыл стол в каюткомпании, предварительно установив на нем решетку на случай бурной погоды, а затем начал подавать еду и чай. В связи с этим не могу не рассказать о своем первом близком знакомстве с сильной морской качкой.

— Гляди в оба, не то окатит! — напугивал меня мистер Магридж, когда я выходил из камбуза с большим чайником в руке и с несколькими караваими свежеспеченного хлеба под мышкой. Один из охотников, долговязый парень по имени Гендерсон, направлялся

в это время из «четвертого класса» (так называли они в шутку свой кубрик) в кают-компанию. Волк Ларсен курил на юте свою неизменную сигару.

— Идет, идет! Держись! — закричал кок. Я остановился, так как не понял, что, собственно, «идет». Дверь камбуза с треском затворилась за мной, а Гендерсон опрометью бросился к вантам и проворно полез по ним вверх, пока не очутился у меня над головой. И только тут я заметил гигантскую волну с пенным гребнем, высоко взмывшую над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг работал медленно, потому что все здесь было для меня еще ново и необычно. Я понял только, что мне грозит опасность, и застыл на месте, оцenenев от ужаса. Тут Ларсен крикнул мне с юта:

— Держись за что-нибудь, эй, ты... Хэмп! [3]

Но было уже поздно. Я прыгнул к вантам, чтобы уцепиться за них, и в этот миг стена воды обрушилась на меня, и все смешалось. Я был под водой, задыхался и тонул. Палуба ушла из-под ног, и меня куда-то полетел, перевернувшись несколько раз через голову. Меня швырнуло из стороны в сторону, ударило о какие-то твердые предметы, и я сильно ушиб правое колено. Потом волна отхлынула, и мне удалось наконец перевести дух. Я увидел, что меня отнесло в навстреченного борта за камбуз мимо люка в кубрик, к шпигатам подстреленного борта. Я чувствовал острую боль в колене и не мог ступить на эту ногу, или так по крайней мере мне казалось. Я был уверен, что нога сломана. Но кок уже кричал мне из камбуза:

— Эй, ты! Долго ты будешь там валяндаться? Где чайник? Урошил за бортом? Жаль, что ты не сломал себе шею!

Я кое-как поднялся на ноги и заковылял к камбузу. Огромный чайник все еще был у меня в руке, и я отдал его коку. Но Магридж наклонился от недоумения — то ли настоящего, то ли притворного.

— Ну и растяпа же ты! Куда ты годишься, хотел бы я знать? А? Куда ты годишься? Не можешь чай донести! А я теперь изволь закурить снова!

— Да чего ты хнычешь? — с новой яростью набросился он на меня через минуту. — Ножку зашиб? Ах ты, маленькино сокровище! Я не хныкал, но лицо у меня, вероятно, кривилось от боли. Соприимшись с силами, я стиснул зубы и проковылял от камбуза до ка-

ют-компании и обратно без дальнейших злоключений. Этот случай имел для меня двоякие последствия: прежде всего я сильно ушиб коленную чашечку и страдал от этого много месяцев — ни о каком лечении, конечно, не могло быть и речи, — а кроме того, за мной утвердилось кличка «Хэмп», которой наградили меня с юта Волк Ларсен. С тех пор никто на шхуне меня иначе и не называл, и я малопомалу настолько к этому привык, что уже и сам мысленно называл себя «Хэмп», словно получил это имя от рождения.

Нелетко было прислуживать за столом каюткомпаний, где восседал Волк Ларсен с Иогансеном и шестерыми охотниками. В этой маленькой, тесной каюте двигаться было чрезвычайно трудно, особенно когда шхуну качало и кидало из стороны в сторону. Но тяжелее всего было для меня полное равнодушие людей, которым я прислуживал. Время от времени я ощущивал сквозь одежду колото, чувствовал, что оно пухнет все сильнее и сильнее, и от боли у меня кружилась голова. В зеркале на стене кают-компаний временами мелькало мое бледное, страшное, искаженное болью лицо. Сидевшие за столом не могли не заметить моего состояния, но никто из них не выказал мне сочувствия. Поэтому я почти проникся благодарностью к Ларсену, когда он бросил мне после обеда (я в это время уже мыл тарелки):

— Не обращай внимания на эти пустяки! Привыкнешь со временем. Немного, может, и покалечишься, но зато научишься ходить. Это, кажется, называется парадоксом, не так ли? — добавил он.

По-видимому, он остался доволен, когда я, утвердительно кивнув, ответил как полагалось: «Есть, сэр».

— Ты должно быть, согласишься кое-что в литературе? Ладно. Я как-нибудь побеседую с тобой.

Он повернулся и, не обращая на меня больше внимания, вышел на палубу.

Вечером, когда я справился наконец с бесчисленным множеством дел, меня послали спать в кубрик к охотникам, где нашлась свободная койка. Я рад был лечь, дать отдых ногам и хоть на время избавиться от несносного кока! Одежда успела высохнуть на мне, и я, к моему удивлению, не ощущал ни малейших признаков простуды ни от последнего морского купания, ни от более продолжительного пребывания в воде, когда затонул «Мартинес». При обычных

обстоятельствах я после подобных испытаний лежал бы, конечно, в палатке и около меня хлопотала бы сиделка.

Но боль в колене была мучительная. Насколько я мог понять, так как колено страшно распухло, — у меня была смещена коленная чашечка. Я сидел на своей койке и рассматривал колено (все шесть охотников находились тут же — они курили и громко разговаривали), когда мимо прошел Гендерсон и мельком взглянул на меня.

— Скверная штука, — заметил он. — Обвяжи потуже тряпкой, пройдет.

Вот и все; а случись это со мной на суше, меня лечил бы хирург и, несомненно, прописал бы полный покой. Но следует отдать справедливость этим людям. Так же равнодушно относились они и к своим собственным страданиям. Я объясняю это привычкой и тем, что чувствительность у них притупилась. Я убежден, что человек с более тонкой нервной организацией, с более острой восприимчивостью страдал бы на их месте куда сильнее.

Я страшно устал, вернее, совершенно изнемог, и все же боль в колене не давала мне уснуть. С трудом удерживаясь я от стонков. Дома я, конечно, дал бы себе волю но эта новая, грубая, примитивная обстановка невольно внушала мне суровую сдержанность. Окружавшие меня люди, подобно дикарям, стически относились к важным вещам, а в мелочах напоминали детей. Впоследствии мне пришлось наблюдать, как Керфут, одному из охотников, разmozжипо пилец. Керфут только не издал ни звука, но даже не изменился в лице. И вместе с тем я много раз видел, как тот же Керфут приходил и бешенство из-за сущих пустяков.

Вот и теперь он орал, размахивая руками, и отчаянно бранился — и все только потому, что другой охотник не согласился с ним, что толпений белек от рождения умеет плавать. Керфут утверждал, что этим умением новорожденный толень обладает с первой минуты своего появления на свет, а другой охотник, Лэтимер, тощий янки с хитрыми, похожими на щелочки глазами, утверждал, что толень именно потому и рождается на суше, что не умеет плавать, и мать обучает его этой премудрости совершенно так же, как птицы учат своих птенцов летать.

Остальные четыре охотника с большим интересом прислушивались к спору, — кто лежал на койке, кто приподнявшись и облокотясь

на стол, — и временами подавали реплики. Иногда они начинали говорить все сразу, и тогда в тесном кубрике голоса их звучали подобно раскатам бутфорского грома. Они спорили о пустяках, как дети, и доводы их были крайне наивны. Собственно говоря, они даже не приводили никаких доводов, а ограничивались голословными утверждениями или отрицаниями. Умение или неумение новорожденного толкать плавать они пытались доказать просто тем, что высказывали свое мнение с воинственным видом и сопровождали его выпадами против национальности, здравого смысла или прошлого своего противника. Я рассказываю об этом, чтобы показать умственный уровень людей, с которыми принужден был общаться. Интеллигентально они были детьми, хотя и в обличье взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили — курили дешевый зловонный табак. В кубрике нельзя было продохнуть от дыма. Этот дым и сильная качка боровшегося с бурей судна, несомненно, довели бы меня до морской болезни, будь я ей подвержен. Я и так уже испытывал дурноту, хотя, быть может, причиной ее были боль в ноге и переутомление.

Лежа на койке и предаваясь своим мыслям, я естественно, прежде всего задумывался над положением, в которое попал. Это же было невероятно, неслыханно! Я, Хэмфри Ван-Вейден, ученый и, с вашего позволения, любитель искусства и литературы, принужден валиться здесь, на какой-то шхуне, направляющейся в Берингово море бить котиков! Юнга! Никогда в жизни я не делал грубой физической, сидячий образ жизни. Это была жизнь ученого, затворника, существующего на причинный и обеспеченный доход. Бурная деятельность и спорт никогда не привлекали меня. Я был книжным червем, так сестры и отец с детства и называли меня. Только раз в жизни я принял участие в туристском походе, да и то сбежал в самом начале и вернулся к комфорту и удобствам оседлой жизни. И вот теперь передо мной открывалась безрадостная перспектива бесконечной чистки картофеля, мытья посуды и прислуживания за столом. А ведь физически я совсем не был силен. Врачи, положим, утверждали, что у меня великолепное телосложение, но я никогда не развивал своих мускулов упражнениями, и они были слабы и вялы, как у женщины. По крайней мере те же врачи постоянно отмечали

то, пытаюсь убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал утрировать свою голову, а не тело, и теперь был, конечно, совершенно не подготовлен к предстоящей мне тяжелой жизни.

Я рассказываю лишь немного из того, что передумал тогда, и только это, чтобы заранее оправдаться, ибо жалкой и беспомощной была та роль, которую мне предстояло сыграть.

Думал я также о моей матери и сестрах и ясно представлял себе их горе. Ведь я значился в числе погибших на «Мартинесе», одним из пропавших без вести. Передо мной мелькали заголовки газет, я видел, как мои приятели в университетском клубе покачивают головой и вздыхают: «Вот бедняга!» Видел я и Чарли Фэррета в минуту прощания, в то роковое утро, когда он в халате на мигком диванчике под окном изрекал, словно оракул, свои скептические афоризмы.

А тем временем шхуна «Призрак», показываясь, ныряя, взбираясь на движущиеся водные валы и скатываясь в бурлящие пропасти, прокатывала себе путь все дальше и дальше — к самому сердцу Тихого океана... и уносила меня с собой. Я слышал, как над морем бушует ветер. Его приглушенный вой долетал и сюда. Иногда над головой раздавался топот ног по палубе. Крутом все стонало и скрипело, деревянные крепления трещали, крахтели, визжали и жалопились на тысячу ладов. Охотники все еще спорили и рычали друг на друга, словно какие-то человекоподобные земноводные. Ругань несла в воздухе. Я видел их разгоряченные лица в искажающем, тусклом-желтом свете ламп, раскачивавшихся вместе с кораблем. В облаках дыма койки казались логотипами диких зверей. На стенах висели клеенчатые штаны и куртки и морские сапоги; на полках кое-где лежали дробовики и винтовки. Все это напоминало картину из жизни пиратов и морских разбойников былых времен. Мое воображение разыгралось и не давало мне уснуть. Это была долгая, долгая, томительная и тоскливая, очень долгая ночь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Первая ночь, проведенная мною в кубрике охотников, оказалась также и последней. На другой день новый помощник Йогансен был изгнан капитаном из его каюты и переселен в кубрик к охотникам. А мне велено было перебраться в крохотную каютку, в которой до меня в первый же день плавания сменилось уже два хозяина. Охотники скоро узнали причину этих перемещений и остались ею очень недовольны. Выяснилось, что Йогансен каждую ночь вслух переживает во сне все свои дневные впечатления. Волк Ларсен не пожелал слушать, как он непрестанно что-то бормочет и выкрикивает слова команды, и предпочел переложить эту неприятность на охотников.

После бессонной ночи я встал слабый и измученный. Так начался второй день моего пребывания на шхуне «Призрак». Томас Магридж растолкал меня в половине шестого не менее грубо, чем Билл Сайкс [4] будил свою собаку. Но за эту грубость ему тут же отплатили с лихвой. Поднятый им без всякой надобности шум — я за всю ночь так и не сомкнул глаз — потревожил кого-то из охотников. Тяжелый башмак проскочил в полутьме, и мистер Магридж, взыв от боли, начал униженно рассыпаться в извинениях. Потом в камбузе я увидел его окровавленное и распухшее ухо. Оно никогда уже больше не приобрело своего нормального вида, и матросы стали называть его после этого «капустным листом».

Этот день был полон для меня самых разнообразных неприятностей. Уже с вечера я взял из камбуза свое высохшее платье и теперь первым делом поспешил сбросить с себя вещи кока, а затем стал искать свой кошелек. Кроме мелочи (у меня на этот счет хорошая память), там лежало сто восемьдесят пять долларов золотом и бумажками. Кошелек я нашел, но все его содержимое, за исключением мелких серебряных монет, исчезло. Я заявил об этом коку, как только поднялся на палубу, чтобы приступить к своей работе в камбузе, и хотя и ожидал от него грубого ответа, однако свирепая отповедь, с которой он на меня обрушился, совершенно меня ошеломила.

— Вот что, Хэмп, — захрипел он, злобно сверкая глазами. — Ты что, хочешь, чтобы тебе пустили из носу кровь? Если ты считаешь меня вором, держи это про себя, а не то крепко покалечу о своей опинке, черт тебя подери! Вот она, твоя благодарность, чтоб я прошил! Я тебя пригнул, когда ты совсем подыхал, взял к себе в камбуз, познись с тобой, а ты так мне отплатил? Проваливай ко всем чертям, пот что! У меня руки чешутся показать тебе дорогу.

Сжав кулаки и продолжая кричать, он двинулся на меня. К стыду своему должен признаться, что я, увернувшись от удара, выскокил из камбуза. Что мне было делать? Сила, грубая сила, царила на этом подлом судне. Читая мораль было здесь не в ходу. Вообразите себе человека среднего роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мускулами, привыкшего к тихой, мирной жизни, незнакомого с насильем... Что такой человек мог тут поделывать? Вступать в драку с озверевшим коком было так же бессмысленно, как сражаться с разъяренным быком.

Так думал я в то время, испытывая потребность в самооправдании и желая успокоить свое самолюбие. Но такое оправдание не удовлетворило меня, да и сейчас, вспоминая этот случай, я не могу полностью себя обелить. Положение, в которое я попал, не укладывалось в обычные рамки и не допускало рациональных поступков — тут надо было действовать не расуждая. И хотя логически мне, казалось, абсолютно нечего было стыдиться, я тем не менее всякий раз испытываю стыд при воспоминании об этом эпизоде, ибо чувствую, что моя мужская гордость была поправа и оскорблена.

Однако все это не относится к делу. Я удирал из камбуза с такой поспешностью, что почувствовал острую боль в колене и в изнеможении опустился на палубу у переборки юта. Но кок не стал преследовать меня.

— Гляньте на него! Ишь как улепетывает! — услышал я его насмешливые возгласы. — А еще с большой ногой! Иди назад, бедняжка, маменькин сынок! Не трону, не бойся!

Я вернулся и принялся за работу. На этом дело пока и кончилось, однако оно имело свои последствия. Я накрыл стол в кают-компании и в семь часов подав завтрак. Буря за ночь улеглась, но вопенные были все еще сильные и дул свежий ветер. «Призрак» мчался под всеми парусами, кроме обоних топселей и бом-кливера. Пару-

са были поставлены в первую вахту, и, как я понял из разговора, остальные три паруса тоже решено было поднять сейчас же после завтрака. Я узнал также, что Волк Ларсен старается использовать этот шторм, который гнал нас на юго-запад, в ту часть океана, где мы могли встретить северо-восточный пассат. Под этим постоянным ветром Ларсен рассчитывал пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем на юг к тропикам, а потом у берегов Азии повернуть опять на север.

После завтрака меня ожидало новое и также довольно незавидное приключение. Покончив с мытьем посуды, я выбреб из печки в кают-компанию золу и вынес ее на палубу, чтобы выбросить за борт. Волк Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у штурвала. На руле стоял матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, он потнул головой, и я принял это за утреннее приветствие. А он пытался предостеречь меня, чтобы я не выбрасывал золу против ветра. Ничего не подозревая, я прошел мимо Волка Ларсена и охотника и высыпал золу за борт. Ветер подхватил ее, и не только я сам, но и капитан с Гендерсоном оказались осыпанными золой. В тот же миг Ларсен ударил меня ногой, как шенка. Я никогда не представлял себе, что пинок ногой может быть так ужасен. Я отлетел назад и, шатаясь, прислонился к рубке, едва не лишившись сознания от боли. Все поплыло у меня перед глазами, к горлу подступила тошнота. Я сделал над собой усилие и подполз к борту. Но Волк Ларсен уже забыл про меня.

Сгряхнув с плиты золу, он возобновил разговор с Гендерсоном. Иогансен, наблюдавший все это с юта, послал двух матросов прибрать палубу.

Несколько позже в то же утро я столкнулся с неожиданностью совсем другого свойства. Следуя указаниям кока, я отправился в кают-компанию койки, висела полка с книгами. С изумлением прочел я на корешках имена Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де-Квинси. Были там и научные сочинения, среди которых я заметил труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Кроме того, я увидел «Мифический век» Булфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу, «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах и несколько грамматик

Меткалфа, Гидла и Келлога. Я не мог не улыбнуться, когда на глаза мне попался экземпляр «Английского языка для проповедников».

Наличие этих книг никак не вязалось с обликом их владельца, и я не мог не усомниться в том, что он способен читать их. Но, застыв на койке, я обнаружил под одеялом томик Бруннинга в кембриджском издании — очевидно, Ларсен читал его перед сном. Он был открыт на стихотворении «На балконе», и я заметил, что некоторые места подчеркнуты карандашом. Шхуну качнуло, я выронил книгу, из нее выпал листок бумаги, испещренный геометрическими фигурами и какими-то выкладками.

Значит, этот ужасный человек совсем не такой уж неуч, как можно было предположить, наблюдая его звериные выходы. И он сразу стал для меня загадкой. Обе стороны его натуры в отдельности были вполне понятны, но их сочетание казалось непостижимым. Я уже успел заметить, что Ларсен говорит превосходным языком, в котором лишь изредка проскальзывают не совсем правильные обороты. Если в разговоре с матросами и охотниками он и позволял себе жаргонные выражения, то в тех редких случаях, когда он обращался ко мне, его речь была точна и правильна.

Узнав его теперь случайно с другой стороны, я несколько осмелел и решился сказать ему, что у меня пропали деньги.

— Меня обокрали, — обратился я к нему, увидав, что он в одиночестве расхаживает по палубе.

— Сэр, — поправил он меня не грубо, но внушительно.

— Меня обокрали, сэр, — повторил я.

— Как это случилось? — спросил он.

Я рассказал ему, что оставил свое платье сушиться в камбузе, а потом как-то чуть не избил меня, когда я заикнулся ему о пропаже.

Волк Ларсен выслушал меня и усмехнулся.

— Как поживился, — решил он. — Но не кажется ли вам, что ваша жалкая жизнь стоит все же этих денег? Кроме того, это для вас урок. Научитесь в конце концов сами заботиться о своих деньгах. До сих пор, вероятно, это делал за вас ваш поверенный или управляющий. Я почувствовал насмешку в его словах, но все же спросил:

— Как мне получить их назад?

— Это ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни управляющего, остается полагаться только на самого себя. Если вам пере-

падет доллар, держите его крепче. Тот, у кого деньги валяются где попало, заслуживает, чтобы его обокрали. К тому же вы еще и со- грешили. Вы не имеете права искушать ближних. А вы соблазнили кока, и он пал. Вы подвергли опасности его бессмертную душу. Кстати, верите ли вы в бессмертие души?

При этом вопросе веки его лениво приподнялись, и мне показалось, что отдернулась какая-то завеса, и я на мгновение заглянул в его душу. Но это была иллюзия. Я уверен, что ни одному человеку не удавалось проникнуть взглядом в душу Волка Ларсена. Это была одинокая душа, как мне довелось впоследствии убедиться. Волк Ларсен никогда не снимал маски, хотя порой любил играть в откровенность.

— Я читаю бессмертие в ваших глазах, — отвечал я и для опыта пропустил «сэр»; известная интимность нашего разговора, казалось мне, допускала это.

Ларсен действительно не придал этому значения.

— Вы, я полагаю, хотите сказать, что видите в них нечто живое. Но это живое не будет жить вечно.

— Я читаю в них значительно больше, — смело продолжал я.

— Ну да — сознание. Сознание, постижение жизни. Но не больше, не бесконечность жизни.

Он мыслил ясно и хорошо выражал свои мысли. Не без любопытства оглядев меня, он отвернулся и устремил взор на свиное море. Глаза его потемнели, и у рта обозначились резкие, суровые линии. Он явно был мрачно настроен.

— А какой в этом смысл? — отрывисто спросил он, снова повернувшись ко мне. — Если я наделен бессмертием, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как передать словами что-то неопределенное, похожее на музыку, которую слышишь во сне? Нечто вполне убедительное для меня, но не поддающееся определению.

— Во что же вы тогда верите? — в свою очередь, спросил я.

— Я верю, что жизнь — нелепая суета, — быстро ответил он. — Она похожа на закуску, которая бродит минуты, часы, годы или столетия, но рано или поздно перестает бродить. Большие пожиратели малых, чтобы поддерживать свое брожение. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранить свою силу. Кому везет, тот ест больше и

продлит дольше других, — вот и все! Вон поглядите — что вы скажете об этом?

Нерепливым жестом он показал на группу матросов, которые попились с тросами посреди палубы.

— Они копошатся, движутся, но ведь и медузы движутся. Двигаются для того, чтобы есть, и едят для того, чтобы продолжаться/длиться. Вот и вся штука! Они живут для своего брюха, а брюхо поддерживает в них жизнь. Это замкнутый круг, двинуться по нему, никуда не придешь. Так с ними и происходит. Рано или поздно движение прекращается. Они больше не копошатся. Они мертвы.

— У них есть мечты, — прервал я, — сверхкающие, лучезарные мечты о...

— О жратве, — решительно прервал он меня.

— Нет, и еще...

— И еще о жратве. О большой удаче — как бы побольше и послаще пожрать. — Голос его звучал резко. В нем не было и тени шутки. — Будьте уверены, они мечтают об удачных плаваниях, которые дадут им больше денег; о том, чтобы стать капитанами кораблей или капитанами клада, — короче говоря, о том, чтобы устроиться получше и иметь возможность высасывать соки из своих ближних, о том, чтобы самим всю ночь спать под крышей и хорошо питаться, а всю грязную работу переложить на других. И мы с вами такие же. Разницы нет никакой, если не считать того, что мы едим больше и лучше. Сейчас и пожираю их и вас тоже. Но в прошлом вы ели больше моего. Вы спали в мягких постелях, носили хорошую одежду и ели вкусные блюда. А кто сделал эти постели, и эту одежду, и эти блюда? Не вы. Вы никогда ничего не делали в поте лица своего. Вы живете с доходов, оставленных вам отцом. Вы, как птица фрегат, бросаетесь с высоты на бакланов и похищаете у них пойманную ими рыбку. Вы «одно целое с кучкой людей, создавших то, что они называют государством», и властвующих над всеми остальными людьми и пожирающих пищу, которую те добывают и сами не прочь были бы съесть. Вы носите теплую одежду, а те, кто сделал эту одежду, дрожат от холода в лохмотьях и еще должны вымаливать у вас работу — у вас или у вашего поверенного или управляющего, — словом, у тех, кто распоряжается вашими деньгами.

— Но это совсем другой вопрос! — воскликнул я.

— Вовсе нет! — Капитан говорил быстро, и глаза его сверкали. — Это свинство, и это... жизнь. Какой же смысл в бессмертии свинства? К чему все это ведет? Зачем все это нужно? Вы не создаете пищи, а между тем пища, съеденная или выброшенная вами, могла бы спасти жизнь десяткам несчастных, которые эту пищу создают, но не едят. Какого бессмертия заслужили вы? Или они? Возьмите нас с вами. Чего стоит ваше хваленое бессмертие, когда ваша жизнь столкнулась с моей? Вам хочется назад, на сушу, так как там раздолье для привычного вам свинства. По своему капризу я держу вас на этой шхуне, где процветает мое свинство. И буду держать. Я или сломано вас, или переделано. Вы можете умереть здесь сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы одним ударом кулака убить вас, — ведь вы жалкий червяк. Но если мы бессмертны, то какой во всем этом смысл? Вести себя всю жизнь по-свински, как мы с вами, — неужели это к лицу бессмертным? Так для чего же это все? Почему я держу вас тут?

— Потому, что вы сильнее, — выпалил я.

— Но почему я сильнее? — не унимался он. — Потому что во мне больше этой завадки, чем в вас. Неужели вы не понимаете? Неужели не понимаете?

— Но жить так — это же безнадежность! — воскликнул я.

— Согласен с вами, — ответил он. — И зачем оно нужно вообще, это брожение, которое и есть сущность жизни? Не двигаться, не быть частичей жизненной завадки, — тогда не будет и безнадежности. Но в этомто все и дело: мы хотим жить и двигаться, несмотря на всю бессмысленность этого, хотим, потому что это заложено в нас природой, — стремление жить и двигаться, бродить. Без этого жизнь остановилась бы. Вот эта жизнь внутри вас и заставляет вас мечтать о бессмертии. Жизнь внутри вас стремится быть вечной. Эх! Вечность свинства!

Он круто повернулся на каблуках и пошел на корму, но, не дойдя до края юта, остановился и подозвал меня.

— Кстати, на какую сумму обчистил вас кок? — спросил он.

— На сто восемьдесят пять долларов, сэр, — ответил я.

Он молча кивнул Минутой позже, когда я спускался по трапу накрывать на стол к обеду, я слышал, как он уже разносит кого-то из матросов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наутро шторм, обессилив, стих, и «Призрак» тихо показывался на безбрежной глади океана. Лишь изредка в воздухе чувствовалось легкое дуновение, и капитан не покидал палубы и все подглядывал на северо-восток, откуда должен был прийти пассат.

Весь экипаж тоже был на палубе — готовил шлюпки к предстоящему охотничьему сезону. На шхуне имелось семь шлюпок: шесть охотничьих и капитанский тузик. Команда каждой шлюпки состояла из охотника, гребца и рулевого. На борту шхуны в команду входили только гребцы и рулевые, но вахтенную службу должны были нести и охотники, которые тоже находились в распоряжении капитана.

Все это я узнавал мало-помалу, — это и многое другое. «Призрак» считался самой быстросходной шхуной в промысловых флотилиях Сан-Франциско и Виктории. Когда-то это была частная яхта, построенная с расчетом на быстросходность. Ее обводы и оснастка — хотя я и мало смыслил в этих вещах — сами говорили за себя. Впрочем, во время второй вечерней полувахты, мы с Джонсоном немного поболтали, и он рассказал мне все, что ему было известно о нашей шхуне. Он говорил восторженно, с такой любовью к хорошему кораблю, с какой иные говорят о лошадях. Но от плавания он не ждал добра и дал мне понять, что Волк Ларсен пользуется очень скверной репутацией среди прочих капитанов промысловых судов. Только желание поплавать на «Призраке» соблазнило Джонсона подписать контракт, но он уж начинал жалеть об этом.

Джонсон сказал мне, что «Призрак» — восьмидесятитонная шхуна превосходной конструкции. Наибольшая ширина ее — двадцать три фута, а длина превышает девяносто. Необычайно тяжелый свинцовый фальшкиль (вес его точно неизвестен) придает ей большую остойчивость и позволяет нести огромную площадь парусов. От палубы до клотика грот-стенги больше ста футов, тогда как фок-мачта вместе со стеньгой футов на десять короче. Я привожу все эти подробности для того, чтобы можно было представить себе

размеры этого плавающего мирка, носившего по океану двадцать два человека. Это был крошечный мирок, пятнышко, точка, и я дивился тому, как люди осмеливаются пускаться в море на таком маленьком, хрупком сооружении.

Волк Ларсен славился своей безрасудной смелостью в плавании под парусами. Я слышал, как Гендерсон и еще один охотник — калифорниец Стэндиш — толковали об этом. Два года назад Ларсен потерял матчы на «Призраке», попав в шторм в Беринговом море, после чего и были поставлены теперешние, более прочные и тяжелые. Когда их устанавливали, Ларсен заявил, что предпочитает перевернуться, нежели снова потерять матчы.

За исключением Иогансена, упоенного своим повышением, на борту не было ни одного человека, который не подыскивал бы оправдания своему поступлению на «Призраке». Половина команды состояла из моряков дальнего плавания, и они утверждали, что ничего не знали ни о шхуне, ни о капитане; а те, кто был знаком с положением вещей, потихоньку говорили, что охотники — прекрасные стрелки, но такая буйная и продувная компания, что ни одно приличное судно не взяло бы их в плавание.

Я познакомился еще с одним матросом, по имени Луис, круглолицым веселым ирландцем из Новой Шотландии, который всегда был рад поболтать, лишь бы его слушали. После обеда, когда кок спал внизу, а я чистил свою неизменную картошку, Луис зашел в камбуз «почесать языком». Этот малый объяснял свое пребывание на судне тем, что был пьян, когда подписывал контракт; он без конца уверял меня, что ни за что на свете не сделал бы этого в трезвом виде. Как я понял, он уже лет десять каждый сезон выезжает бить котиков и считается одним из лучших шлюпочных рулевых в обеих флотилиях.

— Эх, дружище, — сказал он, мрачно покачивая головой, — хуже этой шхуны не сыскать, а ведь ты не был пьян, как я, когда попал сюда! Охота на котиков — это рай для моряка, но только не на этом судне. Помощник положил начало, но, помини мое слово, у нас будут и еще покойники до конца плавания. Между нами говоря, этот Волк Ларсен сущий дьявол, и «Призраке» тоже стал адовой посудиною, с тех пор как попал к этому капитану. Что я, не знаю, что ли! Не помню я разве, как два года назад в Хакодаде у него взбунтовалась

команда и он застрелил четырех матросов. Я-то в то время плавал на «Эмме Л.», мы стояли на якоре в трехстах ярдах от «Призрака». И еще в том же году он убил человека одним ударом кулака. Да, да, так и уложил на месте! Хватил по голове, и она треснула, как мячная скорлупа. А что он выкинул с губернатором острова Кура и с начальником тамошней полиции! Эти два японских джентльмена с начальником тамошней полиции! Эти два японских джентльмена и явились к нему на «Призраке» в гости, и с ними были их жены, хоришеньки, словно куколки. Ну, точь-в-точь, как рисуют на веерах. А когда пришло время сниматься с якоря, он спустил мужей в их сампан и будто случайно не успел спустить жен. Через неделю этих бедняжек высадили на берег по другую сторону острова, и ничего им не оставалось, как брести домой через горы в своих игрушечных соломенных сандалиях, которых не могло хватить и на одну милю. Что я, не знаю, что ли! Зверь он, этот Волк Ларсен, вот что! Зверь, о котором еще в Апокалипсисе сказано. И добром он не кончит... Только помни, я тебе ничего не говорил! И словечка не шепнул. Поэтому что старый толстый Луис поклялся вернуться живым из этого плавания, даже если все остальные пойдут на корм рыбам.

— Волк Ларсен! — помолчав, заворчал он снова. — Даром, что ли, его так зовут! Да, он волк, настоящий волк! Бывает, что у человека каменное сердце, а у этого и вовсе сердца нет. Волк, просто волк, и все тут! Верно ведь, эта кличка здорово ему пристала?

— Но если его так хорошо знают, — возразил я, — как же ему удается набирать себе экипаж?

— А как это всегда находят людей на какую угодно работу, хоть на земле, хоть на море? — с кельтской горячностью возразил Луис. — Разве ты увидел бы меня на борту этой шхуны, если бы я не был пьян, как свинья, когда подмахнул контракт? Кое-кто здесь такой народ, что им не попасть на порядочное судно. Взять хоть наших охотников. А другие, бедняги, матросы с бака, сами не знали, куда они нанимаются. Ну да они еще узнают! Узнают и проклянут тот день, когда родились на свет! Жаль мне их, но я должен прежде всего думать о толстом старом Луисе и о том, что его ждет. Только, смотри, молчок! Я тебе ни слова не говорил. Эти охотники — порядочная дрянь, — через минуту начал он снова, так как отлучался необычайной словоохотливостью. — Дай срок, они еще разойдутся и покажут себя. Ну да Ларсен живо их скрутит. Только он и может

нагнать на них страху. Вот, возьми хоть моего охотника Хорнера. Уж такой тихоня с виду, спокойный да вежливый, прямо как барышня, воды, кажется, не замутит. А ведь в прошлом году ужокошил своего рулевого. Несчастный случай, и все. Но я встретил потом в Икогаме гребца, и он рассказал мне, как было дело. А этот маленький чернявый проходимец Смок — ведь он отбыл три года на сибирских соляных копях за браконьерство: охотился в русском заповеднике на Медном острове. Его там сковали ноги с ногой и рука с рукой с другим каторжником. Так вот на работе между ними что-то вышло, и Смок отправил своего товарища из шахты наверх в бадях с солью. Только отправлял он его по частям: сегодня — ногу, завтра — руку, послезавтра — голову...

— Что вы такое говорите! — в ужасе вскричал я.

— Что я говорю? — резко прервал он меня. — Ничего я не говорю. Я глух и нем и другим совету по-малкивать, если им жизнь дорога. Что я говорил? Да только, что все они замечательные ребята и он тоже, чтоб его черт побрал, чтоб ему гнить в чистилище десять тысяч лет, а потом провалиться в самую преисподнюю!

Джонсон, матрос, который чуть не содрал с меня кожу, когда я впервые попал на борт, казался мне наиболее прямодушным из всей команды. Это была простая, открытая натура. Его честность и мужественность бросались в глаза, и в то же время он был очень скромным, почти робок. Однако робким его все же нельзя было назвать. Чувствовалось, что он способен отстаивать свои взгляды и обладает чувством собственного достоинства. Мне запомнилась моя первая встреча с ним и то, как он не пожелал, чтобы коверкали его фамилию. О нем и об этих его особенностях Луис высказался так (слова его звучали пророчеством):

— Славный малый этот швед Джонсон, лучший матрос на баке. Он гребцом у нас на шлюпке. Но с Волком Ларсеном у него дойдет до беда, это как пить дать. Уж я-то знаю! Я вижу, как надвигается буря. Я говорил с Джонсоном по-братски, но он не жалеет тушить огни и вывешивать фальшивые сигналы. Чуть что не по нем, начинает ворчать, а на судне всегда найдется гад, который донесет на него. Волк силен, а эта волчья порода не терпит силы в других. Он видит, что и Джонсон силен и его не согнуть, — этот не станет благо-

душить и кланяться, если его обложат или вцепят по морде. Эх, быть беде! Быть беде! И бог весть, где я возьму тогда другого гребца! Вы знаете, что сделал этот дурак, когда старик назвал его «Ионсон». «Меня зовут Джефконсон, сэр», — поправляет он капитана да еще начинает выговаривать это буква за буквой. Вы бы поглядели на старика! Я думал, он пристукнет его на месте. Ну, на этот раз он его не убил, но он еще обломает этого шведа, или я мало смысло в том, что бывает у нас на море.

Томас Матридж становится невыносим. Я должен величать его «мистер» и «сэр», прибавлять это к каждому слову. Обнагтел он так отчасти потому, что Волк Ларсен, по-видимому, к нему благоволит. Вообще это неслыханная вещь, на мой взгляд, чтобы капитан водил дружбу с коком, но таков каприз Волка Ларсена. Он два или три раза случалось, что он просовывал голову в камбуз и принимался благодушно поддразнивал кока. А сегодня после обеда минут пятнадцать болтал с ним на юте. После этой беседы Матридж ринулся в камбуз, сияя и гадко ухмыляясь во весь рот, и за работой все время напевал себе под нос какие-то уличные песенки чудовищно гнусавым фальцетом.

— Я умею ладить с начальством, — разоткровенничался он со мной. — Знаю, как себя с ним вести, и меня всюду ценят. Вот хотя бы с последним шкипером — я, когда хотел, запросто заходил к нему в каюту поболтать и пропустить стаканчик. «Матридж, — говорил он мне, — Матридж, а ведь ты ошибся в своем призвании!» «А что это за призвание?» — спрашиваю. «Ты должен был родиться джентльменом, чтобы тебе никогда не пришлось своим трудом зарабатывать на жизнь». Убей меня бог, Хэмп, если он не сказал так — слово в слово! А я слушаю его и сижу у него в каюте, как у себя дома, курю его сигары и пью его ром!

Эта болтовня доводила меня до иступления. Никогда еще ничей голос не был мне так ненавистен. Масленный, вкрадчивый тон кока, его гаденькая улыбочка, его невероятное самомнение так действовали мне на нервы, что меня бросало в дрожь. Это была, безусловно, самая омерзительная личность, какую я когда-либо встречал. К тому же он был неопишимо нечистоплотен, а так как вся пища проходила через его руки, то я, мучимый брезгливостью, старался есть то, к чему он меньше прикасался.

Мои руки, не привыкшие к грубой работе, доставляли мне много мучений. Грыз так въелась в кожу, что я не мог отмыть ее даже щеткой. Ногти почернели и обломались, на ладонях вскочили волдыри, а однажды, потеряв равновесие во время качки и привалившись к плите, я сильно обжег себе локоть. Колено тоже продолжало болеть. Опухоль держалась, и коленная чашечка все еще не стала на место. С утра до ночи я должен был ковылять по кораблю, и это отнюдь не приносило пользы моей искалеченной ноге. Я знал, что ей необходим отдых.

Отдых! Раньше я не понимал по-настоящему значения этого слова. Ведь я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы мне удалось посидеть полчаса, ничего не делая, не думая ни о чем, — это показалось бы мне величайшим блаженством на свете. Зато все это являлось для меня как бы откровением. Да, теперь я знаю, какво приходится трудовому люду! Мне и не снилось, что работа может быть так чудовищно тяжела. С половинны шестого утра и до десяти вечера я раб всех и каждого и не имею ни минуты для себя, кроме тех кратких мгновений, которые удается урвать в конце вечерней вахты. Стоит мне залобоваться на миг сверкающим на солнце морем или заглядеться, как один матрос бежит по бушприту, а другой карабкается наверх по вантам, и тотчас за моей спиной раздается ненавистный голос: «Эй, Хэмп! Ты что там рот разинул! Думашь, не вижу?»

В кузбике у охотников заметно растет недовольство, и я слышал, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон самый опытный из охотников. Это флегматичный парень, и его трудно раскоченать, но, верно, уж его раскоченали, потому что Смок ходит с подбитым глазом и сегодня за ужином смотрел зверем.

Перед ужином я был свидетелем жестокого зрелища, изобличающего грубость и черствость этих людей. В нашей команде есть новичок, по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, которого, должно быть, толкнула на это первое плавание жажда приключений. При слабом и часто меняющемся противном ветре шхуне приходится много лавировать. В таких случаях паруса переносят с одного борта на другой, а наверх посылают матроса — перенести фор-топсель.

Гаррисон был наверху, когда шкот заело в блоке, через который он проходит на ноке гафеля. Насколько я понимаю, было два спосо-

ба очистить шкот: либо спустить фок, что было сравнительно легко и не сопряжено с опасностью, либо добираться по дирик-фалу до нока гафеля — предприятие весьма рискованное.

Йогансен приказал Гаррисону лезть по фалу. Всякому было ясно, что мальчишка трусит. Да и не мудрено — ведь ему предстояло подняться на восьмидесят футов над палубой, доверив свою жизнь тонким, колеблющимся снастям. При более ровном ветре опасность была бы не так велика, но «Призрак» качало на длинной волне, как сморюнку, и при каждом крене судна паруса хлопали и полопались, а фалы то ослабевали, то вдруг нагигивались рывком. Они могли страхнуть с себя человека, как возникает страхивает муху с кнута. Гаррисон слышал приказ и понял, чего от него требуют, но все еще мешкал. Быть может, ему первый раз в жизни приходилось работать на мате.

Йогансен, который успел уже перенять манеру Волка Ларсена, разразился традом ругательства.

— Будет, Йогансен! — оборвал его капитан. — На этом судне ругаться я, пора бы вам это понять. Если мне понадобится ваша помощь, я вам скажу.

— Есть, сэр, — покорно отозвался помощник.

В это время Гаррисон уже лез по фалам. Я смотрел на него из дщери камбуза и видел, что он весь дрожит, словно в лихорадке. Он подвигался вперед очень медленно и осторожно. Его фигура четко вырисовывалась на яркой синеве неба и напоминала огромного паука, ползущего по тонкой нити паутины.

Гаррисону приходилось взбираться вверх под небольшим уклоном, и дирик-фал, пропущенный через разные блоки на гафеле и на мате, кое-где давал опору для рук и ног. Но беда была в том, что слабый и непостоянный ветер плохо наполнял паруса. Когда Гаррисон был уже на полпути к ноку гафеля, «Призрак» сильно качнуло, сначала в наветренную сторону, а потом обратно в ложбину между двумя валами. Гаррисон замер, крепко сцепившись за фал. Стоя внизу, на расстоянии восьмидесяти футов от него, я видел, как напряглись его мускулы в отчаянной борьбе за жизнь. Парус повис пустой, гафель закинуло, фал ослабел, и хотя все произошло мгновенно, я видел, как он проткнулся под тяжестью матроса. Потом гафель внезапно вернулся в прежнее положение, огромный парус,

надуваясь, хлопнул так, словно выстрелили из пушки, а три ряда риф-штертов зацепляли по парусине, создавая впечатление ружейной пальбы. Гarrisон, уцепившийся за фал, совершил головокружительный полет. Но полет этот внезапно прекратился. Фал натянулся, и это и был удар кнута, стуживающий муху. Гarrisон не удержался. Одна рука его отпустила фал, другая секунду еще цеплялась, но только секунду. Однако в момент падения матрос каким-то чудом ухитрился зацепиться за снасти ногами и повис вниз головой. Изогнувшись, он снова ухватился руками за фал. Мало-помалу ему удалось восстановить прежнее положение, и он жалким комочком прилип к снастям.

— Пожалуй, это отобьет у него аппетит к ужину, — услышал я голос Волка Ларсена, который появился из-за угла камбуза. — По-дундра, Иогансен! Берегитесь! Сейчас начнется!

И действительно, Гarrisону было дурно, как при морской болезни. Он висел, уцепившись за снасти, и не решался двинуться дальше. Но Иогансен не переставал яростно понукать его, требуя, чтобы он выполнил приказание.

— Стыд и позор! — проворчал Джонсон, медленно и с трудом, но правильно выговаривая английские слова. Он стоял у грот-вант в нескольких шагах от меня. — Малый и так старается. Научился бы понемногу. А это...

Он умолк, прежде чем слово «убийство» сорвалось у него с языка.

— Тише ты! — шепнул ему Луис. — Помалкивай, коли тебе жизнь не надоела!

Но Джонсон не унимался и продолжал ворчать.

— Послушайте, — сказал один из охотников, Стэндиш, обращаясь к капитану, — это мой гребец, я не хочу потерять его.

— Ладно, Стэндиш, — последовал ответ. — Он гребец, когда он у вас на шлюпке, но на шхуне — он мой матрос, и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится, черт подери!

— Это еще не значит... — начал было снова Стэндиш. — Хватит! — отрывнулся Ларсен. — Я сказал, и точка. Это мой матрос, и я могу сварить из него суп и съесть, если пожелаю.

Злой огонек сверкнул в глазах охотника, но он смолчал и направился к кубрику; остановившись на трапе, он взглянул вверх. Все

матросы столпились теперь на палубе: все глаза были обращены туда, где шла борьба жизни со смертью. Черствость, бессердечие тех людей, которым современный промышленный строй предоставил инициативу над жизнью других, ужаснули меня. Мне, стоявшему всегда и стороне от житейского водоворота, даже на ум не приходило, что труд человека может быть сопряжен с такой опасностью. Человеческая жизнь всегда представлялась мне чем-то высоко священным, а здесь ее не ставили ни во что, здесь она была не больше как цифрой и коммерческих расчетах. Должен оговориться: матросы сочувствовали своему товарищу, взять, к примеру, того же Джонсона, но начальство — капитан и охотники — проявляло полное бессердечие и равнодушие. Ведь и Стэндиш вступился за матроса лишь потому, что не хотел потерять гребца. Будь это гребец с другой шлюпки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные, оно только позабавило бы его.

Но вернемся к Гarrisону. Минут десять Иогансен всячески понукал и поносил несчастного и заставил его наконец двинуться с места. Матрос добрался все же до нока гафеля. Там он уселся на гафель верхом, и ему стало легче держаться. Он очистил шкот и мог теперь вернуться, спустившись по фалу к мате. Но у него уже, как видно, не хватало духу. Он не решался променять свое опасное положение на еще более опасный спуск.

Расширенными от страха глазами он поглядывал на тот путь, который ему предстояло совершить высоко в воздухе, потом переворачивая взгляд на палубу. Его трясло, как в лихорадке. Мне никогда еще не случилось видеть выражения такого смертельного испуга на человеческом лице. Тщетно Иогансен кричал ему, чтобы он спускался. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он прилип к нему, оцепенев от ужаса. Волк Ларсен прогулывался по палубе, беседуя со Смоком, и не обращал никакого внимания на Гarrisона, только раз резко окрикнул рулевого:

— Ты сошел с курса, приятель. Смотри, получишь у меня!

— Есть, сэр, — отвечал рулевой и немного повернул штурвал.

Его провинность состояла в том, что он слегка отклонил шхуну от курса, чтобы слабый ветер мог хоть немного надувать паруса и удерживать их в одном положении. Этим он пытался помочь злополучному Гarrisону, рискуя навредить на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и напряжение становилось невыносимым. Однако Томас Матридж находил это происшествие чрезвычайно забавным. Каждую минуту он высовывал голову из камбуза и отпускал шуточки. Как я ненавижу его! Моя ненависть к нему выросла за эти страшные минуты до исполинских размеров. Первый раз в жизни я испытывал желание убить человека. Я «жаждал крови», как выражаются некоторые наши писатели и любители пышных оборотов. Жизнь вообще, быть может, священна, но жизнь Томаса Матриджа представлялась мне чем-то презренным и нечестивым. Почувствовав жажду убийства, я испугался, и у меня мелькнула мысль: неужели грубость окружающей среды так на меня повлияла? Ведь не я ли всегда утверждал, что смертная казнь несправедлива и недопустима даже для самых закоренелых преступников?

Прошло не меньше полчаса, а затем я заметил, что Джонсон и Луис торжато о чем-то спорят. Спор кончился тем, что Джонсон отмахнулся от Луиса, который пытался его удержать, и направился куда-то. Он пересек палубу, прыгнул на фор-ванты и полез вверх. Это не ускользнуло от острого взора Волка Ларсена.

— Эй, ты! Куда? — крикнул он.

Джонсон остановился. Глядя в упор на капитана, он неторопливо ответил:

— Хочу снять парня.

— Спустишься сию же минуту вниз, черт тебя дери! Слышишь? Вниз!

Джонсон медлил, но многолетняя привычка подчиняться приказу пересилила, и, спустившись с мрачным видом на палубу, он ушел на бак.

В половине шестого я направился в кают-компанию накрывать на стол, но почти не создавал, что делаю.

Я видел только раскачивающийся гафель и прилепившегося к нему бледного, дрожащего от страха матроса, похожего снизу на каку-то смешную козлявку.

В шесть часов, подавая обед и пробегая по палубе в камбуз, я видел Гarrisона все в том же положении.

Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Никого, по-видимому, не интересовала жизнь этого человека, подвергнутая смертельной опасности потехи ради. Однако немного позже, лишней раз

обстав в камбуз, я, к своей великой радости, увидел Гarrisона, который, не таясь, брел от вант к люку на баке. Он наконец сообразил с духом и спустился.

— Чтоб покончить с этим случаем, я должен вкратце передать свой разговор с Волком Ларсеном, — он заговорил со мной в кают-компании, когда я убирал посуду.

— Что это у вас сегодня такой жалкий вид? — начал он. — В чем дело?

Я видел, что он отлично понимает, почему я чувствую себя почти так же худо, как Гarrisон, но хочет вызвать меня на откровенность, и отвечал:

— Меня расстроило жестокое обращение с этим малым. Он усмехнулся.

— Это у вас нечто вроде морской болезни. Одни подвержены ей, другие — нет.

— Что же тут общего? — возразил я.

— Очень много общего, — продолжал он. — Земля так же полна жестокостью, как море — движением. Иные не переносят первой, другие — второго. Вот и вся причина.

— Вы так издеваетесь над человеческой жизнью, неужели вы не придаете ей никакой цены? — спросил я.

— Цены! Какой цены? — Он посмотрел на меня, и я прочел циничную усмешку в его суровом пристальном взгляде. — О какой цене вы говорите? Как вы ее определите? Кто ценит жизнь?

— Я ценю, — ответил я.

— Как же вы ее цените? Я имею в виду чужую жизнь. Сколько она, по-вашему, стоит?

Цена жизни! Как мог я определить ее? Привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, я в присутствии Ларсена почему-то не находил нужных слов. Отчасти я объяснял себе это тем, что его личностность подавляла меня, но главная причина крылась все же в полной противоположности наших воззрений. В спорах с другими материалистами я всегда мог хоть в чем-то найти общий язык, найти какую-то отправную точку, но с Волком Ларсеном у меня не было ни единой точки соприкосновения. Быть может, меня сбивала с толку примитивность его мышления: он сразу приступал к тому, что считал существом вопроса, отбрасывая все, казавшееся ему мелким и

незначительным, и говорил так безапелляционно, что я терял почву под ногами. Цена жизни! Как мог я сразу, не задумываясь, ответить на такой вопрос? Жизнь священна — это я принимал за аксиому. Ценность ее в ней самой — это было столь очевидной истиной, что мне никогда не приходило в голову подвергать ее сомнению. Но когда Ларсен потребовал, чтобы я нашел подтверждение этой общезвестной истине, я растерялся.

— Мы с вами беседовали об этом вчера, — сказал он. — Я сравнивал жизнь с закатской, с дрожжевым грибом, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и утверждал, что жизнь — это просто торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь самая дешевая вещь на свете. Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая порождает жизнь, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами икринок. И возьмите себя или меня! В наших чреслах тоже заложены миллионы жизней. Имей мы возможность даровать жизнь каждой крупнице заложенной в нас нерожденной жизни, мы могли бы могли бы екать отпами народов и заселить целые материи. Жизнь? Пустое! Она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Она стучится во все двери. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысяччи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остается лишь самая сильная и самая свинская.

— Вы читали Дарвина, — заметил я. — Но вы превратно толкуете его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами чужих жизней.

Он пожал плечами.

— Вы, очевидно, имете в виду лишь человеческую жизнь, так как зверей, и птиц, и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. Но человеческая жизнь ничем не отличается от всякой прочей жизни, хотя вам и кажется, что это не так, и вы якобы видите какую-то разницу. Почему я должен беречь эту жизнь, раз она так дешево стоит и не имеет ценности?

Для матросов не хватает кораблей на море, так же как для рабочих на суше не хватает фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни вытесняли бедняков на окраины, в городские трущобы, отдавая их во власть голода и эпидемий, и сколько бы их мерло из-за отсутствия корки хлеба и куска мяса (то

есть той же разрушенной жизни), их еще остается слишком много, и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери, из-за возможности получить работу?

Он направился к трапу, но обернулся, чтобы сказать еще что-то напоследок.

— Видите ли, жизнь не имеет никакой цены, кроме той, какую она сама себе придает. И, конечно, она себя оценивает, так как неизбежно приспособлена к себе. Возьмите хоть этого матроса, которого я сегодня держал на мачте. Он цеплялся за жизнь так, будто это невеста какое-то сокровище, драгоценнее всяких бриллиантов или рубинов. Имел ли она для вас такую ценность? Нет. Для меня? Нисколько. Для него самого? Несомненно. Но я не согласен с его оценкой, он чрезмерно переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения. Если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир ничего не потерял бы от этого. Он не представляет для мира никакой ценности. Предложение слишком велико. Только в своих собственных глазах имеет он цену, и заметьте, насколько эта ценность обманчива, — ведь, мертвый, он уже не создавал бы этой потери. Только он один и ценит себя дороже бриллиантов и рубинов. И вот бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, их смоют в океан ведром воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не теряет, так как с потерей самого себя утратит и сознание потери. Ну? Что вы скажете?

— Что вы по крайней мере последовательны, — ответил я.
Это было все, что я мог сказать, и я снова занялся мытьем тарелок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наконец после трех дней переменных ветров мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, хорошо выпавшись, несмотря на боль в колене, и увидел, что «Призрака», пеня волны, летит, как на крыльях, под всеми парусами, кроме кливеров. В корму дул свежий ветер. Какое чудо эти мощные пассаты! Весь день мы шли вперед и всю ночь и так изо дня в день, а ровный и сильный ветер все время дул нам в корму. Шхуна сама летела вперед, и не нужно было выбирать и травить всевозможные снасти или переносить топселя, и матросам оставалось только нести вахту у штурвала. Вечерами, после захода солнца, шкоты немного потравливали, а по утрам, дав им просохнуть после росы, снова добирали, — и это было все.

Наша скорость — десять, одиннадцать, иной раз двенадцать узлов. А попутный ветер все дует и дует с северо-востока, и мы за сутки покрываем двести пятьдесят миль. Меня и печалит и радует эта скорость, с которой мы удаляемся от Сан-Франциско и приближаемся к тропикам. С каждым днем становится все теплее. Во время второй вечерней полувахты матросы выходят на палубу, раздеваются и окатывают друг друга морской водой. Начиная появляться летучие рыбы, и ночью вахтенные ползают по палубе, ловя тех, что падают к нам на шхуну. А утром, если удается подкупить Магриджа, из камбуза несется приятный запах жареной рыбы. Порой все лакомится мясом дельфина, когда Джонсону посчастливилось поймать с бушприта одного из этих красавцев.

Джонсон проводит там все свое свободное время или же забегает на салинг и смотрит, как «Призрака», гонимый пассатом, рассекает воду. Страсть и упоение светятся в его взгляде, он ходит, как в трансе, восхищенно поглядывая на раздувающихся паруса, на пенный след корабля, на его свободный бег по высоким волнам, которые движутся вместе с нами величавой процессией.

Дни и ночи — «чудо и неистовый восторг», и хотя нудная работа потощает все мое время, я все же стараюсь улучшить минутку, чтобы полюбоваться этой бесконечной торжествующей красотой, о существовании которой никогда прежде и не подозревал. Над нами синее, безоблачное небо, повторяющее оттенки моря, которое под форштевнем блестит и отливает, как голубой атлас. По горизонту протянулись легкие, перистые облачка, неизменные, неподвижные, точно серебряная оправа яркого бирюзового свода.

Надолго запомнилась мне одна ночь, когда, забыв про сон, лежал я на полубаке и смотрел на переливчатую игру пены, буллившей у форштевня. До меня долетали звуки, напоминавшие журчание ручейка по мысистым камням в тихом, уединенном ущелье. Они убаюкивали, уносили куда-то далеко, заставляя забыть, что я — юнга «Хэмп», бывший некогда Хэмфри Ван-Вейденом, который тридцать пять лет своей жизни просидел над книгами. Меня вернул к действительности толос Волка Ларсена, как всегда сильный и уверенный, но с необычайной мягкостью и затеанным восторгом произносивший такие слова:

Южных звезд искристый свет, за кормой серебристый след,

Как дорога в небосвод.

Киль взрезает пену волн, парус ровным ветром полн.

Кит дробит сверканье вод.

Снасти блещут росой по утрам,

Солнце сушит обшивку бортов.

Перед нами путь, путь, знакомый нам, —

Путь на юг, старый друг, он для нас вечно нов!

— Ну как, Хэмп? Нравится вам это? — спросил он меня, помогая, как того требовали стихи и обстановка.

Я взглянул на него. Липо его было озарено светом, как само море, и глаза сверкали.

— Меня поражает, что вы способны на такой энтузиазм, — холодно отвечал я.

— Почему же? Это говорит во мне жизнь! — воскликнул он.

— Дешевая вещь, не имеющая никакой цены, — напомнил я ему его слова.

Он рассмеялся, и я впервые услышал в его голосе искреннее веселье.

— Ох, никак не заставишь вас понять, никак не втолкуешь вам, что это за штука — жизнь! Конечно, она имеет цену только для себя самой. И могу сказать вам, что моя жизнь сейчас весьма ценна... для меня. Ей прямо нет цены, хотя вы скажете, что я очень ее переоцениваю. Но что поделаешь, моя жизнь сама определяет себе цену.

Он помолчал — казалось, он подыскивает слова, чтобы выказать какую-то мысль, — потом заговорил снова:

— Видите ли, я испытываю сейчас удивительный подъем духа. Словно все времена звучат во мне и все силы принадлежат мне. Словно мне открылась истина, и я могу отличить добро от зла, правду от лжи и взором проникнуть в даль. Я почти готов поверить в бога. Но, — голос его изменился и лицо потемнело, — почему я в таком состоянии? Откуда эта радость жизни? Это упоение от хорошего пищеварения, когда у человека желудок в порядке, аппетит исправный и весь организм хорошо работает. Это — брожение заката, шампанское в крови, это обман, подкачка, которую бросает нам жизнь, внушая одним высокими мыслями, а других заставляя видеть бога или создавать его, если они не могут его видеть. Вот и все: опьянение жизни, бурление заката, бесмысленная радость жизни, одурманенной сознанием, что она бродит, что она жива. Но увя! Завтра я буду расплачиваться за это, завтра для меня, как для запойного пьяницы, наступит похмелье. Завтра я буду помнить, что я должен умереть и, вероятнее всего, умру в плавании; что я перестану бродить в самом себе, стану частью брожения моря; что я буду гнить; что я сделаюсь падалью; что сила моих мускулов перейдет в плавники и чешую рыб. Увя! Шампанское выдохлось. Вся игра ушла из него, и оно потеряло свой вкус.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу мягко и бесшумно, словно тигр. «Призрак» продолжал идти своим путем. Пена бурлила у форштевня, но мне чудились теперь звуки, похожие на сдавленный хрип. Я прислушивался к ним, и мало-помалу впечатление, которое произвел на меня внезапный переход Ларсена от экстаза к отчаянию, ослабело.

Вдруг какой-то матрос на палубе звучным тенором заткнул «Песнь пассажа»:

Я ветер, любезный морякам,
Я свеж, могу ч.
Они следят по небесам
Мой лет средь туч.
И я бегу за кораблем
Вернее пса.
Вздываю ночью я и днем
Все паруса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Иногда Волк Ларсен кажется мне просто сумасшедшим или, во всяком случае, не вполне нормальным — столько у него странностей и диких причуд. Иногда же я вижу в нем задатки великого человека, гения, оставшиеся в зародыше. И наконец, в чем я совершенно убежден, так это в том, что он ярчайший тип первобытного человека, опоздавшего родиться на тысячу лет или поколений, живой анахронизм в наш век высокой цивилизации. Бесспорно, он законченный индивидуалист и, конечно, очень одинок. Между ним и всем экипажем нет ничего общего. Его необычайная физическая сила и сила его личности отторживают его от других. Он смотрит на них, как на детей — не делает исключения даже для охотников, — и обращается с ними, как с детьми, заставляя себя спуститься до их уровня и порой играя с ними, словно со щенками. Иногда же он исследует их суровой рукой вивисектора и копается в их душах, как бы желая понять, из какого теста они слеплены.

За столом я десятки раз наблюдал, как он, холодно и пристально глядя на кого-нибудь из охотников, принимался оскорблять его, а затем с таким любезным видом ждал от него ответа, вернее, вспышки бессильного гнева, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему, в чем тут дело, становилось смешно. Когда же он сам впадает в ярость, она кажется мне напускной. Я уверен, что это только манера держаться, сознательно усвоенная им по отношению к окружающим, и он просто пользуется ею для своих экспериментов. После смерти его помощника я, в сущности, ни разу больше не видел Ларсена по-настоящему разгневанным да, признаюсь, и не желал бы увидеть, как вырвется наружу вся его чудовищная сила.

Раз уж зашла речь о его прихотях, я расскажу о том, что случилось с Томасом Магриджем в кают-компании, а заодно покончу и с тем происшествием, о котором уже как-то упоминал.

Однажды после обеда я заканчивал уборку каюткомпании, как вдруг по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. Хотя ко-нура кока примыкала к каюткомпании, он никогда не смел задерживаться здесь и робкой тенью поспешно проскальзывал мимо двери раза в день.

— Так, значит, ты играешь в «наполеон»? — довольным тоном произнес Волк Ларсен. — Ну, разумеется, ты же англичанин. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Этот жалкий червяк, Томас Магридж, был на седьмом небе от того, что капитан разговаривает с ним по-приятельски, но все его ужаски и мучительные старания держаться с достоинством и разыгрывать из себя человека, рожденного для лучшей жизни, могли вызвать только омерзение и смех. Мое присутствие он совершенно игнорировал, впрочем, ему и на самом деле было не до меня. Его молчаливые, выцветшие глаза сияли, и у меня не хватало фантазии вообразить себе, какие блаженные видения носились перед его взором.

— Подай карты, Хэмпи, — приказал мне Волк Ларсен, когда они усадились за стол. — И принеси виски и ситары — достань из ящика у меня под койкой.

Когда я вернулся в кают-компанию, как уже туманно распространялся о какой-то тайне, связанной с его рождением, намекая, что он — сбывшийся с пути сын благородных родителей или что-то в этом роде и его удалили из

Англии и даже платят ему деньги за то, чтобы он не возвращался. «Хорошие деньги платят, — пояснил он, — лишь бы там моим духом не пахло».

Я принес было рюмки, но Волк Ларсен нахмурился, показав головой и жестом показал, чтобы я подал стаканы. Он наполнил их на две трети неразбавленным виски — «джентльменским напитком», как заметил Томас Магридж, — и, чокнувшись во славу великопленной игры «нап», они закурили ситары и принялись тасовать и сдавать карты.

Они играли на деньги, все время увеличивая ставки, и пили виски, а когда выпили все, капитан велел принести еще. Я не знаю, передергивал ли Волк Ларсен — он был вполне способен на это, — но, так или иначе, он неизменно выпитывал. Как снова и снова от-

правлялся к своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфаронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов зараз. Он осовел, стал фамильярен, плохо разбирая карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в каюту, он грязным указательным пальцем защитил Волка Ларсена за петлю куртки и тупо забубнил:

— У меня есть денежки, есть! Говорю вам: я сын джентльмена.

Волк Ларсен не пьянел, хотя пил стакан за стаканом; он наливал себе виски ничуть не меньше, чем коку, и все же я не замечал в нем ни малейшей перемены. Выходки Магриджа, по-видимому, даже не забывали его.

В конце концов, торжественно заявив, что и проигрывать он умеет, как джентльмен, кок поставил последние деньги и проиграл. После этого он заплакал, уронив голову на руки. Волк Ларсен с любопытством поглядел на него, словно собиравшись одним ударом скальпеля вскрыть и исследовать его душу, но, как видно, раздумал, сообразив, что здесь и исследовать его, собственно говоря, нечего.

— Хэмп, — с подчеркнутой вежливостью обратился он ко мне, — будьте добры, возьмите мистера Магриджа под руку и отведите на палубу. Он себя неважно чувствует. И скажите Джонсону, чтобы они там уостили его двумя-тремя ведрами морской воды, — добавил он, понизив голос.

Я оставил кока на палубе в руках нескольких ухмыляющихся матросов, которых Джонсон позвал на подмогу. Мистер Магридж сонно бормотал, что он «сын джентльмена». Спускаясь по трапу убирать в кают-компани со стола, я услышал, как он завопил от первого веша.

Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

— Ровно сто восемьдесят пять долларов, — произнес он вслух. —

Так я и думал. Бродяга явился на борт без гроша в кармане.

— И то, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр, — смеясь заявил я.

Он удостоил меня насмешливой улыбкой.

— Я ведь тоже изучал когда-то грамматику, Хэмп, и мне кажется, что вы путаете времена глагола. Вы должны были сказать «принadleжало».

— Это вопрос не грамматики, а этики, — возразил я.

— Знаете ли вы, Хэмп, — медленно и серьезно начал он с едва уловимой грустью в голосе, — что я первый раз в жизни слышу слово «этика» из чьих-то уст? Вы и я — единственные люди на этом корабле, знающие смысл этого слова.

— В моей жизни была пора, — продолжал он после новой паузы, — когда я мечтал беседовать с людьми, говорящими таким языком, мечтал, что когда-нибудь я поднимусь над той средой, из которой вышел, и буду общаться с людьми, умеющими рассуждать о таких вещах, как этика. И вот теперь я в первый раз услышал это слово. Но это все между прочим. А по существу вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а факта.

— Понимаю, — сказал я, — факт тот, что деньги у вас.

Его лицо просветлело. По-видимому, он остался доволен моей сообразительностью.

— Но вы обходите основной вопрос, — продолжал я, — который лежит в области права.

— Вот как! — отозвался он, презрительно скривив губы. — Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как «право» и «бесправие», «добро» и «зло».

— А вы не верите? Совсем?

— Ни на йоту. Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным — это добро, а быть слабым — зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно. Вот, например: владеть этими деньгами приятно. Владеть ими — добро. И потому, имея возможность владеть ими, я буду несправедлив к себе и к жизни по мне, если отдам их вам и откажусь от удовольствия обладать ими.

— Но вы причиняете мне зло, удерживая их у себя, — возразил я.

— Ничего подобного! Человек не может причинить другому зло. Он может причинить это только себе самому. Я убежден, что поступило душно всякий раз, когда соблюдаю чужие интересы. Как вы не понимаете? Могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании? Стремление пожирать и стремление не дать себя пожрать заложено в них природой. Нарушая этот закон, они впадают в грех.

— Так вы не верите в альтруизм? — спросил я.

Слово это, по-видимому, показалось ему знакомым, но заставило задуматься.

— Подумайте, это, кажется, что-то относительно содействия другу?

— Пожалуй, некоторая связь между этими понятиями существует, — ответил я, не удивляясь пробелу в его словаре, так как своими познаниями он был обязан только чтению и самообразованию. Никто не руководил его занятиями. Он много размышлял, но ему мало приходилось беседовать. — Альтруистическим поступком мы называем такой, который совершается для блага других. Это бескорыстный поступок в противоположность эгоистическому.

Он кивнул головой.

— Так, так! Теперь я припоминаю. Это слово попало мне у

Спенсера.

— У Спенсера? — воскликнул я. — Неужели вы читали его?

— Читал немного, — ответил он. — Я, кажется, неплохо разобрался в «Основных началах», но на «Основаниях биологии» мои паруса повисли, а на «Психологии» я и совсем попал в мертвый штиль. Сказать по правде, я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудомуно, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки. У меня не было соответствующего фундамента. Только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими книгами. Но из «Показателей этики» я кое-что извлек. Там-то я и встретился с этим самым «альтруизмом» и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано.

«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?» — подумал я. Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.

— Что же еще вы там почерпнули? — спросил я.

Он сдвинул брови, видимо, подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, по-

добно тому как он привык проникать в души других. Я исследовал действительную область. И странное — странное и пугающее — зрелище открывалось моему взору.

— Коротко говоря, — начал он, — Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так — нравственно и хорошо. Затем, он должен действовать на благо своих детей. И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.

— Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий, — вставил я, — будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве.

— Этого я не сказал бы, — отвечал он. — Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключительно человечество и детей. Ради них я ничем не поступился бы. Это все слонавые бредни — во всяком случае для того, кто не верит в загробную жизнь, — и вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но, не видя вперед ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелится и бродит дрожжи, именуемые жизнью, я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишала бы меня хотя мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закуску. Буду ли я приносить жертвы или стану заботиться только о себе в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле, — от этого ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее.

— В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист.

— Громкие слова! — улыбнулся он. — Но что такое «гедонист»? Выслушав мое определение, он одобительно кивнул головой.

— А кроме того, — продолжал я, — вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы.

— Вот теперь вы начинаете понимать меня, — обрадовано сказал

— Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?

— Совершенно.

— Человек, которого всегда надо бояться?

— Вот это правильно.

— Бояться, как бояться змеи, тигра или акулы?

— Теперь вы знаете меня, — сказал он. — Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют Волком.

— Вы — чудовище, — бесстрашно заявил я, — Калибан [5], который размышлял о Сетевосе [6] и поступал, подобно вам, под влиянием минутного каприза.

Он не понял этого сравнения и нахмурился; я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы.

— Я сейчас как раз читаю Браунинга [7], — признался Ларсен, — да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался.

Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему «Калибана» [8] вслух. Он был восхищен. Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставал замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня перечитать ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор — о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке, и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Фрасета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Фрасет, «прирожденного» идеалиста. Но Волк Ларсен шутовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и, когда Томас Матридж, злой и хмурый, как туча, затянул в каюткомпанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям.

Но Волк Ларсен крикнул Матриджу:

— Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому, Хэмп нужен мне. Обойдись без него.

И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Матридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была калибановская прихоть Волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Три дня, три блаженных дня, отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в уют-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Марридж рвал и метал, но исполнял за меня всю работу.

— Беретись шквала! Больше я тебе ничего не скажу, — предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсен улаживал в это время очередную ссору между охотниками. — Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться, — продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос. — Старик изменив, как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду.

Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор — о жизни, конечно; и, не в меру расхрибавшись, я начал осуждать самого Волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык продельывать это с другими. Признаться, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колом и хлестал Ларсена, пока он не раскричался. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули. В них уже не было ни проблеска сознания — ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного.

С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю.

Он держал меня за руку выше локтя, и, когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились, я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена.

Внезпно Ларсен пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напомнимым рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел, инкури ситару и стал наблюдать за мной, как кошка, стережущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них, — любопытство, удивление и вопрос: к чему все это?

Кое-как встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбуз. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку и только стиснул ее пальцами.

Что мне прозигло, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбуз и, в знак возобновления дружбы, осведомился, не болит ли у меня рука.

— Могло кончиться хуже! — усмехнулся он.

Я чистил картофель. Ларсен взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашка потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратился бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу.

Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Конечно мое получило наконец необходимый отдых, и опухоль заметно спадала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Марридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бранился на чем свет стоит и извлекал из меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком. Но я уже и сам озверел и отгрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Малопривлекательную, должно быть, картину

представлял я, Хэмфри Ван-Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодий стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-что я все же достиг — занесенный кулак не опустился на меня.

Томас Магридж попытлся. В глазах его светилась такая же ненависть и злоба, как и в моих. Мы были словно два зверя, запертые в одной клетке и злобно скалящие друг на друга зубы. Магридж был трус и боялся ударить меня потому, что я не слишком оробел перед ним. Тогда он придумал другой способ застрашить меня. В кухне был всего один более или менее исправный нож. От долгого употребления лезвие его стало узким и тонким. Этот нож имел необычайно зловещий вид, и первое время я всегда с содроганием брал его в руки. Кок взял у Йогансена оселок и принялся с подчеркнутым рвением точить этот нож, многозначительно поглядывая на меня. Он точил его весь день. Чуть у него выдавалась свободная минутка, он хватал нож и принимался точить его. Лезвие ножа приобрело остроту бритвы. Он пробовал его на пальце и ногтем. Он сбивал волоски у себя с руки, прищипывая глаз, глядя вдоль лезвия и снова и снова делал вид, что находит в нем какой-то изъян. И опять до-ставлял оселок и точил, точил... В конце концов меня начал раздражать смех — все это было слишком нелепо.

Но дело могло принять серьезный оборот. Кок и в самом деле готов был пустить этот нож в ход. Я понимал, что он, подобно мне, способен совершить отчаянный поступок, именно в силу своей трусости и вместе с тем вопреки ей. «Магридж точит нож на Хэмпа», — переговаривались между собой матросы, а некоторые стали поднимать кока на смех. Он сносил насмешки спокойно и только покачивал головой с таинственным и даже довольным видом, пока бывший юнга Джордж Линч не позволил себе какую-то грубую шутку на его счет.

Надо сказать, что Линч был в числе тех матросов, которые получили приказание окатить Магриджа водой после его игры в карты с капитаном. Очевидно, кок не забыл, с каким рвением исполнил Линч свою задачу. Когда Линч задел кока, тот ответил грубой бранью,

прошелся насчет предков матроса и пригрозил ему ножом, отточенным для расправы со мной. Линч не остался в долгу, и, прежде чем мы успели опомниться, его права рука окрасилась кровью от локтя до кисти. Кок откошил с сатанинским выражением лица, выставив перед собой нож для защиты. Но Линч отнесся к происшедшему невозмутимо, хотя из его расщепленной руки хлестала кровь.

— Я посчиталось с тобой, кок, — сказал он, — и крепко посчиталось. — Спешить не стану. Я разделалась с тобой, когда ты будешь без ножа.

С этими словами он повернулся и ушел. Линчо Магриджа помертвело от страха перед содеянным им и перед неминуемой мстью со стороны Линча. Но на меня он с этой минуты озлобился пуще прежнего. Несмотря на весь его страх перед грозившей ему расплатой, он понимал, что для меня это был наглядный урок, и совсем обнаглел. К тому же при виде пролитой им крови в нем проснулась жажда убийства, граничившая с безумием. Как ни сложны подобные психические переживания, все побуждения этого человека были для меня ясны, — я читал в его душе, как в раскрытой книге.

Шли дни. «Призрака» по-прежнему пенил воду, подгоняемый попутным пассатом, а я наблюдал, как безумие зреет в глазах Томаса Магриджа. Признаюсь, мной овладевал страх, отчаянный страх. Целыми днями кок все точил и точил свой нож. Пробуя пальцем лезвие ножа, он посматривал на меня, и глаза его сверкали, как у хищного зверя. Я боялся повернуться к нему спиной и, пятась, выходил из камбуза, что чрезвычайно забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся поглядеть на этот спектакль. Постоянное, невыносимое напряжение измучило меня; порой мне казалось, что раскулок мой мутится. Да и немудрено было сойти с ума на этом корабле, среди безумных и озверевших людей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь подвергалась опасности. Моя душа вечно была в смятении, но на всем суде не нашлось никого, кто выказал бы мне сочувствие и пришел бы на помощь. Порой я подумывал обратиться к заступничеству Волка Ларсена, но мысль о дьявольской усмешке и его глазах, выражавших презрение к жизни, останавливала меня. Временами меня посещала мысль о самоубийстве, и мне попадались вся сила моей оптимистической философии, чтобы как-нибудь темной ночью не прыгнуть за борт.

Волк Ларсен несколько раз пытался втиснуть меня в спор, но я отлеплялся лаконичными ответами и старался избежать его. Наконец он приказал мне снова занять место за столом в кают-компании и предоставить коку исполнить за меня мою работу. Тут я выказал ему все начистоту, рассказал, что пришлось мне вытерпеть от Томаса Магриджа в отместку за те три дня, когда я ходил в фаворитах.

Волк Ларсен посмотрел на меня с усмешкой.

— Так вы боитесь его? — спросил он.

— Да, — честно признался я, — мне страшно.

— Вот и все вы такие, — с досадой воскликнул он, — разводите всякие антимонии насчет ваших бессмертных душ, а сами боитесь умереть! При виде острого ножа в руках труса вы судорожно цепляетесь за жизнь, и весь этот вздор вылетает у вас из головы. Как же так, милейший, ведь вы будете жить вечно? Вы — бог, а бога нельзя убить. Кок не может причинить вам зла — вы же уверены, что вам предстоит воскреснуть. Чего же вы боитесь?

Ведь перед вами вечная жизнь. Вы же миллионер в смысле бессмертия, притом миллионер, которому не грозит потерять свое состояние, так как оно долговечнее звезд и безгранично, как пространство и время. Вы не можете растратить свой основной капитал. Бессмертие не имеет ни начала, ни конца. Вечность есть вечность, и, умирая здесь, вы будете жить и впрямь в другом месте. И как это прекрасно — освобождение от плоти и свободный взлет духа! Кок не может причинить вам зла. Он может только подтолкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно.

А если у вас нет пока охоты отправиться на небеса, почему бы вам не отправить туда кока? Согласно вашим воззрениям, он тоже миллионер бессмертия. Вы не можете довести его до банкротства. Его акции всегда будут котироваться аль-пари. Убив его, вы не сократите срока его жизни, так как эта жизнь не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек должен жить вечно. Так отправьте его на небо! Пырните его ножом и выпустите его дух на свободу. Этот дух томится в отвратительной тюрьме, и вы только окажете ему любезность, взломав ее двери. И, кто знает, быть может, прекраснейший дух воспарит в лазурь из этой уродливой оболочки. Так всадите в кока нож, и я назначу вас на его место, а ведь он получает сорок пять долларов в месяц!

Нет! От Волка Ларсена не приходилось ждать ни помощи, ни сочувствия! Я мог надеяться только на себя, и отвага отчаяния подсказала мне план действий: я решил бороться с Томасом Магриджем его же оружием и занял у Йогансена топило.

Луис, рулевой одной из шлюпок, как-то просил меня достать ему ступенчатого молока и сахару. Кладовая, где хранились эти деликатесы, была расположена под полом кают-компании. Улучив минуту, я стаял пять банок молока и ночью, когда Луис стоял на вахте, выменял у него на это молоко тесак, такой же длинный и страшный, как кухонный нож Томаса Магриджа. Тесак был заржавленный и тупой, но мы с Луисом привели его в порядок: я вертел топило, а Луис правил лезвие. В эту ночь я спал крепче и спокойнее, чем обычно.

Утром, после завтрака, Томас Магридж опять принялся за свое: чирк, чирк, чирк. Я с опаской глянул на него, так как стоял в это время на коленях, вытрябая из плиты золу. Выбросив ее за борт, я нерулся в камбуз; кок разговаривал с Гаррисоном, — открытое, протодушное лицо матроса выражало изумление.

— Да! — рассказывал Магридж. — И что же сделал судья? Засадил меня на два года в Рэдингскую тюрьму. А мне было наплевать, я зато хорошо разукрасил рожу этому подлецу. Посмотрел бы ты на него! Нож был вот такой самый. Вошел, как в масло. А тот как взвост! Эй-богу, лучше всякого представления! — Кок бросил взгляд в мою сторону, желая убедиться, что я все это слышал, и продолжал: — «Я не хотел тебя обидеть, Томми, — захныкал он, — убей меня бог, если я вру!» — «Я тебя еще мало проучил», — сказал я и кинулся на него. Я исполосовал ему всю рожу, а он только визжал, как свинья. Раз ухватился рукой за нож — хотел ответить его, а я как дерну — и разрезал ему пальцы до кости. Ну и виду у него был, доложу я тебе!

Голос помощника преврал этот кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на корму, а Магридж уселся на высоком пороте камбуза и снова принялся точить свой нож. Я бросил совок и спокойно расположился на уютном ящике лицом к моему врагу. Он злобно покосился на меня. Сохраняя внешнее спокойствие, хотя сердце отчаянно колотилось у меня в груди, я вытаскил тесак Луиса и принялся точить его о камень. Я ожидал какой-нибудь бешеной выходки со стороны кока, но, к моему удивлению, он будто и не замечал, что Я делаю. Он точил свой нож, я — свой. Часа два сидели мы так, лицом

к лицу, и точили, точили, пока слух об этом не облетел всю шхуну и добрая половина экипажа не столпилась у дверей камбуза полюбоваться таким невиданным зрелищем.

Со всех сторон стали раздаваться подбадривающие возгласы и советы. Даже Джок Хорнер, спокойный и молчаливый охотник, с виду неспособный обидеть и муху, советовал мне прыгнуть кока не под ребра, а в живот и применить при этом так называемый «испанский поворот». Лич, выставив напоказ свою перевязанную руку, просил меня оставить ему хоть кусочек кока для расправы, а Волк Ларсен два раза останавливался на краю полуюта и с любопытством поглядывал на то, что он называл брожением жизненной заправки.

Не скрою, что в это время жизнь имела весьма сомнительную ценность в моих глазах. Да, в ней не было ничего привлекательного, ничего божественного — просто два трусливых двуногих существа сидели друг против друга и точили сталь о камень, а кучка других более или менее трусливых существ толпилась кругом и глазела. Я уверен, что половина зрителей с нетерпением ждала, когда мы начнем полосовать друг друга. Это было бы неплохой потехой. И я думаю, что ни один из них не бросился бы нас разнимать, если бы мы схватились не на жизнь, а на смерть.

С другой стороны, во всем этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк! Хэмфри Ван-Вейден точит тесак в камбузе и пробует большим пальцем его острей, — можно ли выдумать что-нибудь более невероятное! Никто из знавших меня никогда бы этому не поверил. Ведь меня всю жизнь называли «неженка Ван-Вейден», и то, что «неженка Ван-Вейден» оказался способен на такие вещи, было откровением для Хэмфри Ван-Вейдена, который не знал, радоваться ему или стыдиться.

Однако дело кончилось ничем. Часа через два Томас Магридж отложил в сторону нож и точило и потянул мне руку.

— К чему нам потешать этих скотов? — сказал он. — Они будут только рады, если мы переждем друг друга плотки. Ты не такая уж дряннь, Хэмп! В тебе есть огонек, как говорите вы, янки. Ей-ей, ты не плохой парень. Ну, иди сюда, давай руку!

Каким бы я ни был трусом, он в этом отношении перещеголял меня. Это была явная победа, и я не хотел умалять ее, пожав его мерзкую лапу.

— Ну ладно, — необходимо заметил кок, — не хочешь, не надо. Все равно, ты славный парень! — И, чтобы скрыть смущение, он яростно накнулся на зрителей: — Вон отсюда, пошли вон!

Чтобы приказ возымел лучшее действие, кок схватил кастрюлю кипятку, и матросы поспешно отступили. Таким образом Томас Магридж одержал победу, которая смягчила ему тяжесть нанесенного мною поражения Впрочем, он был достаточно осторожен, чтобы, прогнав матросов, не тронуть охотников.

— Ну, коку пришел конец, — поделился Смок своими соображениями с Хорнером.

— Верно, — ответил тот. — Теперь Хэмп — хозяин в камбузе, а коку придется поджать хвост.

Магридж услышал это и метнул на меня быстрый взгляд, но я и ухом не повел, будто разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу окончательной и полной, но решил не уступать ничто из своих завоеваний. Впрочем, пророчество Смока сбылось. Кок с той поры стал держаться со мной даже более заискивающе и подобоострастно, чем с самим Волком Ларсеном. А я больше не величал его ни «мистером», ни «сэрмом», не мыл грязных кастроль и не чистил картошки. Я исполнил свою работу, и только. И делал ее, как сам находил нужным. Тесак я носил в ножнах у бедра, на манер кортика, а в обращении с Томасом Магриджем придерживался властного, грубого и презрительного тона.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Моя близость с Волком Ларсеном возрастает, если только слово «близость» применимо к отношениям между господином и слугой или, еще лучше, между королем и шутом. Я для него не более как забава, и ценит он меня не больше, чем ребенок игрушку. Моя обязанность — развлекать его, и пока ему весело, все идет хорошо. Но стоит только ему соскучиться в моем обществе или впасть в мрачное настроение, как я митом оказываюсь изгнанным из кают-компании в камбуз, и хорошо еще, что мне удастся пока уходить целым и невредимым.

Я начинаю понимать, насколько он одинок. На всей шхуне нет человека, который не боялся бы его и не испытывал бы к нему ненависти. И точно так же нет ни одного, которого бы он, в свою очередь, не презирал. Его словно пожирает заклоченная в нем неукротимая сила, не находящая себе применения. Таким был бы Люцифер, если бы этот гордый дух был изгнан в мир бездушных призраков, подобных Томлинсону.

Такое одиночество тягостно само по себе, у Ларсена же оно углубляется исконной меланхоличностью его расы. Узнав его, я начал лучше понимать древние скандинавские мифы. Белоплuche, светловолосые дикари, создавшие этот ужасный мир богов, были сотканы из той же ткани, что и этот человек. В нем нет ни капли легкомыслия представителей латинской расы. Его смех — порождение свирепого юмора. Но смеется он редко. Чаще он печален. И печаль эта уходит корнями к истокам его расы. Она досталась ему в наследство от предков. Эта задумчивая меланхолия выработала в его народе трезвый ум, привычку к опрятной жизни и фанатическую нравственность, которая у англичан нашла впоследствии свое завершение в пуританизме и в миссис Грэнди [9].

Но, в сущности, главный выход эта меланхолия находила в религии, в ее наиболее изверских формах. Однако Волку Ларсену не дано и этого утешения. Оно несовместимо с его грубым мате-

риализмом. Поэтому, когда черная тоска одолевает его, она находит выход только в диких выходах. Будь этот человек не так ужасен, я мог бы порой проникнуться жалостью к нему. Так, например, три дня назад я зашел налить ему воды в графин и застал его в каюте. Он не видел меня. Он сидел, обхватив голову руками, и плечи его судорожно вздрагивали от сдержанных рыданий. Казалось, какое-то острое горе терзает его. Я тихонько вышел, но успел услышать, как он простонал: «Господи, господи!» Он, конечно, не призывал бога, — это восклицание вырвалось у него бессознательно.

За обедом он спрашивал охотников, нет ли у них чего-нибудь от головной боли, а вечером этот сильный человек, с помутившимся взором, метался из угла в угол по кают-компании.

— Я никогда не хворал, Хэмп, — сказал он мне, когда я отвел его в каюту. — Даже головной боли прежде не испытывал, раз только, когда мне раскроили череп вымбовкой и рана начала заживать.

Три дня мучили его эти нестерпимые головные боли, и он страдал безропотно и одиноко, как страдают дикие звери и как, по-видимому, принято страдать на корабле.

Но, войдя сегодня утром в его каюту, чтобы прибрать ее, я застал его здоровым и потруженным в работу. Стол и койка были завалены расчетами и чертежами. С циркулем и угольником в руках он наклонился над большой лист калыки какой-то чертеж.

— А, Хэмп! — приветствовал он меня. — Я как раз заканчиваю эту штуку. Хотите посмотреть, как получается?

— А что это такое?

— Это приспособление, собирающее морякам труд и упрощающее кораблевождение до детской игры, — весело отвечал он. — Отныне и ребенок сможет вести корабль. Долгой бесконечные вычисления! Даже в туманную ночь достаточно одной звезды в небе, чтобы сразу определить, где вы находитесь. Вот поглядите! Я накладываю эту штуку на карту звездного неба и, совместив полюса, вращаю ее вокруг Северного полюса. На калыке обозначены круги высот и линии пеленгов. Я устанавливаю калыку по звезде и поворачиваю ее, пока она не окажется против цифр, нанесенных на краю карты. И готово! Вот вам точное место корабля!

В его голосе звучало торжество, глаза — голубые в это утро, как море, — искрились.

— Вы, должно быть, сильны в математике, — заметил я. — Где вы учились?

— К сожалению, нигде, — ответил он. — Мне до всего пришлось доходить самому.

— А как вы думаете, для чего я избрал это? — неожиданно спросил он. — Хотел оставить «след свой на песке времени»? — Он насмешливо расхохотался. — Ничего подобного! Просто хочу взять патент, получить за него деньги и предаваться всякому свинству, пока другие трудятся. Вот моя цель. Кроме того, сама работа над этой штукой доставляла мне радость.

— Радость творчества, — вставил я.

— Вероятно, так это называется. Еще один из способов проявления радости жизни, торжества движения над материей, живого над мертвым, гордость закаски, чувствующей, что она бродит.

Я всплеснул руками, беспомощно протестуя против его закоренелого материализма, и принялся застигать койку. Он продолжал наносить линии и цифры на чертеж. Это требовало чрезвычайной осторожности и точности, и я поражаюсь, как ему удается умерить свою силу при исполнении столь тонкой работы.

Кончив заправлять койку, я невольно засмотрелся на него. Он был, несомненно, красив, — настоящей мужской красотой. Снова я с удивлением отметил, что в его лице нет ничего злобного или порочного. Можно было поклясться, что человек этот не способен на зло. Но я боюсь быть превратно понятым. Я хочу сказать только, что это было лицо человека, никогда не идущего вразрез со своей совестью, или же человека, вовсе лишнего совести. И я склоняюсь к последнему предположению. Это был великодушный образчик атаканма — человек настолько примитивный, что в нем как бы воскрес его первобытный предок, живший на земле задолго до развития нравственного начала в людях. Он не был аморален, — к нему было просто неприменимо понятие морали.

Как я уже сказал, его лицо отличалось мужественной красотой. Оно было гладко выбрито, и каждая черта выделялась четко, как у камня. От солнца и соленой морской воды кожа его потемнела и стала бронзовой, и это придавало его красоте дикий вид, напоминающая о долгой и упорной борьбе со стихиями. Полные губы были очерчены твердо и даже резко, что характерно скорее для тонких

губ. В таких же твердых и резких линиях подбородка, носа и скулы чувствовалась свирепая неукротимость самца. Нос напоминал орлиный клюв, — в нем было что-то хищное и властное. Его нельзя было назвать греческим — для этого он был слишком массивен, а для римского — слишком тонок. Все лицо в целом производило впечатление свирепости и силы, но тень извечной меланхолии, лежавшая на нем, углубляла складки вокруг рта и морщины на лбу и придавала ему какое-то величие и законченность.

Итак, я поймал себя на том, что стоял и празднично изучал Ларсена. Трудно передать, как глубоко интересовал меня этот человек. Кто он? Что он за существо? Как сложился этот характер? Почему же остальным были заложены неисчерпаемые возможности. Почему же оставался он безвестным капитаном какой-то зверобойной шхуны, пропавшим среди охотников только своей необычайной жестокостью?

Мое любопытство прорвалось наружу целым потоком слов.

— Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, на любую высоту. Лишенный совести и нравственных устоев, вы могли бы положить себе под ноги мир. А я вижу вас здесь, в расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное и отвратительное существование, охотитесь на морских животных, которые нужны только для удовлетворения тщеславия женщин, потративших в свинстве, по вашему же собственным словам. Вы ведете жизнь, в которой нет абсолютно ничего высокого. Почему же при всей вашей удивительной силе вы ничего не совершили? Ничто не могло остановить вас или помешать вам. В чем же дело? У вас не было честолюбия? Или вы пали жертвой какого-то соблазна? В чем дело? В чем дело?

Когда я заговорил, он поднял на меня глаза и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помогав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал:

— Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на ниву? Ну-ка, помните: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока. Когда же возшло солнце, его обожгло, и, не имея корня, оно засохло; иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его».

— Ну, и что же? — сказал я.

— Что же? — насмешливо переспросил он. — Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян.

Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня:

— Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ромсдаль-фьорд. Я родился в ста милях оттуда. Но я не норвежец. Я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом. Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей из поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего сказать.

— Нет, не все, — возразил я. — Ваша история все еще темна для меня.

— Что же еще я могу рассказать вам? — сказал он мрачно и со злобой. — О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы? О том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались? О том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгом плавал на старых каботажных судах? О грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова, а страх, ненависть и боль — единственное, что питает душу? Я не любил вспоминать об этом! Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкиперы поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгом, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой; он никогда уже больше не сможет ходить.

— Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать?

— На английских торговых судах. В двенадцать лет я был кают-

юнгой, в четырнадцать — юнгой, в шестнадцать — матросом, в семнадцать — старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество, никакой помощи, никакого сочувствия, — я до всего дошел сам: сам учился навигации и математике, естественным наукам и литературе. А к чему все это? Чтобы в расцвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинается понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало — меня обожгло, и я засох, так как рос без корней.

— Но история знает рабов, достигших порфиры, — заметил я.

— История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению, — мрачно возразил он. — Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с Корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятной возможности, но она мне так и не представилась. Терние выросло и задушило меня. Могу вам сказать, Хэмп, что ни одна душа на свете, кроме моего брата, не знает обо мне того, что знаете теперь вы.

— А где ваш брат? Что он делает?

— Он хозяин промыслового парохода «Македония» и охотится на китов. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.

— Смерть Ларсен? — невольно вырвалось у меня. — Он похож на нас?

— Не очень. Он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много...

— Зверского? — подсказал я.

— Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.

— И никогда не философствует о жизни? — добавил я.

— О нет, — ответил Волк Ларсен с горечью. — И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.

ГЛАВА ОДИННАЦАТАЯ

«Призрак» достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны застаться пресной водой, прежде чем направиться бить котиков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков, а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывают уключины плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам, — вообще «наводят глянец», по выражению Лича.

Рука у Лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, остается на всю жизнь. Томас Матридж боится этого парня до смерти и, как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры. Луис говорит, что кто-то наущивает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостылилось. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, недобровать. Джонсон говорит все слишком уж напрямик, и раза два у него уже были столкновения с Волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколоть Волка Ларсена.

Успышал я от Луиса кое-что и о другом Ларсене, прозванном Смерть. Рассказ Луиса вполне совпадает с краткой характеристикой, данной капитаном своему брату. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. «Ждите шквала, — предупрекает Луис, — они ненавидят друг друга, как настоящие волки».

Смерть Ларсен командует «Македонией», единственным пароллодом во всей промысловой флотилии; на пароходе четьрынадцать шлюпок, тогда как на шхунах их бывает всего шесть. Потовааривают даже о пушках на борту и о странных экспедициях этого судна, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и

оружия в Китай и кончая торговлей рабами и открытым пиратством. И не могу не верить Луису, он как будто не любит привирать, и к тому же этот малый — ходячая Энциклопедия по части котикового промысла и всех, кто этим занимается.

Такие же стычки, как в матросском кубрике и в камбузе, происходят и в кубрике охотников этого поистине дьявольского корабля. Там тоже драки и все готовы перетрыть друг другу плотку. Охотники ежеминутно ждут, что Смок и Гендерсон, которые до сих пор не уладили своей старой ссоры, сцепятся снова, а Волк Ларсен заявил, что убьет того, кто выйдет живым из этой схватки. Он не скрывает, что им руководят отнюдь не моральные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестреляли друг друга, но они нужны ему для дела, и поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драк до конца промысла: они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт и потом придумать для этого какие угодно изъяснения. Мне кажется, что даже охотники изумлены его хладнокровной жестокостью. Несмотря на всю свою свирепость, они все-таки боятся его.

Томас Матридж пресмыкается передо мной, как собачонка, а я, в глубине души, побаиваюсь его. Ему свойственно мужество страха — как это бывает, я хорошо знаю по себе, — и в любую минуту оно может взять в нем верх и заставить его покуситься на мою жизнь. Состояние моего колена заметно улучшилось, хотя временами нога сильно ноет. Онемение в руке, которую сдавил мне Волк Ларсен, по-прежнему проходит тоже. Вообще же я окреп. Мускулы увеличились и стали тверже. Вот только руки являют самое жалкое зрелище. У них такой вид, словно их опшарили кипятком, а ногти все полонаны и черны от грязи, на пальцах — заусеницы, на ладонях — мозоли. Кроме того, у меня появились фурункулы, что я приписываю корабельной пище, так как никогда раньше этим не страдал.

На днях Волк Ларсен позабавил меня: я застал его вечером за чтением Библии, которая после бесплодных поисков, уже описанных мною в начале плавания, отыскалась в сундуке покойного помощника. Я недоумевал, что Волк Ларсен может в ней для себя найти, и он прочел мне велух из Экклезиаста. При этом мне казалось, что он не читает, а высказывает собственные мысли, и голос его, гулко и мрачно раздававшийся в каюте, зачаровывал меня и держал

в оцепенении. Хотя он и необразован, а читает хорошо. Я как сейчас слышу его меланхолический голос: «Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певниц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребыла со мною...

И отпавшись я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делаю их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!...

Всему и всем — одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и бошащемуся клятвами.

Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.

И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезла, и нет им более доли вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

— Так-то, Хэмп, — сказал он, заложив пальцем книгу и взглянув на меня. — Мудрец, который царил над народом Израиля в Иерусалиме, мыслил так же, как я. Вы называете меня пессимистом. Разве это не самый черный пессимизм? «Все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!», «Всему и всем — одно» — глупому и умному, чистому и нечистому, грешнику и святому. Эта участь — смерть, и она зло, по его словам. Этот мудрец любил жизнь и, видно, не хотел умирать, если говорил: «... так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Он предпочитал суету сует тишине и неподвижности могилы. Так же и я. Ползать по земле — это свинство. Но не ползать, быть неподвижным, как прах или камень, — об этом гнушно и подумывать. Это противоречит жизни во мне, сама сущность которой есть движение, сила движения, сознание силы движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но еще меньше может удовлетворить нас мысль о предстоящей смерти.

— Вам еще хуже, чем Омару Хайаму, — заметил я. — Он по крайней мере после обычных сомнений юности нашел какое-то удовлетворение и сделал свой материализм источником радости.

— Кто это — Омар Хайам? — спросил Волк Ларсен, и ни в этот день, ни в следующие я уже не работал.

В своем беспорядочном чтении Ларсену не довелось напасть на «Рубайят», и теперь это было для него драгоценной находкой. Большую часть стихов я знал на память и без труда припомнил остальные. Часами обсуждали мы отдельные четверостишия, и он услаивал в них проявления скорбного и мятельного духа, у который сам я совершенно не мог уловить. Возможно, что я вносил в мою лексикацию несвойственную этим стихам жизнерадостность, а он, обладая прекрасной памятью и запомнив многие строфы при первом же чтении, вкладывал в них страстность и тревогу, убеждавшие слушателя.

Меня интересовало, какое четверостишие понравится ему больше других, и я не был удивлен, когда он остановил свой выбор на том, где отразилось случайное раздражение поэта, шедшее вразрез с его спокойной философией и благодушным взглядом на жизнь:

Влетел вопрос: «Зачем на свете ты?»

За ним другой: «К чему твои мечты?»

О, дайте мне запретного вина —

Забывать назойливость их суеты!

— Замечательно! — воскликнул Волк Ларсен. — Замечательно! Этим сказано все. Назойливость! Он не мог употребить лучшего слова.

Напрасно я отрицал и протестовал. Он подавил меня своими аргументами.

— Жизнь, по своей природе, не может быть иной. Жизнь, предвидя свой конец, всегда восстает. Она не может иначе. Библейский мудрец нашел, что жизнь и дела житейские — суета сует, сплошное зло. Но смерть, прекращение суеты, он находил еще большим злом. От стиха к стиху он скорбит, оплакивает участь, которая одинаково ожидает всех. Так же смотрит на это и Омар Хайам, и я, и вы, даже мы — ведь возмущались же вы против смерти, когда как начал точить на нас нож. Вы боялись умереть. Жизнь внутри вас, которая составляет вас и которая больше вас, не желала умирать. Вы толковали мне об инстинкте бессмертия. А я говорю об инстинкте жизни, которая хочет

жить, и, когда ей грозит смерть, инстинкт жизни побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Он победил и в вас — вы не станете этого отрицать, — победил, когда какой-то сумасшедший кок стал точить на вас нож. Вы и теперь боитесь кока. И этого вы тоже не станете отрицать. Если я схвачу вас за горло, вот так, — рука его внезапно сжала мне горло, и дыхание мое прервалось, — и начну выжимать из вас жизнь, вот так, вот так! — то ваш инстинкт бессмертия съезжится, а инстинкт жизни вспыхнет и вы будете бороться, чтобы спастись. Ну что! Я читаю страх смерти в ваших глазах. Вы бьете руками по воздуху. В борьбе за жизнь вы напрягаете все ваши жалкие силки. Вы вцепились в мою руку, а для меня это то же самое, как если бы на нее села бабочка. Ваша грудь судорожно вздымается, язык выскочил наружу, лицо побарывало, глаза мутнеют... «Жить! Жить! Жить!» — вопите вы. И вы хотите жить здесь и сейчас» а не потом. Теперь вы уже сомневаетесь в своем бессмертии? Вот как! Вы уже не уверены в нем. Вы не хотите рисковать. Только эта жизнь, в которой вы уверены, реальна. А в плазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прерывание бытия, ощущений, дыхания. Он ступает вокруг, надымается на вас, стеной вырастает кругом. Ваши глаза остановились, они остекленели. Мой голос доносится к вам слабо, будто издали. Вы не видите моего лица. И все-таки вы барахтаетесь в моей руке. Вы брыкаетесь. Извиваетесь ужом. Ваша грудь содрогается, вы задыхаетесь. Жить! Жить! Жить!..

Больше я ничего не слышал. Сознание вытеснил мрак, который он так живо описал. Очнулся я на полу. Ларсен курил сигару, задумчиво глядя на меня, с уже знакомым мне отоньком любопытства в глазах.

— Ну что, убедил я вас? — спросил он. — Нате, выпейте вот это. Я хочу спросить вас кое о чем.

Я отрицательно помотал головой, не поднимая ее с пола.

— Ваши доводы слишком... сильны, — с трудом пробормотал я, так как мне было больно говорить.

— Через полчаса все пройдет, — успокоил он меня. — Обещаю в дальнейшем воздерживаться от практических экспериментов. Теперь вставайте. Садитесь на стул.

И так как я был игрушкой в руках этого чудовища, беседа об Омаре Хайаме и Экклезиасте возобновилась, и мы засиделись до глубокой ночи.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Целые сутки на шхуне царилла какая-то вакханалия зверства, она вспыхнула сразу от кают-компаний до бака, словно эпидемия. Не знаю, с чего и начать. Истинным виновником всего был Волк Ларсен. Отношения между людьми, напряженные, насыщенные ираждой, перемежавшиеся непрестанными стычками и ссорами, находились в состоянии неустойчивого равновесия, и злые страсти запылали пламенем, как трава в прериях.

Томас Магридж — пронира, шпион, доносчик. Он пытался снова интереса в милость к капитану, наущивая на матросов. Я уверен, что это он передал капитану неосторожные слова Джонсона. Тот изыл в корабельной лавке клеветную робу. Роба оказалась никуда не годной, и Джонсон не скрывал своего неудовольствия. Корабельные лавки существуют на всех промысловых шхунах — в них матросы могут купить то, что им необходимо в плавании. Стоимость всего в лавке вычитается впоследствии из заработка на промыслах, так как гробцы и рулевые, наравне с охотниками, получают вместо жалованья известную долю доходов — по числу шкур, добытых той или иной шлопкой.

Я не слышал, как Джонсон ворчал по поводу своей неудачной покупки, и все последующее явилось для меня полной неожиданностью. Я только что кончил подметать пол в кают-компаний и был повлечен Волком Ларсеном в разговор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг по трапу спустился Йогансен в сопровождении Джонсона. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и скромно остановился посреди каюты, покачиваясь в такт качке судна и глядя капитану в лицо.

— Закрой дверь на задвижку, — сказал мне Волк Ларсен.

Исполняя приказание, я заметил выражение тревоги в глазах Джонсона, но не понял, в чем дело. Мне и в голову ничего не приходило, пока все это не разыгралось у меня на глазах. Джонсон же, по-видимому, знал, что ему предстоит, и покорно ждал своей уча-

сти. В том, как он держался, я вижу полное опровержение грубого материализма Волка Ларсена. Матроса Джонсона одушевила идея, принцип, убежденность в своей правоте. Он был прав, он знал, что прав, и не боялся. Он готов был умереть за истину, но остался бы верен себе и ни на минуту не дрогнул. Здесь воплотились победа духа над плотью, неустранимость и моральное величие души, которая не знает прегрэд и в своем бессмертии уверенно и непобедимо возвышается над временем, пространством и материей.

Однако вернемся к рассказу. Я заметил тревогу в глазах Джонсона, но принял ее за врожденную робость и смущение. Помощник Иогансен стоял сбоку в нескольких шагах от матроса, а прямо перед Джонсоном, являясь в трех, восседал на вращающемся каютном стуле сам Волк Ларсен. Когда я запер дверь, наступило молчание, длившееся целую минуту. Его нарушил Волк Ларсен.

— Ионсон, — начал он.

— Меня зовут Джонсон, сэр, — смело поправил матрос.

— Ладно. Пусть будет Джонсон, черт побери! Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

— И да и нет, сэр, — последовал неторопливый ответ. — Свою работу я исполнил исправно. Помощник знает это, да и вы знаете, сэр. Тут не может быть жалоб.

— И это все? — спросил Волк Ларсен нетерпеливо и вкрадчиво.

— Я знаю, что вы имеете что-то против меня, — с той же тяжелой-весной медлительностью продолжал Джонсон. — Я вам не по душе. Вы... вы...

— Ну, дальше, — подстегнул его Ларсен. — Не бойся задеть мои чувства.

— Я и не боюсь, — возразил матрос, и краска досады проступила сквозь загар на его щеках. — Я покинул родину не так давно, как вы, потому и говорю медленно. А вам я не по душе, потому что уважаю себя. Вот в чем дело, сэр!

— Ты хочешь сказать, что слишком уважаешь себя, чтобы уважать судовую дисциплину, так, что ли? Тебе понятно, что я говорю?

— Я ведь тоже говорю по-английски и понимаю ваши слова, сэр, — ответил Джонсон, краснея еще гуще при этом намеке на плохое знание им языка.

— Джонсон, — продолжал Волк Ларсен, считая, повидимому, предисловие оконченным и переходя к делу, — я слышал, ты взял робу и, кажется, не совсем ею доволен?

— Да, недоволен. Плохая роба, сэр.

— И ты все время кричишь об этом?

— Я говорю то, что думаю, сэр, — храбро возразил матрос, не забывав вместе с тем прибавлять, как положено, «сэр» после каждой фразы.

В этот миг я случайно взглянул на Иогансена. Он то сжимал, то разжимал свои огромные кулачки и с дьявольской злобой поглядывал на Джонсона. Я заметил синяк у него под глазом — это Джонсон разукрасил его на днях. И только тут предчувствие чего-то ужасного закралось мне в душу, но что это будет — я не мог себе вообразить.

— Ты знаешь, что ждет того, кто говорит такие вещи про мою лавку и про меня? — спросил Волк Ларсен.

— Знаю, сэр, — последовал ответ.

— А что именно? — Вопрос прозвучал резко и повелительно.

— Да то, что вы и помощник собираетесь сделать со мной, сэр.

— Потягивай на него, Хэмп, — обратился Волк Ларсен ко мне. — Потягивай на эту частицу живого праха, на это скопление материи, которое движется, и дышит, и осмеливается оскорблять меня, и даже искренне уверено, что оно представляет собой какую-то ценность. Руководствуясь ложными понятиями права и чести, оно готово отстаивать их, невзирая на прозябание ему неприятности. Что ты думаешь о нем, Хэмп? Что ты думаешь о нем?

— Я думаю, что он лучше вас, — ответил я, охваченный бессознательным желанием хоть отчасти отвлечь на себя гнев, готовый обрушиться на голову Джонсона. — Его «ложные понятия», как вы их называете, говорят о его благородстве и мужестве. У вас же нет ни морали, ни иллюзий, ни идеалов. Вы нищий!

Он кивнул головой со свирепым удовольствием.

— Совершенно верно, Хэмп, совершенно верно! У меня нет иллюзий, свидетельствующих о благородстве и мужестве. Живая собака лучше мертвого льва, — говорю я вместе с Эксплезастом. Моя единственная доктрина — это целесообразность. Она помогает выжить. Когда эта частица жизненной заправки, которую мы называем

«Джонсон», перестанет быть частицей заката и обратиться в прах и тлен, в ней будет не больше благополучия, чем во всяком прахе и тлене, а я по-прежнему буду жить и бушевать.

Он помогнул и спросил:

— Ты знаешь, что я сейчас сделаю?

Я покачал головой.

— Я использую свою возможность бушевать и покажу тебе, что происходит с благополучием. Смотри!

Он находился в трех ярдах от Джонсона, то есть в девяти футах! И он сидел; и одним гигантским прыжком; даже не вставая на ноги, покрыл это расстояние. Он прыгнул, как тигр, и Джонсон, прикрывая одной рукой живот, а другой — голову, напрасно пытался защититься от обрушившейся на него лавины ярости. Волк Ларсен свой первый сокрушительный удар направил прямо в грудь матросу. Дыхание Джонсона внезапно преклось, и изо рта у него вырвался хриплый звук, словно он с силой взмахнул топором. Он зашатался и чуть не опрокинулся наземь.

Не могу передать подробности последовавшей затем гнусной сцены. Это было нечто чудовищное; даже сейчас меня начинает мучить, стоит мне вспомнить об этом. Джонсон мужественно защищался, но где же ему было устоять против Волка Ларсена, а тем более против Волка Ларсена и помощника! Зрелище этой борьбы было ужасно. Я не представлял себе, что человеческое существо может столько вытерпеть и все же продолжать жить и бороться. А Джонсон боролся. У него не было ни малейшей надежды справиться с ними, и он знал это не хуже меня, но он был человек мужественный и не мог сдаться без борьбы.

Я не в состоянии был смотреть на это. Я чувствовал, что схожу с ума, и бросился к трапу, чтобы убежать на палубу. Но Волк Ларсен, оставив на миг свою жертву, одним могучим прыжком догнал меня и отшвырнул в противоположный угол каюты.

— Это одно из проявлений жизни, — с усмешкой бросил он мне. — Оставайся и наблюдай. Вот тебе случай собрать данные о бессмертии души. Кроме того, ты ведь знаешь, что душе Джонсона мы не можем причинить вреда. Мы можем разрушить только ее бренную оболочку.

Мне казалось, что прошли века, хотя на самом деле избивание продолжалось не дольше десяти минут. Волк Ларсен и помощник смертным боем избивали беднягу. Они молотили его кулаками и пинали своими тяжелыми башмаками, сшибали с ног и поднимали, чтобы повалить снова. Джонсон уже ничего не видел, кровь хлестала у него из ушей, из носа и изо рта, превращая кабину в лавку мисиника. Когда он уже не мог подняться, они продолжали избивать лежачего.

— Лечте, Йогансен, малый ход! — произнес наконец Волк Ларсен. Но в помощнике проснулся зверь, и он не хотел отпустить своей добычи. Волку Ларсену пришлось оттолкнуть его локтем. От этого, казалось бы, легкого толчка Йогансен отлетел в сторону, как пробка, и голова его с треском ударилась о переборку. Оглушенный, он свалился на пол, тяжело дыша и очумело моргая глазами.

— Отвори дверь, Хэмп! — услышал я приказ.

Я повиновался, и эти звери подняли бесчувственное тело и, словно мешок с тряпьем, поволокли его по узкому трапу на палубу. У штурвала стоял Луис, товарищ Джонсона по шлюпке, и кровью лной струей брызнула ему на сапоги. Но Луис невозмутимо вертел штурвал, не отрывая глаз от компаса.

Совсем иначе повел себя бывший юнга Джордж Линч. Вся шхуна от бака до юта была изумлена его поведением. Он самовольно отправился на корму и перетаскил Джонсона на бак, где принялся, как умел, перевязывать его раны и хлопотать около него. Джонсон был изуродован до неузнаваемости. За несколько минут лицо его так посинело и распухло, что потеряло всякий человеческий облик.

Но я хотел рассказать о Линче К тому времени, как я закончил уборку каюты. Линч уже сделал для Джонсона все, что мог. Я подлился на палубу, чтобы подышать свежим воздухом и хоть немного успокоиться. Волк Ларсен курил сигару и осматривал механический дат, который обычно был опущен за кормой, а теперь для какой-то цели поднял на борт. Вдруг до меня долетел голос Линча — хриплый, дрожащий от сдерживаемой ярости. Я повернулся и увидел, что Линч стоит на палубе перед самым ютом. Лицо его было бледно и перекослено от бешенства, глаза сверкали, он потрясал сжатыми кулаками над головой.

— Пусть господь бог пошлет твою душу в ад, Волк Ларсен! Да и ад еще слишком хорош для тебя! Трус, вот ты кто! Убийца! Свинья! — так поносил матрос Линч капитана.

Я стоял, словно громом пораженный. Я думал, что Линч будет сейчас же убит на месте. Но у Волка Ларсена в эту минуту не было, как видно, охоты убивать его. Он не спеша подошел к краю юта и, прислонившись к углу рубки, с задумчивым любопытством поглядывал на взбешенного парня.

А тот бросил капитану в лицо обвинения, каких никто еще не решался ему предъявить. Матросы боязливо жались у бака, прислушиваясь к происходящему.

Охотники, баллагуя, выслапали на палубу; но я заметил, что веселость слетела с их лиц, когда они услышали выкрики Линча. Даже они были испуганы необычайной смелостью матроса. Казалось невероятным, чтобы кто-нибудь мог бросить Волку Ларсену подобные оскорбления. Должен сказать, что я сам был удивлен и восхищен поступком Линча и видел в нем блестящее доказательство непоколебимости бессмертного духа, который выше плоти и ее страха смерти. Этот юноша напомнил мне древних пророков, обличавших людские грехи.

И как он обличал Волка Ларсена! Он обнажал его душу и выставлял напоказ всю ее низость. Он призывал на его голову проклятия бога и небес и делал это с жаром, напоминавшим сцены отлучения от церкви в средние века. В своем гневе он то поднимался до прозрых высот, то опускался до грязной площадной брани.

Ярость Линча граничила с безумием. На губах его выступила пена, он задыхался, в горле у него kloкотало, и временами речь становилась нечленораздельной. А Волк Ларсен все так же холодно и спокойно слушал его, прислонившись к углу рубки, и, казалось, был охвачен любопытством. Это дикое проявление жизненного брожения, этот буйный матаж и вызов, брошенный ему движущейся материей, поразили и заинтересовали его.

Каждый миг и я и все присутствующие ждали, что он бросится на молодого матроса и одним ударом прикончит его. Но по какому-то странному капризу он этого не делал. Его ситара потухла, а он все смотрел вниз с безмолвным любопытством.

Линч в своем неистовстве дошел до предела.

— Свинья! Свинья! Свинья! — выкрикивал он, не помня себя. — Почему же ты не сойдешь вниз и не прикончишь меня, убийца? Ты легко можешь сделать это! Никто не остановит тебя! Но я тебя не боюсь! В тысячу раз лучше быть мертвым и избавиться от тебя, чем остаться живым в твоих когтях! Или же, трус! Убей меня! Убей! Убей!

Как раз в эту минуту грешная душа Томаса Магриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал, стоя у двери камбуза, но теперь выскочил вперед, как бы для того, чтобы выбросить за борт киксе-то очистки, на самом же деле, чтобы не прозевать убийства, которое, по его мнению, неминуемо должно было сейчас произойти. Он заискивающе улыбнулся Волку Ларсену, но тот, казалось, даже не заметил его. Однако это не смутило кока. Он тоже был как бы не в себе; повернувшись к Линчу, он крикнул:

— Что ты ругаешься? Постыдился бы!

Бесильная ярость Линча наконец нашла себе выход. В первый раз после их стычки кок вышел из камбуза без ножа. И не успели слова слететь с его губ, как кулак Линча собил его с ног. Трижды поднимался кок на ноги, стараясь ударить в камбуз, и всякий раз молодой матрос одним ударом валил его на палубу.

— Помогите! — завопил Магридж. — Помогите! Помогите! Убери-те его! Что вы глядите, уберите его!

Охотники только смеялись с чувством облегчения. Трагедия кончилась, начинался фарс. Матросы осмелели и, ухмыляясь, поддвинулись ближе, чтобы лучше видеть, как будут бить ненавистного кока. И даже я возликовал в душе. Признаться, я испытывал удовольствие, глядя, как Линч избивает Магриджа, хотя это было почти столь же ужасное избиение, как то, которое только что, по вине самого Магриджа, выпало на долю Джонсона. Но лицо Волка Ларсена оставалось невозмутимым. Он даже не переменял позы и с тем же любопытством следил за избиением. Казалось, он, несмотря на свой отвратительный прагматизм, наблюдает за игрой и движением жизни в надежде узнать о ней что-нибудь новое, различить в ее безумных корчах что-то ускользавшее до сих пор от его внимания — ключ к тайне жизни, который поможет ему эту тайну раскрыть.

Ну и досталось же коку! Да, это избиение мало чем отличалось от виденного мною в каюте. Магридж напрасно старался спастись

от разъяренного матроса. Напрасно пытался он укрыться в каюту. Когда Лин сбивал его с ног, Магридж делал попытки докатиться до нее, добравшись до нее ползком, старался падать в сторону каюты, но удар следовал за ударом с непостижимой быстротой. Лин швырнул кока, как мяч, пока наконец Магридж не растянулся недвижимый на палубе. Но и после этого он еще продолжал получать удары и пинки. Никто не заступился за него. Лин мог бы убить кока, но, очевидно, гнев его иссяк. Он повернулся и ушел, оставив своего врага распростертым на палубе; кок лежал и повизгивал, как щенок.

Но эти два происшествия послужили только предлодией к другим событиям того же дня. Под вечер произошла стычка между Смоком и Гендерсоном. В кубрике внезапно раздался выстрел, и остальные четверо охотников выскочили на палубу. Столб густого, едкого дыма — какой всегда бывает от черного пороха — поднялся из открытого люка. Волк Ларсен бросился туда и исчез в этом дыму. До нас долетели звуки ударов. Смок и Гендерсон — оба были ранены, а капитан вдобавок еще избил их за то, что они ослушались его приказа и изувечили друг друга перед началом охоты. Раны оказались серьезными, и, отколовтив охотников, Волк Ларсен тут же принялся лечить их, как умел, и делать перевязки. Я помогал ему, когда он зондировал и промывал раны, и оба молодца стоически переносили эту грубую хирургию без всякого наркоза, подкрепляя свои силы только добрым стаканом виски.

Затем во время первой вечерней полувахты поднялась драка на баке. Причиной ее послужили сплетни и наушничество, из-за которых был избит Джонсон. Шум, доносившийся с бака, и синяки, разукрашившие физиономии матросов, свидетельствовали о том, что одна половина команды изрядно отделедала другую.

Вторая вечерняя полувахта ознаменовалась новой дракой — на этот раз между Иогансеном и тощим, похожим на янки охотником Лэтимером. Повод к ней подало замечание Лэтимера, что помощник, дескать, храпит и разговаривает во сне. В результате последний получил изрядную трепку, после чего снова не давал никому спать, без конца переживая — во сне все подробности драки.

Меня тоже всю ночь мучили кошмары. Этот день был похож на страшный сон. Одна зверская сцена сменялась другой, разбушевавшиеся страсти и хладнокровная жестокость заставляли людей по-

чувщаться на жизнь своих ближних, бить, калечить, уничтожать. Нервы мои были потрясены. Ум возмущался. До этой поры жизнь моя протекала в относительно неведении зверской стороны человеческой природы. Ведь я всегда жил чисто интеллектуальной жизнью. Я сталкивался с жестокостью, но только с жестокостью духовной — с колким сарказмом Чарли Фэррета, с безжалостными эпиграммами и остротами прителей по клубу и ядовитыми замечаниями некоторых профессоров в мои студенческие годы.

Вот и все. Но чтобы люди могли выместить свой гнев на ближних, проливая кровь и калеча друг друга, — это было для меня внове и повергало в ужас. Не напрасно называли меня «неженка Ван-Вейден», думал я и беспокойно ворочался на койке, терзаемый кошмарами. Я дивился своему полному незнанию жизни и горько смеялся над собой; казалось, я уже готов был признать, что отталкивающая философия Волка Ларсена дает более правильное объяснение жизни, чем моя.

Такое направление мыслей испугало меня. Я чувствовал, что окружающее зверство оказывает на меня развращающее влияние, омрачая все, что есть хорошего и светлого на свете. Я отдавал себе отчет в том, что избивание Томаса Магриджа — скверное, злое дело, и тем не менее не мог не ликовать при мысли об этом происшествии. И, сознавая, что я грешу, что такие мысли чудовищны, я все же захлебывался от бессмысленного злорадства. Я больше не был Хэмфри Ван-Вейденом. Я был Хэмптом, юнтой на шхуне «Призрак». Волк Ларсен был моим капитаном, Томас Магридж и остальные — моими товарищами, и печаль, которой они были отмечены, уже начинала проступать и на моей шкуре.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Три дня я работал и за себя и за Томаса Магриджа и могу с гордостью сказать, что справлялся с делами неплохо. Я знаю, что заслужил одобрение Волка Ларсена, да и матросы были довольны мною во время моего краткого правления в камбузе.

— В первый раз ем чистую пищу, с тех пор как попал на борт, — сказал мне Гаррисон, просунув в дверь камбуза обеденную посуду с бака. — Стриппи Томми почему-то всегда отдавала тухлым жиром, и сдается мне, что он ни разу не сменил рубашки, как отплыл из Фриско.

— Так оно и есть, — подтвердил я.

— Небоюсь, и спит в ней? — продолжал Гаррисон.

— Будь уверен, — сказал я. — На нем все та же рубашка, и он ее ни разу не снимал.

Но только три дня дал капитан коку на поправку после нанесенных ему побоев. На четвертый день его за шиворот стащили с койки, и он, хромая и шатаясь от слабости, приступил к исполнению своих обязанностей. Глаза у него так текли, что он почти ничего не видел. Он хныкал и вздыхал, но Волк Ларсен был неумолим.

— Смотри, чтоб не было помоев! — напутствовал он кока. — И грязи я больше не потерплю! Изволь также иногда менять рубашку, не то я тебя выкуплю. Понял?

Томас Магридж с трудом ковылял по камбузу, и первый же резкий крен «Призрака» чуть не свалил его с ног. Стараясь сохранить равновесие, он хотел схватиться за железные прутья, предохраняющие кастрополи от падения, но промахнулся и оперся рукой о раскаленную плиту. Раздалось шипение, потянуло запахом горелого мяса, и кок взвыл от боли.

— Господи, господи, вот еще беда-то! — причитал он, усевшись на угольный ящик и размахивая обожженной рукой. — Что ж это за напасть такая! Прямо тошно становится! И за что мне это? Уж я ли не стараюсь жить со всеми в ладу!

Слезы струились по его опухшим, покрытым кровоподтеками щекам, лицо было перекошено от боли, но сквозь боль проглядывала затененная злоба.

— Как я ненавижу его! Как ненавижу! — пробормотал он, скрипя зубами.

— Кого это? — спросил я, но бедняга уже опять начал оплакивать свои невзгоды. Впрочем, угадать, кого он ненавидит, было несрудно, — труднее было бы предположить, что он кого-нибудь любит. В этом человеке сидел какой-то бес, заставлявший его ненавидеть весь мир. Мне казалось порой, что Магридж ненавидит даже самого себя, — так неистово и уродливо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне пробуждалось торянее сочувствие к нему и становилось стыдно, что я могу рыдоваться его страданиям и бедам. Жизнь подло обошлась с Томасом Магриджем. Она сыграла с ним скверную шутку, выплевывая из него то, чем он был, и не переставала издеваться над ним. Мог ли он быть иным? И, будто в ответ на мои невысказанные мысли, кок прохныкал:

— Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу, некому было меня покормить или вытереть мне разбитый нос, когда я был мальчонкой! Разве кто-нибудь заботился обо мне? Кто, когда, спрашиваю я?

— Не оторчайся, Томми, — сказал я, успокаивающе кладя ему руку на плечо. — Не унывай! Все наладится. У тебя еще много впереди, ты всего можешь добиться.

— Вранье! Подлое вранье! — заорал он мне в лицо, стряхивая мою руку. — Вранье, сам знаешь. Меня не переделают! Меня уже сделали — из всяких отбросов! Такие раскулачения хороши для тебя, Хэмп. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что значит ходить голодным и засыпать в слезах оттого, что голод грызет твоё пустое брюхо, точно крыса. Нет, мое дело пропащее. Да если даже я проснусь завтра президентом Соединенных Штатов, разве я отъемся за то время, когда бегал по улицам голодным щенком? Разве это исправит? Не в добрый час я родился, вот на мою долю и выпало столько бед, что хватило бы на десятилетий. Полжизни я провалялся по больницам. Хворал лихорадкой в Аспинвале, в Гаване, в Нью-Орлеане. На Барбадосе полгода мучился от цинги и чуть не сдох. В Голондулу — оспа. В Шанхае — перелом обеих ног. В Уналашке — воспадение легких. Три сломанных ребра во Фриско. А теперь! Взгляни

на меня! Взгляни! Ведь опять все ребра переломали! И посмотришь — буду харкать кровью. Кто же мне возместит все это, спрашиваю я? Кто? Бог, что ли? Видно, он здорово невзлюбил меня, когда отправил в плавание по этому проклятому свету!

Это возмущение против судьбы продолжалось больше часа, после чего кок снова принялся за работу, хромая, охая и дыша ненавистью ко всему живущему. Его диагноз оказался правильным, так как время от времени ему становилось дурно, он начинал харкать кровью и очень страдал. Но бог, казалось, и вправду возненавидел его и не хотел прибрать. Мало-помалу кок оправился и стал еще злее прежнего.

Прошло несколько дней, и Джонсон тоже выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Но ему было еще далеко до поправки, и я нередко наблюдал укралкой, как он с трудом взбирается по вантам или устало склоняется над штурвалом. А хуже всего было то, что он совсем пал духом. Он пресмыкался перед Волком Ларсеном и перед помощником. Вот Лич — тот держался совсем иначе. Расхаживал по палубе, как молодой тигр, и не скрывал своей ненависти к капитану и к Йогансену.

— Я еще разделаюсь с тобой, козопалый швед! — услышал я как-то ночью на палубе его слова, обращенные к помощнику.

Йогансен выбранился в темноте, и в тот же миг что-то с силой ударило о переборку камбуза. Снова послышалась ругань, потом насмешливый хохот, а когда все стихло, я вышел на палубу и увидел тяжелый нож, вонзившийся в переборку на целый дюйм. Почти тогда же появился помощник и принялся искать нож, но я уже завладел им и на следующее утро тайком вернул его Личу. Матрос только осклабился при этом, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных излияниях, присущих представителям моего класса.

В противоположность остальным членам команды, я теперь ни с кем не был в ссоре, более того, отпично ладил со всеми. Охотники относились ко мне, должно быть, со снисходительным презрением, но, во всяком случае, не враждебно. Смок и Гендерсон, которые по-прежнему задечивали свои раны и целыми днями качались в подвесных койках под тентом, уверяли, что я ухаживаю за ними лучше всякой сиделки и что они не забудут меня в конце плавания, когда получат расчет. (Как будто мне нужны были их деньги! Я мог купить их со всеми их пожитками, мог купить всю шхуну, даже двадцать

таких шхун!) Но мне выпала задача ухаживать за ними, перевязывать их раны, и я делал все, что мог.

У Волка Ларсена снова был приступ головной боли, длившийся два дня. Должно быть, он жестоко страдал, так как позвал меня и поднимался моим указанием, как больной ребенок. Но ничто не помогало ему. По моему совету он бросил курить и пить. Мне казалось просто невероятным, что это великодушное животное может страдать такими головными болями.

— Это божья кара, уверяю вас, — высказался по этому поводу Луис. — Кара за его черные дела. И это еще не все, иначе...

— Иначе что? — спросил я.

— Иначе бог, видать, только прозится, а дела не делает. Эх, вот слетит с языка...

Нет, зря я сказал, что нахожусь в добрых отношениях со всеми. Томас Матридж не только по-прежнему ненавидит меня, но даже написал для своей ненависти новый повод. Я долго не понимал, в чем дело, но наконец догадался: он не мог простить мне, что я родился «джентльменом», как он выражается, то есть под более счастливой звездой, нежели он.

— А покойников что-то не видать! — поддразнил я Луиса, когда Смок и Гендерсон, дружески беседуя, прогуливались рядом по палубе в первый раз после выздоровления.

Луис поднял на меня хитрые серые глазки и зловеще покачал головой.

— Шквал налетит, говорю вам, и тогда берите все рифы и держитесь крепче. Я чувю, давно чувю — быть буре. Я ее вижу — вот как такедаж над головой в темную ночь. Она уже близко, близко!

— И кто же будет первой жертвой? — спросил я.

— Только не старый толстый Луис, за это я поручусь, — рассмеялся он.

— Я чувю нутром, что через год буду глядеть в глаза моей старой матери; ведь она задалась своих сыновей — все пятеро ушли в море.

— Что он говорил тебе? — спросил меня потом Томас Матридж.

— Что он когда-нибудь съездит домой повидаться с матерью, — осторожно отвечал я.

— У меня никогда не было матери, — заявил кок, уставив на меня унылый взгляд своих тусклых, бесцветных глаз.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Думано о том, что никогда не умел понастоящему ценить женское общество, хотя почти всю свою жизнь провел в окружении женщин. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался освободиться от их опеки. Они доводили меня до отчаяния своими заботами о моем здоровье и вторжениями в мою комнату, где неизменно нарушали тот систематизированный хаос, который был предметом моей гордости и в котором я отпично разбирался, и училили еще больший, с моей точки зрения, хаос, хотя комната и приобрела более опрятный вид. После их ухода я никогда ничего не мог найти. Но, увы, как рад был бы я теперь ощутить возле себя их присутствие, услышать шепест их юбок, который так докучал мне тогда! Я уверен, что никогда не буду ссориться с ними, если только мне удастся попасть домой. Пусть с утра до ночи пичкают меня, чем хотят, пусть весь день вытирают пыль в моем кабинете и подметаю пол — я буду спокойно взирать на все это и благодарить судьбу за то, что у меня есть мать и сестры.

Подобные воспоминания заставляли меня задуматься о другом. Где матери всех этих людей, плавающих на «Призраке»? И противостоит ли им и нездорово, что все эти мужчины совершенно оторваны от женщин и одни скитаются по белу свету. Грубость и дикость только неизбежный результат этого. Всем этим людям следовало бы тоже иметь жен, сестер, дочерей. Тогда они были бы мяче, чеповечнее, были бы способны на сочувствие. А ведь никто из них даже не женат. Годами никому из них не приходится испытывать на себе влияния хорошей женщины, ее смягчающего воздействия. Жизнь их однобока. Их мужественность, в которой есть нечто животное, чрезмерно развилась в них за счет духовной стороны, притупившейся, почти атрофированной.

Это компания холостых мужчин. Жизнь их протекает в грубых стычках, от которых они еще более черствеют. Порой мне просто не верится, что их породили на свет женщины. Кажется,

что это какая-то полуживотная, получеловеческая порода, особый вид живых существ, не имеющих пола, что они вылупились, как черепахи, из согретых солнцем яиц или получили жизнь каким-нибудь другим необычным способом. Дни они проводят среди грубости и зла, и в конце концов умирают столь же скверно, как и жили.

Под влиянием таких мыслей я разговаривал вчера вечером с Мописеном. Это была первая неофициальная беседа, которой он удостоил меня с начала путешествия. Мописен покинул Швецию, когда ему было восемнадцать лет; теперь ему тридцать восемь, и за все это время он ни разу не был дома. Годы два назад в Чили он встретил и каком-то портовом трактире земляка и узнал от него, что его мать еще жива.

— Верно, уж порядком состарилась теперь, — сказал он, задумчиво глянув на компас и тотчас метнув колочный взгляд на Гаррисона, отклонившегося на один рубль от курса.

— Когда вы в последний раз писали ей? Он принялся высчитывать в воздухе.

— В восемьдесят первом... нет, в восемьдесят втором, кажется. Или в восемьдесят третьем? Да, в восемьдесят третьем. Десять лет назад. Из какого-то маленького порта на Мадагаскаре. Я служил тогда на торговом судне. Видишь ты, — продолжал он, будто обращаясь через океан к своей забытой матери, — ведь каждый год собирался домой. Так стоило ли писать? Через год, думаю, попаду. Да всякий раз что-нибудь мешало. Теперь вот стал помощником, так дело пойдет по-другому. Как получу расчет во Фриско — может, набегит доппаров пятачок, — так наймусь на какое-нибудь парусное судно, махну вокруг мыса Горн в Ливерпуль и зашибу еще. А оттуда уж поеду домой на свои денежки. Вот тогда моей старушке не придется больше работать!

— Неужто она еще работает? Сколько же ей лет?

— Под семьдесят, — ответил он. И добавил хвастливо: — У нас на родине работают с рождения и до самой смерти, поэтому мы и живем так долго. Я дотяну до ста.

Никогда не забуду я этого разговора. То были последние слова, которые я от него слышал, и, быть может, вообще последние его слова.

В тот вечер, спустившись в каюту, я решил, что там слишком душно спать. Ночь была тихая. Мы вышли из полосы пассатов, и «Призрак» еще полз вперед, со скоростью не больше одного узла. Захватив подмышку подушку и одеяло, я поднялся на палубу.

Проходя мимо Гarrisона, я взглянул на компас, установленный на палубе рубки, и заметил, что на этот раз рулевой отклонился от курса на целых три румба.

Думая, что он заснул, и желая спасти его от взбучки, а то и от чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал, глаза его были широко раскрыты и устремлены в даль. Казалось, он был так чем-то взволнован, что не мог ответить мне.

— В чем дело? — спросил я. — Ты болен?

Он покачал головой и глубоко вздохнул, словно прождавшая от сна.

— Так держи курс получше, — посоветовал я.

Он перехватил ручки штурвала; стрелка компаса медленно пошла к северо-западу и установилась там после нескольких отклонений.

Я уже собрался пойти дальше и поднять свои вещи, как вдруг что-то необычное за бортом привлекло мое внимание. Чья-то жилистая мокрая рука ухватила за пландер. Потом из темноты появилась друтая. Я смотрел, разинув рот. Что это за гость из морской глубины? Кто бы это ни был, я знал, что он взбирается на борт, держась за лаггинь. Появилась голова с мокрыми взерошенными волосами, и я увидел лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Сильным рывком он перекинул тело через фальшборт и, очутившись на палубе, метнул быстрый взгляд на рулевого, словно проверяя, кто стоит у штурвала и не грозит ли с этой стороны опасность. Вода ручьями стекала с его одежды, и я бессознательно прислушивался к ее журчанию. Когда он двинулся ко мне, я невольно отступил: я отчетливо прочел слово «смерть» в его взгляде.

— Стой, Хэмп, — тихо сказал он. — Где помощник?

Я с недоумением покачал головой.

— Иогансен! — громко позвал капитан. — Иогансен! Где помощник? — спросил он у Гarrisона.

Молодой матрос уже успел прийти в себя и довольно спокойно ответил:

— Не знаю, сэр. Недавно он прошел на бак.

— Я тоже шел на бак, но ты, верно, заметил, что вернулся я с противоположной стороны. Как это могло случиться, а?

— Вы, верно, были за бортом, сэр.

— Посмотреть, нет ли его в кубрике, сэр? — предложил я.

Ларсен покачал головой.

— Ты не найдешь его там, Хэмп. Идем, ты мне нужен! Оставь меня здесь.

Я последовал за ним. На палубе было тихо.

— Проклятые охотники, — проворчал он. — Так разлепились, что не могут выстоять четыре часа на вахте!

На полубаке мы нашли трех стаящих матросов! Капитан перевернул их на спину и заглянул им в лицо. Они несли вахту на палубе, а по корабельным правилам все, за исключением старшего вахтенного, рулевого и сигнальщика, в хорошую погоду имели право спать.

— Кто сигнальщик? — спросил капитан.

— Я, сэр, — с легкой дрожью в голосе ответил Хоппок, один из старых матросов. — Я только на минуту задремал сэр. Простите, сэр! Больше этого не будет.

— Ты ничего не заметил на палубе?

— Нет, сэр, я...

Но Волк Ларсен уже отвернулся, презрительно буркнув что-то, и оставил матроса с раскрытым ртом, — кто мог думать, что он так дешево отдается!

— Тише теперь, — шепотом предупредил меня Волк Ларсен, спускаясь по трапу в кубрик.

С быющим сердцем я последовал за ним. Я не знал, что нас ожидает, как не знал и того, что уже произошло. Но я видел, что была пролита кровь. И уж, конечно, не по своей воле Волк Ларсен очутился за бортом. Странно было и отсутствие Иогансена.

Я впервые спускался в матросский кубрик и не скоро забуду то предание, которое предстало предо мной, когда я остановился внизу у трапа. Кубрик занимал треугольное помещение на самом носу инхуны и был не больше обыкновенной дешевой каморки на Грaб-стрит. Вдоль трех его стен в два яруса тянулись койки. Их было двенадцать. Двенадцать человек ютились в этой тесноте — и спали и ели здесь. Моя спальня дома была невелика, но все же она могла вме-

стиль дюжину таких кубриков, а если принять во внимание высоту потолка, то и все двадцать.

Тут пахло плесенью и чем-то кислым, и при свете качающейся лампы я разглядел переборки, сплошь увешанные морскими сапогами, клеенчатой одеждой и всевозможным тряпьем — чистым и грязным вперемешку. Все это раскачивалось взад и вперед с шуршащим звуком, напоминавшим стук веток о стену дома или о крышу. Времени от времени какой-нибудь сапог глухо ударился о переборку. И хотя море было тихое, балки и доски скрипели неумолчным хором, а из-под настила неслись какие-то странные звуки.

Все это нисколько не мешало спать. Их было восемь человек — две свободные от вахты смены, — и спертый воздух был согрет их дыханием; слышались вздохи, храп, невнятное бормотание — звуки, сопровождавшие сон этих людей, спящих в своей берлоге. Но в самом ли деле все они спали? И давно ли? Вот что, по-видимому, интересовало Волка Ларсена. И, чтобы разрешить свои сомнения, он прибег к приему, напоминавшему мне одну из новелл Боккаччо.

Ларсен вынул лампу из ее качающейся оправы и поднес ее к борту. Свой обход он начал с первой койки по правому борту. Наверху лежал канак [10], красавец матрос, которого товарищи называли Уфти-Уфти. Он спал, лежа на спине, и дышал тихо, как женщина. Одну руку он подложил под голову, другая покоилась поверх одеяла. Волк Ларсен взял его за руку и начал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся так же спокойно, как спал, и даже не пошевелился при этом. Он только широко открыл свои огромные черные глаза и, не мигая, уставился на нас. Волк Ларсен приложил палец к губам, требуя молчания, и глаза снова закрылись.

На нижней койке лежал Луис, толстый, распаренный. Он спал непритворным, тяжелым сном. Когда Волк Ларсен взял его за руку, то секунду опирался только на плечи и пятки. Губы его зашевелились, и он изрек следующую загадочную фразу:

— Кварта — шиллинг. Но гляди в оба, не то трактирщик митом всучит тебе трехпенсовую за твои шесть пенсов.

Затем он повернулся набок и с тяжелым вздохом произнес:

— Шесть пенсов — «теннер», а шиллинг — «боб». А вот что такое «шони» [11] — я не знаю.

Удостоверившись, что Луис и канак не прикидываются спящими, Волк Ларсен перешел к следующим двум койкам, по правому борту, занятым — как мы увидели, осветив их лампой, — Линчем и Джонсоном.

Когда капитан нагнулся над нижней койкой, чтобы прощупать пульс Джонсону, я, стоя с лампой в руках, заметил, что Линч на верхней койке приподнял голову и осторожно глянул вниз. Должно быть, он разгадал хитрость капитана и понял, что сейчас будет уличен, так как лампа внезапно была выбита у меня из рук, и кубрик погружился в темноту. В тот же миг Линч спрыгнул вниз, прямо на Волка Ларсена.

Звуки, доносившиеся из мрака, напоминали схватку волка с быком. Ларсен взревел, как разъяренный зверь, и Линч зарычал тоже. От этих звуков кровь стыла в жилах. Джонсон, должно быть, тотчас вмешался в драку. Я понял, что его унизительное поведение все последние дни было лишь хорошо обдуманным притворством.

Эта схватка в темноте казалась столь ужасной, что я, весь дрожа, прислонился к трапу, не в силах сдвинуться с места. Я снова испытал знакомое соусшее ощущение под лопаткой, всегда появлявшееся у меня при виде физического насилия. Правда, в этот миг и ничего не мог видеть, но до меня долетали звуки ударов и глухой стук сталкивающихся тел. Койки трещали, слышно было тяжелое дыхание, короткие возгласы боли.

Должно быть, в покушении на жизнь капитана и помощника участвовало несколько человек, так как по возросшему шуму я догадался, что Линч и Джонсон уже получили подкрепление со стороны своих товарищей.

— Эй, кто-нибудь, дайте нож! — кричал Линч.

— Двинь его по башке! Вышиби из него мозги! — орал Джонсон. Но Волк Ларсен больше не издавал ни звука. Он молча и свирепо боролся за свою жизнь. Ему приходилось туго. Сразу же сбившись с ног, он не мог подняться, и мне казалось, что, несмотря на его чудовищную силу, положение его безнадежно. О ярости этой борьбы я получил весьма наглядное представление, так как сам был сбит с ног сцепившимися телами и, падая, сильно ушибся. Однако среди общей свалки мне как-то удалось заползти на одну из нижних коек и таким образом убраться с дороги.

— Все сюда! Мы держим его! Попался! — слышал я выкрики Лича.

— Кого? — спрашивал кто-то, разбуженный шумом, не понимая, что происходит.

— Кровопийцу помощника! — хитро ответил Лич, с трудом выговаривая слова.

Его сообщение было встречено восторженными возгласами, и с этой минуты Волк Ларсену пришлось оббиваться от семерых дюжих матросов, заседавших на него. Луис, я полагаю, не принимал участия в драке. Кубрик гудел, как потревоженный улей.

— Эй вы, что там у вас такое? — донесся с палубы крик Лэтимера. Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот ад кипящих во мраке страстей.

— У кого есть нож? Дайте нож! — снова услышал я голос Лича, когда шум на мгновение затих.

Многочисленность нападавших повредила им. Они мешали друг другу, а у Волка Ларсена была только одна цель — пробраться ползком к трапу, — и он в конце концов достиг своего. Несмотря на полный мрак, я следил за его передвижением по звукам. И только такой силан мог сделать то, что сделал он, когда дополз все же до трапа. Хватаясь за ступеньки руками, он мало-помалу выпрямился во весь рост и начал взбираться вверх, невзирая на то, что целая куча людей старалась стащить его вниз.

Конеч этой сцены я не только слышал, но и видел, так как Лэтимер принес фонарь и осветил им люк. Волк Ларсен — его едва можно было разглядеть под уцепившимися за него матросами — уже почти добрался до верха трапа. Этот клубок слетевших тел напомнил огромного многолапого паука и раскачивался взад и вперед в такт ритмичной качке шхуны. И медленно, с большими остановами, вся эта копошащаяся масса тел неуклонно ползла вверх. Раз она дрогнула, застыла на месте и чуть не покатилась вниз, но равновесие восстановилось, и она снова поползла по трапу.

— Что тут такое? — крикнул Лэтимер.

При свете фонаря я увидел его склоненное над люком испуганное лицо.

— Это я, Ларсен, — донесся приглушенный голос.

Лэтимер протянул руку. Снизу быстро высунулась рука Ларсена. Лэтимер схватил ее и стал тянуть вверх, и следующие две ступеньки были пройдены быстро. Показалась другая рука Ларсена и ухватилась за комингс люка. Клубок тел отделился от трапа, но матросы все еще цеплялись за своего ускользавшего врага. Однако один за другим они начали скатываться вниз. Ларсен сбрасывал их, ударяя о закрывающуюся пинаю ногами. Последним был Лич: он свалился с самого верха вниз головой прямо на своих товарищей. Волк Ларсен и фонарь исчезли, и мы остались в темноте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

По стонами, с ругательствами матросы стали подниматься на ноги.

— Зажгите лампу, я вывихнул большой палец, — крикнул Парсонс, смуглый, мрачный парень, рулевой из шлюпки Стэндиша, где Гаррисон был гребцом.

— Лампа где-то тут, на полу, — сказал Линч, опускаясь на край койки, на которой притаялся я.

Послышался шорох, чирканье спички, потом тускло вспыхнула коптящая лампа, и при ее неверном свете босонотие матросы принались обследовать свои ушибы и раны. Уфти-Уфти завладел пальцем Парсонса, сильно дернул его и вправил сустав. В то же время я заметил, что у самого канака суставы пальцев разбиты в кровь. Он показывал их всем, скали свои великопленные белые зубы, и хвалился, что своротил скулу Волку Ларсену.

— Так это ты, черное путало, постарался? — воинственно вскричал Келли, американец ирландского происхождения, бывший грузчик, первый раз выходявший в море и состоявший гребцом при Керфуте.

Он выплонул выбитые зубы и с перекошенным от бешенства лицом двинулся на Уфти-Уфти. Канак отпрыгнул к своей койке и выхватил длинный нож.

— А, брось! Надоел! — вмешался Линч. Очевидно, при всей своей молодости и неопытности он был коноводом в кубрике. — Ступай прочь, Келли, оставь Уфти в покое! Как, черт подери, мог он узнать тебя в темноте?

Келли нехотя повиновался, а Уфти-Уфти благодарно сверкнул своими белыми зубами. Он был красив. В линиях его фигуры была какая-то женственная мягкость, а большие глаза смотрели мечтательно, что странно противоречило его репутации драчуна и забияки.

— Как ему удалось уйти? — спросил Джонсон.

Все еще тяжело дыша, он сидел на краю своей койки; вся его фигура выражала крайнее разочарование и уныние. Во время борьбы с него сорвали рубашку; кровь «в раны на щеке капала на обнаженную грудь и красной струйкой стекала на пол.

— Удалось, потому что он дьявол. Я ведь говорил вам, — отозвался Линч, вставая с койки: в глазах у него блеснули слезы отчаяния. — И ни у кого из вас вовремя не нашлось ножа! — простонал он.

Но никто не слушал его; в матросах уже проснулся страх перед ожидавшей их карой.

— А как он узнает, кто с ним дрался? — спросил Келли и, свирепо оглянувшись кругом, добавил: — Если, Конечно, никто не донесет.

— Да стоит ему только поглядеть на нас... — пробормотал Парсонс. — Взглянет хоть на тебя, и все!

— Скажи ему, что палуба встала дыбом и дала тебе по зубам, — усмехнулся Луис.

Он один не слезал во время драки с койки и торжествовал, что у него нет ни ран, ни синяков — никаких следов участия в ночном побоище.

— Ну и достанется вам завтра, когда Волк увидит ваши рожи! — хмыкнул он.

— Скажем, что приняли его за помощника, — пробормотал кто-то. А другой добавил:

— А я скажу, что услышал шум, соскочил с койки и сразу же получил по морде за любопытство. Ну и, понятно, не остался в долгу. А кто там был — я и не разобрал в этой темноте.

— И съездил мне в зубы! — дополнил Келли и даже просиял на миг.

Линч и Джонсон не принимали участия в этом разговоре, и было ясно, что товарищи смотрят на них, как на обреченных. Линч некоторое время молчал, но наконец его взорвало.

— Тошно слушать! Слюнтяи! Если бы вы поменьше молולי языком да побольше работали руками, ему бы уже была крышка. Почему ни один из вас не дал мне ножа, когда я просил? Черт бы вас побрал! И чего вы нюни распустили — убьет он вас, что ли? Сами знаете, что не убьет. Он не может себе этого позволить. Здесь нет корабельных агентов, чтобы подыскать других бродяг на ваше место. Кто без вас будет грести, и править на шлюпках, и работать на

его чертовой шхуне? А теперь нам с Джонсоном придется расплачиваться за все. Ну, лезьте на койки и заткнитесь. Я хочу спать.

— Что верно, то верно! — отозвался Парсонс. — Убить он нас, пожалуй, не убьет. Но уж житья нам теперь тоже не будет на этой шхуне!

А я все это время с тревогой думал о своем собственном незавидном положении. Что произойдет, когда они заметят меня? Мне-то не пробиться наверх, как Волку Ларсену. И в эту минуту Лэтимер крикнул с палубы:

— Хэмп! Капитан зовет!

— Его здесь нет! — отозвался Парсонс.

— Нет, я здесь! — крикнул я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу твердость.

Матросы ошеломленно уставились на меня. Я читал на их лицах страх. Страх и зlobу, порождаемую страхом.

— Иду! — крикнул я Лэтимеру.

— Нет, врешь! — заорал Келли, становясь между мной и трапом и пытаясь схватить меня за горло. — Ах ты, подлая гадина! Я тебе заткну плотку!

— Пусти его! — приказал Лич.

— Черта с два! — последовал сердитый ответ.

Лич, сидевший на краю койки, даже не шевельнулся.

— Пусти его, говорю я! — повторил он, но на этот раз голос его прозвучал решительно и жестко.

Ирландец колебался. Я шагнул к нему, и он отступил в сторону. Дойдя до трапа, я повернулся и обвел глазами круг свирепых и озлобленных лиц, глядевших на меня из полумрака. Внезапно глубокое сочувствие пробудилось во мне. Я вспомнил слова кока. Как бог должен ненавидеть их, если обрекает на такие муки!

— Будьте покойны, я ничего не видел и не слышал, — негромко произнес я.

— Говорю вам, он не выдаст, — услышал я, поднимаясь по трапу, голос Лича. — Он любит капитана не больше, чем мы с вами.

Я нашел Волка Ларсена в его каюте. Обнаженный, весь в крови, он ждал меня и приветствовал обычной иронической усмешкой:

— Приступайте к работе, доктор! По-видимому, в этом плавании вам предстоит обширная практика. Не знаю, как «Призрак» обо-

шелся бы без вас. Будь я способен на столь благородные чувства, я бы сказал, что его хозяин глубоко вам признателен.

Я уже был хорошо знаком с нашей нехитрой судовой аптечкой и, пока кипятилась на печке вода, стал готовить все нужное для перевязок. Ларсен тем временем, смеясь и болтая, расхаживал по каюте и хладнокровно рассматривал свои раны. Я впервые увидел его обнаженным и был поражен. Кулыг тела никогда не был моей слабостью, но я обладал все же достаточно художественным чутьем, чтобы оценить великолешие этого тела.

Должен признаться, что я был зачарован совершенством этих линий, этой, я бы сказал, свирепой красотой. Я видел матросов на баке. Многие из них поражали своими могучими мускулами, но у всех имелся какой-нибудь недостаток: одна часть тела была слишком сильно развита, другая слишком слабо, или же какою-нибудь искривлением нарушало симметрию: у одних были слишком длинные ноги, у других — слишком короткие; одних портила излишняя жилистость. Других — костлявость. Только Уфти-Уфти отличался безупречным сложением, однако в красоте его было что-то женственное.

Но Волк Ларсен являлся воплощением мужественности и сложен был почти как бог. Когда он ходил или поднимал руки, мощные мускулы напрягались и играли под атласной кожей. Я забыл сказать, что бронзовым заггаром были покрыты только его лицо и шея. Кожа у него была белой, как у женщины, что напомнило мне о его скандинавском происхождении. Когда он поднял руку, чтобы пощупать рану на голове, бицепсы, как живые, заходили под этим белым покровом. Эти самые бицепсы на моих глазах нанесли столько страшных ударов и не так давно чуть не отправили меня на тот свет. Я не мог оторвать от Ларсена глаз и стоял, как притворженный к месту. Бинт выпал у меня из рук и, разматываясь, покатился по полу.

Капитан заметил, что я смотрю на него.

— Бог хорошо слепил вас, — сказал я.

— Вы находите? — отозвался он. — Я сам так считаю и часто думаю, к чему это?

— Предназначение... — начал было я.

— Приспособленность! — прервал он меня. — Все в этом теле приспособлено для дела. Эти мускулы созданы для того, чтобы хватать и рвать, уничтожать все живое, что станет на моем пути. Но под-

умали ли вы о других живых существах? У них тоже как-никак есть мускулы, также предназначенные для того, чтобы хватать, рвать, уничтожать. И когда они становятся на моем жизненном пути, я хватаю лучше их, рву лучше, уничтожаю лучше. В чем же тут предназначение? Приспособленность — больше ничего.

— Это некрасиво, — возразил я.

— Вы хотите сказать, что жизнь некрасива? — улыбнулся он. — Однако вы говорите, что я неплохо сложен. А теперь поглядите.

Он широко расставил ноги, будто прирос к полу, вцепившись в него пальцами, как когтями. Узлы, клубки, бугры мускулов забегали под кожей.

— Пощупайте! — приказал он.

Мускулы были тверды, как сталь, и я заметил, что все тело у него подобралось и напряглось. Мускулы мягко округлились на бедрах, на спине, вдоль плеч. Он слегка приподнял руки, мышцы сократились, пальцы согнулись, напоминая когти. Даже глаза изменили выражение — в них появились настороженность, расчет и хищный огонек.

— Устойчивость, равновесие, — сказал он и, вмиг расслабив мышцы, принял более спокойную позу. — Ноги для того, чтобы упираться в землю, а руки, зубы и ногти, чтобы бороться и убивать, стараясь не быть убитым. Предназначение? Приспособленность — самое верное слово.

Я не спорил. Предо мной был организм хищника, первобытного хищника, и это произвело на меня столь сильное впечатление, как если бы я увидел машины огромного броненосца или трансатлантического парохода.

Вспоминная жестокую схватку в кубрике, я дивился тому, как это Ларсену удалось так легко отделаться.

Можу не без гордости сказать, что перевязку я, кажется, сделал ему неплохо. Впрочем, серьезных повреждений было немного, остальное — просто кровоподтеки и ссадины. Первый полученный им удар, тот, от которого он упал за борт, рассек ему кожу на голове. Эту рану — длиной в несколько дюймов — я, по его указаниям, промыл и зашил, предварительно выбрив вокруг нее волосы. Помимо этого, одна икра у него была разодрана, словно его кусал бульдоз. Ларсен объяснил мне, что какой-то матрос вцепился в нее зубами

еще в начале схватки, да так и висел на ней. Лишь на верху трапа Ларсену удалось стряхнуть его с себя.

— Кстати, Хэм, я заметил, что вы толковый мальчик, — сказал Бобб Ларсен, когда я кончил перевязки. — Как вы знаете, я остался без помощника. Отныне вы будете стоять на вахте, получать семьдесят пять долларов в месяц, и всем будет приказано называть вас «мистер Ван-Бейден».

— Но я же ничего не смыслю в навигации, — изумился я.

— Этого и не требуется.

— И я вовсе не стремлюсь к такому высокому весту, — продолжал и протестовать. — Жизнь моя и в будущем моем скромном положении достаточно подвержена всяким превратностям, к тому же у меня нет никакого опыта. Посредственность, знаете ли, тоже имеет свои преимущества.

Но он только улынулся, словно вопрос уже был решен.

— Да не хочу я быть помощником на этом дьявольском корабле!

— с возмущением вскричал я.

Его лицо сразу стало жестким, глаза холодно блеснули. Он подошел к двери каюты и сказал:

— Ну, мистер Ван-Бейден, доброй ночи!

— Доброй ночи, мистер Ларсен, — чуть слышно пробормотал я.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Не могу сказать, чтобы положение помощника было мне хоть сколько-нибудь приятно, хотя я и избавился от мытья посуды. Я не знал самых элементарных обязанностей штурмана, и мне пришлось бы туго, не будь матросы расположены ко мне. Я ничего не смыслил в оснастке судна и не понимал, как надо ставить паруса. Но матросы старались подучить меня, и особенно хорошим учителем оказался Луис. Столкновений с моими подчиненными у меня не было.

Другое дело — охотники. Все они были более или менее знакомы с морем и смотрели на мое назначение, как на шутку. Мне и самому было смешно, что я, сухопутная крыса, исполнил обязанности помощника, однако быть посмешищем в глазах других мне вовсе не хотелось. Я не жаловался, но Волк Ларсен сам требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета, чего никогда не удостоивался бедный Иогансен. Ценою неоднократных стычек и угроз он привел недовольных охотников к повиновению. От носа до хвоста меня титуловали «мистер Ван-Вейден», и только в неофициальных беседах Волк Ларсен называл меня Хэмпом.

Это было забавно. Иной раз, пока мы обедали, ветер менял направление на несколько румбов, и когда я вставал из-за стола, капитан говорил: «Мистер Ван-Вейден, будьте добры лечь на левый галс». Я выходил на палубу, подзывал Луиса и спрашивал у него, что нужно делать. Через несколько минут, усвоив его указания и уяснив себе сущность маневра, я начинал отдавать распоряжения. Помнится, однажды Волк Ларсен появился на палубе как раз в ту минуту, когда я отдавал команду. Он остановился с сигарой в зубах и принялся спокойно наблюдать за выполнением маневра. Затем подошел ко мне на ют.

— Хэмп, — сказал он. — Виноват, мистер Ван-Вейден.

Поздравляю вас! Сдается мне, что отцовские ноги вам теперь больше не понадобятся. Вы, кажется, уже научились стоять на своих собственных. Немного практики в такелажных работах и с парусами, небольшой шторм, и к концу плавания вы сумеете наняться на любую каботажную шхуну.

В этот период моего плавания на «Призраке» — после смерти Иогансена и вплоть до прибытия к месту охоты — я чувствовал себя не так уж плохо. Волк Ларсен был ко мне не слишком строг, матросы мне помогали, и я был избавлен от неприятного общества Томаса Матриджа. Должен признаться, что мало-помалу я начал даже втайне гордиться собой. Как ни фантастично было мое положение — я, сухопутная крыса, вдруг занял второе по рангу место на судне! — Однако справлялся я с делом неплохо. И я был доволен собой и даже полюбил плавное покачивание под ногами палубы «Призрака», который все так же держал курс от тропиков на северо-запад, к тому островку, где нам предстояло пополнить запас пресной воды.

Но это было лишь время сравнительного благополучия. Такие же муки, какие я испытывал вначале, ждали Меня и впереди. А для команды, особенно для матросов, «Призрака» по-прежнему оставался ужасным, сатанинским кораблем. Никто не знал на нем ни минуты покоя. Волк Ларсен не простили матросам покушения на его жизнь и трепки, которую они задали ему в кубрике. И днем и ночью он бесчестно старался отравить им существование.

Он хорошо понимал психологическое значение мелочей и умел мелкими придирками доводить матросов до Истощения. Я видел, как он поднимал Гаррисона с койки, как тот убрал валявшуюся на месте малярную кисть. Но и этого ему показалось мало, и он разбудил еще всех подвахтенных и велел им пойти за Гаррисоном и погладить, как он будет это делать. Это был, конечно, пустяк, но это изобретательный ум придумывал их тысячи, и легко можно себе представить, какое настроение царило на баке.

Понятно, что команда роптала, и отдельные столкновения повторялись снова и снова. Капитан продолжал избивать матросов, и ежедневно двое-трое из них врачевали, как могли, нанесенные им увечья. Однако на решительное выступление они не отваживались, так как, в кубрике у охотников и в кают-компании хранились большой запас оружия. Больше всего доставалось от Волка Ларсена Личу и Джонсону: на них он вымещал свою дьявольскую злобу, и глубокая тоска, которую я читал в глазах Джонсона, заставляла сжиматься мое сердце.

Лич относился к своему положению иначе. Он был затравлен, но не сдавался. Он весь горел неукротимой яростью, не оставлявшей места для скорби. На его губах застыла злобная усмешка, и при виде Волка Ларсена с ним всякий раз — как видно, бессознательно — срывалось угрожающее ворчание. Он следил глазами за капитаном, как зверь следит из клетки за своим стражем, и злоба, клокопавшая в его груди, рвалась наружу сквозь стиснутые зубы.

Помню, как однажды на палубе я среди бела дня тронул его за плечо, собираясь отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной, и, когда моя рука коснулась его, отпрянул с диким возгласом. Он принял меня за ненавистного ему человека.

Лич и Джонсон убили бы Волка Ларсена при первой возможности, только она им никогда не представлялась, — Волк Ларсен был слишком хитер. К тому же у них не было сподручного оружия. На один кулаки им никак не приходилось рассчитывать. Время от времени капитан показывал свою силу Личу, и тот всегда давал сдачи и кидался на него, как дикая кошка, пуская в ход и зубы, и ногти, и кулаки, но в конце концов всякий раз падал на палубу без сил и часто даже без сознания. И все же он никогда не старался избежать схватки. Дьявол, сидевший в нем, бросал вызов дьяволу в Волке Ларсене. Стоило им только столкнуться на палубе, и поднималась драка. Мне случалось видеть, как Лич кидался на Волка Ларсена без всякого предупреждения или внешнего повода. Однажды от метнул в капитана тяжелый кортик и промахнулся всего на какой-нибудь дюйм, а еще как-то уронил на него с салюта стальную свайку. Не простав это была задача — попасть в цель при качке, с высоты семидесяти пяти футов, но острое инструмента, просвистав в воздухе, мелькнуло почти у самой головы Волка Ларсена, когда тот показался из люка, и вонзилось на целых два дюйма в толстые доски палубы. В другой раз Лич пробрался в кубрик охотников, завладел чым-то заряженным дробовиком и уже хотел выскользнуть с ним на палубу, но тут его перехватил и обезоружил Керфут.

Я часто задавал себе вопрос, почему Волк Ларсен не убьет Лича и не положит этому конец. Но он только смеялся и, казалось, наслаждался опасностью. В этой игре была для него особая прелесть; быть может, он чувствовал себя в роли укротителя диких зверей.

— Жизнь получает особую остроту, — объяснял он мне, — когда инсит на волоске. Человек по природе итрок, а жизнь — самая крупная его ставка. Чем больше риск, тем острее ощущение. Зачем мне отказывать себе в удовольствии доводить Лича до белого каления? Утм я ему же оказываю услугу. Мы оба испытываем весьма сильные ощущения. Его жизнь богаче, чем у любого матроса на баке, хотя он этого и не сознает. Он имеет то, чего нет у них, — цель, помещающую его: он стремится убить меня и не терпит надежды, что это ему удастся. Право, Хэмп, он живет полной, насыщенной жизнью. Я сомневался, чтобы когда-либо его жизнь протекала так напряженно и остро, и порой искренне завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и иступления.

— Но ведь это низость! Низость! — воскликнул я. — Все преимущества на вашей стороне.

— Кто из нас двоих, вы или я, более низок? — нахмурившись, спросил он. — Попадая в неприятное положение, вы вступаете в компромисс с вашей совестью. Если бы вы действительно были на высоте и оставались верны себе, вы должны были бы объединиться с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, боитесь! Вы хотите жить. Жизнь в вас кричит, что она хочет жить, чего бы это ни стоило. Вы ищете презренное существование, изменяете вашим идеалам, прешите против своей жалкой морали и, если есть ад, прямым путем идете туда свою душу. Я выбрал себе более достойную роль. Я не прешу, так как остаюсь верен великим жизни во мне. Я по крайней мере не поступаю против совести, чего вы не можете сказать о себе.

В том, что он говорил, была неприятная правда. Быть может, я и в самом деле праздновал труса. Чем больше я размышлял об этом, тем яснее сознавал, что мой долг перед самим собой — сделать то, к чему Ларсен подстрекает меня, то есть примкнуть к Джонсону и Личу и вместе с ними постараться убить его. В этом, мне казалось, сказались наследие моих суровых предков пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершается для благой цели. Я не мог отделиться от этих мыслей. Освободить мир от такого чудовища казалось мне актом высшей морали. Человечество станет от этого только лучше и счастливее, а жизнь чище и приятнее.

Я раздумывал об этом, ворочаясь на своей койке в долгие бессонные ночи, и снова и снова перебирал в уме все события. Во вре-

ма ночных вахт, когда Волк Ларсен был внизу, я беседовал с Джонсоном и Личем. Оба они потеряли всякую надежду: Джонсон — по мрачному складу своего характера, а Лич — потому, что истошили силы в тщетной борьбе. Однажды он взволнованно схватил мою руку и сказал:

— Вы честный человек, мистер Ван-Вейден! Но оставайтесь на своем месте и помалкивайте. Наша песенка спета, я знаю. И все-таки в трудную минуту вы, может, сумеете помочь нам.

На следующий день, когда на траверзе у нас с наветренной стороны вырос остров Уэнрайт, Волк Ларсен изрек пророческие слова. Он только что поколотил Джонсона, а заодно и Лича, который пришел товарищу на подмогу.

— Лич, — сказал он, — ты знаешь, что я когда-нибудь убью тебя? Матрос в ответ только зарычал.

— А тебе, Джонсон, так в конце концов остоерчает жизнь, что ты сам бросишься за борт, не ожидая, чтобы я тебя прикончил. По-мнни мое слово!

— Это — внушение, — добавил он, обращаясь ко мне. — Держу пари на ваше месячное жалованье, что он так и сделает.

Я питал надежду, что его жертвы найдут случай бежать, когда мы будем наполнять водой бочонки, но Волк Ларсен хорошо выбрал место, где бросить якорь. «Призрак» лег в дрейф в полумиле за линией прибоа, окаймлявшей пустынный берег. Здесь открывалось глубокое ущелье, окруженное отвесными скалами вулканического происхождения, по которым невозможно было вскарабкаться наверх. И здесь, под непосредственным наблюдением самого капитана, съехавшего на берег, Лич и Джонсон наполнили пресной водой бочонки и скатывали их к берегу. Удартый на шлюпке у них не было никакой возможности.

Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. На их обязанности лежало курсировать на своей шлюпке между шхуной и берегом, перевоза каждый раз по одному бочонку. Перед самым обедом, двинувшись с пустым бочонком к берегу, они внезапно изменили курс и отклонились влево, стремясь обогнуть мыс, далеко выступавший в море и отделивший их от свободы. Там, за белыми пенистыми бурунами, раскинулись живописные деревушки японских колонистов и приветливые долины, уходящие в глубь остро-

ва. Если бы матросам удалось скрыться туда, Волк Ларсен был бы им уже не страшен.

Однако Гендерсон и Смок все утро бродили по палубе: и теперь и пониз, с какой целью. Достав винтовки, они неторопливо открыли огонь по беглецам. Это была хладнокровная демонстрация меткой стрельбы. Сначала их пули, не нанося вреда, шлепались в воду по обеим сторонам шлюпки. Но матросы продолжали грести изо всех сил, и тогда пули начали ложиться все ближе и ближе.

— Смотрите, сейчас я прострелю правое весло Келли, — сказал Смок и прицелился более тщательно.

Я увидел в бинокль, как лопасть весла разлетелась в щепы. Гендерсон проделал то же самое с правым веслом Гаррисона. Шлюпку повертело на месте. Два остальных весла быстро подверглись той же участи. Матросы пытались грести обломками, но и те были выбиты у них из рук. Тогда Келли оторвал доску от дна шлюпки и начал было грести этой доской, но тут же выронил ее, вскрикнув от боли: пуля расщепила доску, и заноза вонзилась ему в руку. Тогда беглецы покорились своей доле, и шлюпку носило по волнам, пока вторая шлюпка, посланная Волком Ларсеном, не взяла ее на буксир и не доставила беглецов на борт.

К вечеру мы снялись с якоря. Теперь нам предстояло целых три или четыре месяца охотиться на котиков. Мрачная перспектива, и я с тяжелым сердцем занимался своим делом. На «Призраке» царил похоронное настроение. Волк Ларсен валялся на койке: у него опять был один из этих странных мучительных приступов головной боли. Гаррисон с унылым видом стоял у штурвала, навалившись на него всем телом, словно ноги не держали его. Остальные хранили утреннее молчание. Я наткнулся на Келли: он сидел с подветренной стороны у люка матросского кубрика в позе безысходного отчаяния, уронив голову в колени и охватив ее руками.

Джонсон растянулся на самом носу и следил, как пенятся волны у форштевня. Я с ужасом вспомнил пророчество Волка Ларсена, и у меня мелькнула мысль, что его внушение начинает действовать. Мне захотелось отвлечь Джонсона от его дум, и я окликнул его, но он только грустно улыбнулся мне и не тронулся с места.

На корме ко мне подошел Лич.

— Я хочу попросить вас кое о чем, мистер Ван-Вейден, — сказал он. — Если вам повезет и вы вернетесь во Фриско, не откажите разыскать Матта Мак-Карти. Это мой старик. Он сапожник, живет на горе, за пекарней Мейфера. Его там все знают, и вам не трудно будет его найти. Скажите старику, что не хотел огорчать его и жалею о том, что я наделал, и... и скажите ему еще так от меня: «Да хранит тебя бог».

Я кивнул и прибавил:

— Мы все вернемся в Сан-Франциско, Линч, и я вместе с вами пойду повидать Матта Мак-Карти.

— Хорошо, кабы так, — отвечал он, пожимая мне руку. — Да не верю я в это. Волк Ларсен прикончит меня, я знаю. Да пусть бы уж поскорее!

Он ушел, а я почувствовал, что и сам желаю того же. Пусть неизбежное случится поскорее. Общая подавленность передалась и мне. Гибель казалась неотвратимой. И час за часом шагая по палубе, я чувствовал все отчетливее, что начинаю подаваться отвратительным идеям Волка Ларсена. К чему ведет все на свете? Где величие жизни, раз она допускает такое разрушение человеческих душ по какому-то бессмысленному капризу? Жизнь — дешевая и скверная штука, и чем скорее придет ей конец, тем лучше. Покончить с ней, и basta! По примеру Джонсона я перегнулся через борт и не отрывал глаз от моря, испытывая глубокую уверенность в том, что рано или поздно буду опускаться вниз, вниз, вниз, в холодные зеленые пучины забвения.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как ни странно, но, несмотря на мрачные предчувствия, овладевшие всеми, на «Призраке» пока никаких особенных событий еще не произошло. Мы плыли на северо-запад, пока не достигли берегов Японии и не наткнулись на большое стадо китиков. Явившись сюда откуда-то из безграничных просторов Тихого океана, они совершали свое ежегодное переселение на север, к лежбищам у берегов Берингова моря. Повернули за ними к северу и мы, свистя и истребляя, бросая ободранные туши акулам и засаливая шкуры, которые впоследствии должны были украсить предельные плечи горожанок.

Это было безжалостное избиение, совершавшееся во славу женщин. Мясa и жира никто не ел. После дня успешной охоты наши пилубы были завалены тушами и шкурами, скользкими от жира и крови, и в шпигаты стекали алые ручейки. Матчи, снасти и борта — все было забрызгано кровью. А люди с обнаженными окровавленными руками, словно мясники, усердно работали ножами, сдирая шкуры с убитых ими красивых морских животных.

На моей обязанности лежало считать шкуры, поступающие на борт со шлюпок, и наблюдать за тем, как ведется свежеевание и последующая уборка палуб. Невеселое занятие! Все во мне возмущалось против него. Но вместе с тем мне еще никогда не приходилось риспоряжаться столькими людьми, и это развивало мои довольно слабые административные способности. Я чувствовал, что становлюсь тверже и решительнее, и это не могло не пойти на пользу «женке Ван-Вейдену».

Я начинал понимать, что мне никогда уже не стать прежним Хэмфри Ван-Вейденом. Хотя моя вера в человека и в жизнь все еще противилась разрушительной критике Волка Ларсена, коей чем он все же успел сильно повлиять на меня. Он открыл мне реальный мир, с которым я практически не был знаком, так как всегда стоял от него в стороне. Теперь я научился ближе присма-

триваться к окружающему, спустился из мира отвлеченностей в мир фактов.

С тех пор как началась охота, мне больше чем когда-либо приходилось проводить время в обществе Волка Ларсена. Когда погода бывала хороша и мы оказывались посреди стада, весь экипаж был занят в шлюпках, а на борту оставались только мы с ним да Томас Марридж, который в счет не шел. Впрочем, мы тоже не сидели без дела. Шесть шлюпок веером расходились от шхуны, пока расстояние между первой наветренной и последней подветренной шлюпками не достигало десяти, а то и двадцати миль. Потом они плыли прямым курсом, и только ночь или плохая погода загоняли их обратно. Мы же должны были направлять «Призрака» в подветренную сторону, к крайней шлюпке, для того чтобы остальные могли с попутным ветром подойти к нам в случае шквала или угрозы шторма.

Нелегкая это задача для двух человек, особенно при свежем ветре, справиться с таким судном, как «Призрака»: управлять рулем, следить за шлюпками, ставить или убирать паруса. Я должен был овладеть всем этим, и овладеть быстро. Управление рулем далось мне легко. Но взбираться наверх на салинг и подтягиваться на руках, когда нужно было лезть еще выше, уже без выбленок, оказалось потруднее. Однако я скоро научился и этому, так как чувствовал какое-то необъяснимое желание подтянуть себя в глазах Волка Ларсена, доказать свое право на жизнь и доказать не путем одних только рассуждений. И настало время, когда мне даже доставляло радость взбираться на самую верхушку мачты и, охватив ее ногами, осматривать с этой жуткой высоты море в бинокль, разыскивая шлюпки.

Помню, как в один ясный тихий день охотники выехали спозаранку и звуки выстрелов постепенно удалялись и замерли: шлюпки рассеялись по безграничному простору океана. С запада дунул чуть приметный ветерок. Мы едва успели выполнить наш обычный маневр в подветренную сторону, как ветер упал совсем. С верхушки мачты я следил за шлюпками: все шесть, одна за другой, исчезли за горизонтом, преследуя плывших на запад котиков. Мы стояли, чуть покачиваясь на водной глади. Ларсен начал беспокоиться. Барометр упал, и небо на востоке не предвещало ничего хорошего. Ларсен неотступно всматривался вдаль.

— Если нагрянет оттуда, — сказал он, — и отнесет нас от шлюпок, много коек опустеет в обоих кубриках.

К одиннадцати часам море стало гладким, как зеркало. К полудню жара сделалась невыносимой, хотя мы находились уже довольно далеко в северных широтах. В воздухе — ни малейшего дуновения. Душная, гнетущая атмосфера; в Калифорнии в таких случаях говорят: «как перед землетрясением». Во всем этом было что-то зловещее, и возникло ощущение приближающейся опасности. По-прежнему все небо на востоке затгнуло тучами: они надвигались на нас, словно чудовищные черные горы, и так ясно можно было различить в них ущелья, пещеры и пропасти, где спустились черные тени, что глаз невольно искал там белую линию прибоя, с ревом бьющего о берег. А шхуна все так же плавно покачивалась на мерной зыби, и ветра не было.

— Это не шквал, — сказал Волк Ларсен. — Природа собирается ластать на дыбы, и когда бура заревет во всю глотку, придется нам поплясать. Боюсь, Хэмп, что мы не увидим половины наших шлюпок. Полезайте-ка наверх и отдайте топселя!

— Но что же мы будем делать, если и в самом деле «заревет»? Ведь нас только двое! — ответил я с нотой протеста в голосе.

— Мы должны воспользоваться первыми порывами ветра и добраться до наших шлюпок прежде, чем у нас сорвет паруса. А там будет что будет. Мачты выдержат, и нам с вами тоже придется выдерживать, хотя будет не сладко!

Штиль продолжался. Мы пообедали на скорую руку. Меня тревожила судьба восемнадцати человек, скрывавшихся где-то за горизонтом, в то время как на нас медленно надвигались черные громады туч. Но Волка Ларсена это, по-видимому, не особенно беспокоило, хотя, когда мы вышли на палубу, я заметил, что у него слегка раздуваются ноздри и движения стали быстрее. Лицо его было сурово и жестко, но глаза — ясно-голубые в тот день — как-то особенно поблескивали. Меня поразило, что Ларсен был весел — свирепо весел, словно он радовался предстоящей борьбе, ликовал в предвкушении великой минуты, когда стихии обрушатся на него.

Не заметив меня, он презрительно и, должно быть, бессознательно расхохотался, словно бросая вызов приближающемуся шторму. И сейчас еще вижу я, как он стоял, словно питмей из «Тысячи и

одной ночи» перед исполненным злым гением. Да, он бросал вызов судьбе и ничего не боялся.

Потом он прошел в камбуз.

— Кок, ты можешь понадобиться на палубе. Когда закончишь со своими кастрюлями и сковородками, будь наготове — тебя позвуч!

— Хэмп, — сказал он, заметив, что я смотрю на него во все глаза, — это лучше виски, хотя ваш Омар Хайям этого не понимал. В конце концов он не так уж умел пользоваться жизнью!

Теперь и западная половина неба нахмурилась. Солнце померкло и скрылось во мгле. Было два часа дня, а вокруг нас ступились призрачный полумрак, прорезываемый беглыми багровыми лучами. В этом призрачном свете лицо Волка Ларсена пылало, и моему растревоженному воображению мерещилось как бы некое сияние вокруг его головы. Стояла необычайная, сверхъестественная тишина, и в то же время все вокруг предвещало приближение шума и движения. Духота и зной становились невыносимы. Пот выступил у меня на лбу, и я почувствовал, как он каплями стекает по лицу. Мне казалось, что я теряю сознание, и я хватился за поручни. В эту минуту пронесся еле заметный вздох ветерка. Будто легкий шепот, прилетел он с востока и растаял. Нависшие паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило это дуновение, как приятную свежесть.

— Кок, — нетромяко позвал Волк Ларсен.

Показалось жалкое, все в шрамах, лицо Томаса Магриджа.

— Отдай тали фока-гика и переложи гик. Когда фок начнет наполняться, потрави шкот и опять заложки тали. Если напутаешь, это будет последней ошибкой в твоей жизни. Понял?

— Мистер Ван-Вейден, будьте готовы перенести передние паруса. Потом поставьте топсела, и как можно скорее; чем быстрее вы это сделаете, тем легче вам будет справиться с ними. Если кок замешкается, дайте ему в зубы.

Я почувствовал в этих словах скрытую похвалу и был доволен, что отданное мне приказание не сопровождалось угрозой. Но с тех пор был обращен к северо-западу, и капитан хотел сделать поворот фордевинд при первом же порыве ветра.

— Ветер будет дуть нам в корму, — объяснил он мне. — Судя по последним выстрелам, шлюпки отклонились немного к югу.

Он повернулся и пошел к штурвалу. Я же направился на бак и занял свое место у кливверов. Снова и снова пронеслось дыхание ветра. Паруса лениво заполоскали.

— Наше счастье, что бура налетела не сразу, мистер Ван-Вейден! — возбужденно крикнул мне кок.

Я тоже был этому рад, так как знал уже достаточно, чтобы поинимать, какое несчастье грозило нам — ведь все паруса были поставлены. Ветер дул сильными порывами, паруса наполнились, и «Призрак» двинулся вперед. Волк Ларсен круто положил руля под ветер, и мы пошли быстрее. Теперь ветер дул нам прямо в корму; он слышал все громче, и передние паруса оглушительно хлопали. Я не мог видеть, что делается на остальной палубе, но почувствовал, как шхуна внезапно накренилась, когда фок и грот наполнились ветром. Я возился с кливвером, бом-кливвером и стакселем, и когда справился наконец со своей задачей, «Призрак» уже мчался на юго-запад под всеми парусами, вынесенными на правый борт. Не успев перевести дух, с бешено бьющимся сердцем, я бросился к топселям и успел вовремя убрать их. Затем отправился на корму за новыми приказаниями.

Волк Ларсен одобрительно кивнул и передал мне штурвал. Ветер крепчал, волнение усиливалось. Я стоял у штурвала около часа, и с каждой минутой править становилось все труднее. У меня не было достаточно опыта, чтобы вести шхуну бакштаг при таком ветре.

— Теперь поднимитесь с биноклем наверх и поинтите шлюпки. Мы прошли не меньше десяти миль, а сейчас делаем по крайней мере двенадцать или тринадцать узлов. Моя старушка быстра на ходу!

Я огранчился тем, что взобрался на салинг, в семидесяти футах над палубой, и выше не полез. Осматривая пустынное пространство океана, я понял, что нам необходимо очень спешить, если мы хотим подогнать наших людей. Меня охватывало сомнение, могут ли шлюпки уцелеть среди этих бушующих волн. Казалось невероятным, чтобы такие хрупкие суденышки устояли против двойного напора ветра и волн.

Я не ощущал всей силы ветра, так как мы мчались вместе с ним. Но я смотрел с высоты вниз, и порой мне казалось, что я нахожусь

не на судне, а смотрю на него как бы со стороны. Контуры мящейся шхуны резко выделялись на фоне пенистых вод. Порой, накренившись правым бортом, она взлетала на огромную волну, и тогда палубу до самых люков заливало водой. В такие мгновения, когда шхуна переваливалась с одного борта на другой, я с головокружительной быстротой описывал в воздухе дугу, и мне казалось, что я нахожусь на конце огромного перевернутого маятника, амплитуда колебаний которого достигает семидесяти футов. Ужас охватил меня от этой бешеной качки. Дрожаний и обессиленный, я руками и ногами уцепился за мачту и уже не мог искать в море пропавшие шлюпки, — взор мой был в страхе прикован к бушевавшей под мной разъяренной стихии, грозившей поглотить «Призрак».

Но мысль о потопивших людях заставила меня опомниться, и я в тревоге принялся искать глазами шлюпки, забыв о себе. Целый час я не видел ничего, кроме пустынных кипящих волн. Но вот вдали, там, где одинокий луч солнца, прорвавшись сквозь тучи, превратил мутную поверхность океана в расплавленное серебро, я заметил маленькое черное пятнышко. Оно то взлетало на гребень волны, то скрывалось из виду. Я стал терпеливо выжидать. Снова крошечная черная точка мелькнула среди свирепых валов, слева по носу от нас. Кричать было бы бесполезно, но я жестами сообщил Волку Ларсену о своем открытии. Он изменил курс, и когда пятнышко мелькнуло прямо впереди нас, я утвердительно махнул рукой.

Пятнышко росло так быстро, что только тут я впервые вполне оценил скорость нашего беге по волнам. Волк Ларсен дал мне знак спуститься вниз и, когда я подошел к штурвалу, велел положить шхуну в дрейф и растолковал, что я должен для этого предпринять. — Теперь весь ад обрушится на вас, — предостерег он меня, — но вы не робейте. Делайте свое дело и смотрите, чтобы кок стоял у фока-шкота.

Мне удалось кое-как пробраться на бак, хотя то с одного, то с другого борта палубу заливало водой. Отдав распоряжения Томасу Матриджу, я взобрался на несколько футов по фор-вантам. Шлюпка была теперь очень близко и дрейфовала против ветра на своей мачте и парусе, выброшенных за борт и служивших плавающим якорем. В шлюпке было трое, все они вычерпывали воду. Каждый водной вал скрывал их из виду, и я с замиранием сердца ждал, что вот-вот они

исчезнут совсем. Но внезапно шлюпка стрелой вылетела из пенных волн, становясь при этом почти вертикально и опираясь только на корму, так что обнажался весь ее мокрый черный киль. Потом нос опускался, корма оказывалась высоко над ним, и на мгновение становилось видно, как все трое в безумной спешке вычерпывают воду. И шлюпка снова низвергалась в зияющую пучину. Каждое новое ее появление воспринималось как чудо.

«Призрак» вдруг изменил курс и уклонился в сторону. Я с удивлением подумал, что Волк Ларсен считает спасение шлюпки невозможным, но тут же сообразил, что он просто готовится лечь в дрейф. Я поспешил спуститься на палубу, чтобы быть наготове. Мы шли теперь прямо фордевинд, а шлюпка была у нас на траверзе, и довольно далеко.

Внезапно я почувствовал, как шхуна пошла ровнее и скорость ее заметно возросла. Она почти на месте разворачивалась носом к ветру.

Когда шхуна стала под прямым углом к волнам, ветер, от которого мы до сих пор убегали, со всей силой обрушился на нас. По неопытности я повернулся лицом к ветру. Он навалился на меня плотной стеной, воздух стремительно ворвался в мои легкие, и я не мог его выдохнуть. Я задыхался, и когда «Призрак», сильно накренившись на наветренный борт, вдруг словно замер на месте, я увидел огромную волну прямо у себя над головой. Я повернулся спиной к ветру, перевел дух и взглянул снова. Волна нависла над судном. Луч солнца играл на ее мелочно-белом пеннистом гребне, и я смотрел прямо в ее зеленовато-прозрачную глубь.

И вот волна обрушилась на шхуну, и началось свETOпРЕСТАВЛЕНИЕ. Все произошло в единый миг. Сокрушительный удар, который и ощутил всем телом, сбил меня с ног, и я очутился под водой. Промелькнула страшная мысль, что сейчас совершится то, о чем мне пока приходилось только слышать, — я буду смыт в море. Меня перевернуло, ударило о палубу и понесло куда-то. Я был не в силах больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие жгуче-горючей воды. Однако все это время я ни на минуту не забывал, что должен вынести кливер на ветер. Страха смерти я не ощущал. Почему-то я был уверен, что как-нибудь спасусь. Настоятельная мысль о необходимости выполнить приказание Волка Ларсена не покидала

меня, и мне казалось, что я вижу, как он стоит у штурвала, среди дикого разгула стихий, и бросает буре дерзкий вызов, противопоставляя ей свою волю.

Меня с силой ударило обо что-то, должно быть, о планшир. Я вздохнул и почувствовал, что дышаю спасительный воздух. Я попытался встать, но снова ударился обо что-то головой и снова очутился на четвереньках. Оказалось, что меня отнесло волной под полубак. Ползком выбирался оттуда, я наткнулся на Томаса Магриджа, который, скорчившись, лежал на палубе и стонал. Но у меня не было времени возиться с ним. Я должен был перенести кливер.

Когда я выбрался на палубу, мне показалось, что нам приходится конец. Крутом стоял треск ломающегося дерева, рвущейся парусины, лязг железа. Буря швыряла шхуну, стремясь разнести ее в щепы. Фок и фор-топсель, повиснув без ветра, благодаря нашему маневру хлопали и рвались, так как некому было вовремя выбрать шкот; тяжелый гик с треском перебрасывало с борта на борт. В воздухе со свистом проносились обломки: обрывки снастей трепались на ветру, извиваясь, как змеи; и вдруг в довершение всего с треском рухнул на палубу фоктафель.

Он упал всего в нескольких дюймах от меня, и это напомнило мне, что надо спешить. Быть может, не все еще было потеряно. Я вспомнил слова Волка Ларсена. Он ведь предупреждал, что «на нас обрушится ад». Но где же он сам? И вдруг я увидел его перед собой. Пустив в ход всю свою чудовищную силу, он выбирал гроташкот. В это время корма шхуны поднялась высоко в воздух, и фигура капитана четко вырисовывалась на фоне мявавшихся на нас белых от пены валов. Все это и еще больше — целый мир хаоса и разрушения — я воспринял зрением и слухом меньше чем за четверть минуты.

У меня не было времени подглядеть, что стало со шлюпкой, — я бросился к кливер-шкоту. Кливер хлопал, то наполняясь ветром, то обвисая. Напрягая все силы, я начал постепенно оттягивать шкот. Я делал все, что мог. Я тянул шкот так, что в кровь ободрал себе пальцы. В это время бом-кливер и стаксель лопнули по всей длине, и их унесло в море.

Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами каждую выбранную часть шкота, и как только снасть ослабевала, выбирал ее

снова. Потом шкот пошел легче, — ко мне подошел Волк Ларсен. Он тянул шкот, а я подбирал слабину.

— Закрепляйте! — крикнул он. — А потом идите сюда!

Я последовал за ним и увидел, что, несмотря на разрушения, на шхуне восстановился некоторый порядок. «Призрак» лег в дрейф. Он был еще в состоянии бороться. Хотя почти все паруса сорвало, но кливер, вынесенный на наветренный борт, и выбранный до конца грот уцелели и удерживали шхуну носом к разъяренным волнам.

Пока Волк Ларсен готовил шлюпочные тали, я стал искать глазами шлюпку и увидел ее на вершине большой волны футов в двадцати от нас, с подветренной стороны. Капитан так ловко рассчитал свой маневр, что мы дрейфовали прямо на нее, и нам оставалось только заложить на ней тали и поднять ее на борт. Но сделать это было не так-то просто.

На носу шлюпки находился Керфут; Уфти-Уфти сидел у руля, а Келли посредине. Когда нас подняло ближе, лодку вскинуло на волну, а мы провалились куда-то в бездну, и я увидел почти прямо над собой троих людей, смотревших на нас из-за борта шлюпки. В следующий миг наверх взлетели мы, они же провалились в пропасть между двумя волнами. Так повторялось снова и снова, и всякий раз мне казалось, что «Призрак» неминуемо раздавит эту хрупкую скорлупку.

Но в нужную минуту я бросил свой конец Уфти-Уфти, а Волк Ларсен — Керфуту. Концы были тотчас закреплены, после чего все трое, уловив момент, одновременно перепрыгнули на борт шхуны. Когда «Призрак» поднялся из воды, шлюпку прижало к нему, и, воспользовавшись этим, мы успели втянуть ее на борт, а затем переперули вверх днищем. Я заметил, что левая рука Керфута в крови. Он разможил себе пальцы. Однако, не обращая на это внимания, он правой рукой помогал нам проталкивать шлюпку.

— Приготовься перенести кливер, Уфти! — командовал Волк Ларсен, как только мы покончили со шлюпкой. — Келли, иди на корму, потрави грота-шкот! А вы, Керфут, ступайте на нос и посмотрите, что там с коком! Мистер Ван-Вейден, ползайте вверх и по пути отрубите все лишнее!

Отдав распоряжения, он, как тигр, прыгнул к штурвалу. Пока я набирался на передние ванты, «Призрак» медленно уваливался под

ветер. Однако на этот раз, когда шхуна нырнула между валами и ее стало накрывать волной, у нас не оставалось ни одного паруса, который мог бы быть сорван ветром. Шхуна дала чудовищный крен, и мачты ее легли почти горизонтально над водой. Я еще не добрался до салинга, как был прижат ветром к вантам с такой силой, что, казалось, даже при желании не мог бы упасть. Я видел перед собой палубу, но не внизу, а почти под прямым углом к поверхности моря. И видел я, собственно, даже не палубу, а захлестнувший ее поток воды, из которого торчали две мачты. И это было все. В этот миг вся шхуна была под водой. Но мало-помалу, все больше уваливаясь под ветер, «Прирак» выпрямился и высунул свою палубу из-под воды, как кит высовывает спину, поднимаясь на поверхность.

А потом нас понесло дальше по бушующему морю, а я висел на салинге, прилипнув к нему, как муха, и высматривал остальные шлюпки. Через полчаса я увидел еще одну: она плыла длинцем кверху, вместе с уцепившимся за нее Джеком Хорнером, толстым Луисом и Джоносоном. На этот раз я остался наверху. Волку Ларсену удалось благополучно лечь в дрейф, и опять нас стало сносить к шлюпке. Притовловлены были тали. Людям бросили концы, и спасенные, как обезьяны, вскарабкались по ним на борт. Шлюпку же сильно побило о корпус шхуны, когда ее поднимали на борт, но мы все же принесли ее на палубе, рассчитывая поинтнить.

И снова «Прирак» поначался вперед, гонимый бурей, порой так зарываясь в воду, что бывали минуты, когда я уже не надеялся на спасение. Даже штурвал, расположенный значительно выше скафута, то и дело исчезал под водой. В такие мгновения мною овладевало странное чувство: мне казалось, что я здесь наедине с богом и один наблюдаю ярость его гнева. Но штурвал появлялся снова, показывались широкие плечи Волка Ларсена и его руки, веревчатые колесо и подчинявшие бег шхуны воле капитана. Словно некий бог, повелитель бури, стоял он, рассекая своим судном волны и заставляя ее служить себе. Понистине, разве это было не чудо? Ничтожные букашки — люди жили, дышали, делали свое дело и наперекор разбушевавшейся стихии управляли утлой посудинной из дерева и парусины!

И «Прирак» опять взлетал на волну, палуба поднималась над водой, и он устремлялся вперед. Часов около шести, когда дневной

свет уже померк и над морем ступились тусклые зловещие сумерки, я заметил третью шлюпку. Она тоже плыла вверх длинцем, но людей не было видно. Волк Ларсен повторил свой маневр: отошел и затем повернул к ветру и дал волнам отнести шхуну к шлюпке. Однако на этот раз он ошибся футов на сорок, и шлюпка прошла у нас за кормой.

— Шлюпка номер четыре! — крикнул Уфти-Уфти, зоркие глаза которого успели различить надпись, когда шлюпка на миг вынырнула из пены.

Это была шлюпка Гендерсона, и вместе с ним на ней потыбли Холнок и Вильяме. В том, что они потыбли, не могло быть сомнения, но шлюпка уцелела, и Волк Ларсен сделал еще одну отчаянную попытку завладеть ею. Я в это время уже спустился на палубу и слышал, как Хорнер и Керфут тиетно протестовали против этого намерения.

— Я не брошу шлюпку, провалясь все к дьяволу! — орал Ларсен, и хотя мы стояли близко, голос его доносился до нас, словно из немеримой дали.

— Мистер Ван-Вейден! — крикнул он мне, и в реве бури его слова прозвучали как шепот. — Станьте на кливер вместе с Джоносоном и Уфти! Остальные — на грот! Живое, а не то я всем вам шею сверну! Поняли?

И когда он положил руль на борт и начал поворачивать нос шхуны, охотникам ничего не оставалось, как повиноваться и принять участие в этом рискованном предпрятии. Насколько велика была опасность, я понял лишь после того, как снова очутился под водой, потонувшей палубе, и едва успел уцепиться за планку у фок-мачты. Но пальцы мои почти тотчас оторвало от планки, меня смыло за борт и понесло в море. Плавать я ее умел, однако волна, не дав мне погрузиться, швырнула меня обратно на палубу. Тут чья-то сильная рука подхватила меня, и когда «Прирак» вынырнул из воды, я увидел, что обязан своим спасением Джоносону. Но тот тревожно отпыхивался крутом, и я заметил, что Келли, который минуту назад пришел на бак, теперь исчез.

Снова проскочив мимо шлюпки, мы находились по отношению к ней в ином положении, чем прежде, и Волк Ларсен явно нужден был прибегнуть к другому маневру. Идя фордевинд, он

привел шхуну к ветру и подошел к шлюпке круто бейдевинд левым галсом.

— Здорово! — прокричал у меня над ухом Джонсон, когда мы, маневрировав, благополучно выдержали очередной потоп. Я знал, что его похвала относится не к морскому искусству Волка Ларсена, а к самой шхуне.

Стемнело, и шлюпки уже не было видно, но Волк Ларсен вел шхуну, словно руководимый каким-то безошибочным инстинктом. На этот раз, хотя нас снова и снова захлестывало волной, мы не отклонились в сторону. Нас понесло прямо на шлюпку, и мы порядком побили ее, поднимая на борт.

После этого мы еще часа два работали до одурения. Все — двое охотников, три матроса. Волк Ларсен и я — брали рифы на кливере и гроте. При уменьшенной парусности палубу уже не так заливало водой, и «Призрак» прыгал и нырял среди волн, как пробка.

Я, еще выбирая кливер, в кровь ободрал себе пальцы, и от боли слезы все время катились у меня по щекам. Когда же все было кончено, я не выдержал и в полном изнеможении повалился на палубу.

Томаса Магриджа вытащили из-под полубака, куда он в страхе забился, словно крыса в наводнение. Я увидел, как его поволокли на корму в каток-компанино, и лишь тогда с изумлением заметил, что камбуз исчез. Там, где он раньше стоял, теперь на палубе ничего не было.

Все, не исключая матросов, собрались в катоккомпанино, и пока на печурке варился кофе, мы пили виски и грызли галеты. Никогда в жизни не ел я с таким апетитом. Я пил горячий кофе, и он казался мне вкуснее всего на свете. «Призрак» так кидало и швыряло, что даже моряки не могли ходить, не придерживаясь за что-нибудь, и часто с криком «беретись!» мы кучей валялись на переборки, прижимавшие почти горизонтальное положение.

— К черту сигнальщика! — заявил Волк Ларсен, когда мы наелись и напились. — На палубе нечего делать. Если кому-нибудь придет охота налететь на нас, так мы все равно не сможем свернуть в сторону. Ступайте все спать!

Матросы пробрались на бак, по дорожке выставив отпичительные огни, а двое охотников остались спать в каток-компанино, так как не стоило рисковать, открывая люк, ведущий в их кубрик. Мы с Вол-

ком Ларсеном отрезали Керфуту его изувеченный палец и зашили рану. Магридж, стрипая, подавая нам кофе и поддерживая огонь в печке, все время жаловался на боль в боку и клялся, что у него сломано одно или два ребра. Осмотрев его, мы убедились, что у него сломано целых три. Однако мы отложили его лечение до следующего дня главным образом потому, что я ровно ничего не смыслил в том деле и хотел сначала прочесть что-нибудь о переломах ребер.

— Не стоило, пожалуй, жертвовать жизнью Келли из-за разбитой лодки, — сказал я Волку Ларсену.

— Ну и сам Келли тоже немногого стоил, — последовал ответ. — Спокойной ночи!

Мне казалось, что после перенесенных испытаний я не смогу уснуть. Меня невыносимо мучила боль в пальцах, тревожила судьба трех пропавших шлюпок, а шхуну все так же неистово швыряло по волнам. Но глаза мои сомкнулись, едва голова коснулась подушки, и в полном изнеможении я проспал до утра, в то время как «Призрак», никем не управляемый, один на один боролся с бурей.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На следующий день, пока шторм понемногу утихал, мы с Волком Ларсеном почтили кое-что по части анатомии и хирургии и принялись лечить Магриджу его переломы, а когда волнение несколько улеглось. Волк Ларсен начал крейсировать к западу от того места, где нас настигла буря. Тем временем команда чинила шлюпки и шила для них новые паруса. Нам все чаще и чаще стали попадаться промысловые шхуны. Почти все они тоже искали свои потерянные шлюпки, а заодно подбирали и чужие, если встречались с ними в море. Большинство судов промысловой флотилии находилось к западу от нас, и рассеянные в океане шлюпки искали спасения на первой встреченной ими шхуне.

Мы сняли две наши лодки со всем экипажем с «Сиско», а на другой шхуне — «Сан-Диего» — обнаружили, к великой радости Волка Ларсена и к моему немалому огорчению, Смока с Нилсоном и Дичем. Таким образом, к концу пятого дня мы недосчитывались только четверых — Гендерсона, Холиока, Вильямса и Келли, — и решено было возобновить охоту.

Следуя за стадом котиков на север, мы начали встречать опасные морские туманы. Мгта проглатывала спущенные шлюпки, как только они касались воды. На борту шхуны через равномерные промежутки трубили в рог и каждые четверть часа стреляла сигнальная пушка. Шлюпки все время то терлись, то находились вновь; согласно морским обычаям, их принимала на борт любящая шхуна, с тем чтобы потом возратить хозяину. Но Волк Ларсен, у которого не хватало одной шлюпки, поступил так, как и следовало от него ожидать: завадел первой отбившейся от своей шхуны шлюпкой, заставил ее экипаж охотиться вместе с нашим и не позволил ему вернуться к себе на шхуну, когда она показала вдали. Помню, как охотника и обоих матросов, наставив на них ружья, загнали вниз, когда их шхуна проходила мимо и капитан справлялся о них.

Томас Магридж, с таким удивительным упорством цеплявшийся за жизнь, вскоре начал опять ковылять по палубе и исполнять свои двойные обязанности кока и юнги. Джонсон и Лич больше прежнего подвигались побоям и знали, что по окончании охотничьего сезона им не сносить головы. Остальным тоже жилось, по милости капитана, как собакам, причем этот безжалостный человек заставлял их работать до полного изнурения. Что же касается меня, то мы с Волком Ларсеном кое-как ладили, хотя я не мог отделаться от мысли, что мне следовало бы убить его. Он необъяснимо притягивал меня к себе и вместе с тем нагонял на меня неописуемый страх. И все же и не мог представить его себе распростертым на смертном одре. Это слишком не вязалось с его обликом. Я мог думать о нем только как о живом, властвующем, борющемся и разрушающем.

Когда мы попадали в самую середину котикового стада и волнение было слишком сильно, чтобы спустить шлюпки, Ларсен любил нырять на охоту сам, с двумя гробцами и ружьями. Он был хорошим стрелком и привозил на борт много шкур в такую погоду, когда охотники считали промысел невозможным. Казалось, ему лишь тогда дышалось легко, когда он, рискуя жизнью, вел борьбу с грозным противником.

Я все больше осваивался с морским делом, и однажды, в ясный денек, какие редко выпадали теперь на нашу долю, мне, к моему немалому удивлению, привелось самостоятельно управлять шхуной и убирать наши шлюпки. Волк Ларсен опять валялся у себя в каюте с головной болью, а я дотемна стоял у штурвала. Обойдя крайнюю шлюпку, я положил шхуну в дрейф и одну за другой поднял все шесть шлюпок без каких-либо указаний со стороны капитана.

Время от времени на нас налетали бури — мы находились в штормовой полосе, — а в середине июня нас настиг тайфун; это было памятное для меня событие, так как оно внесло большую перемену в мою жизнь. Повидимому, мы попали почти в самый центр тайфуна, но Волку Ларсену удалось ударить от него на юг — сначала под кивером с двумя рифами, а потом и вовсе с голыми мачтами. Иногда еще не видал я таких волн. Все штормы, испытанные мною раньше, казались по сравнению с этим легкой рябью. От гробня до гробня было не меньше полумили, и эти валы вздымались выше на-

ших матч. Даже Волк Ларсен не осмелился лечь в дрейф, хотя нас и относилось все дальше к югу от котикового стада.

Когда тайфун утих, мы оказались на пути океанских пароходов. И здесь, к изумлению охотников, мы повстречались со вторым стадом котиков, составившим как бы арьергард первого. Это было чрезвычайно редкое явление. Раздалась команда: «Спустить шлюпки!», затрещали выстрелы, и жестокая бойня продолжалась весь день.

В этот вечер ко мне в темноте подошел Лич. Я только что кончил подсчитывать шкуры с последней поднятой на борт шлюпки, молодой матрос остановился возле меня и тихо спросил:

— Мистер Ван-Вейден, на каком мы расстоянии от берега и в какой стороне Иокотама?

Мое сердце радостно забилось. Я понял, что у него на уме, и дал ему нужные указания: к запад-северо-западу, расстояние пять-сот миль.

— Благодарю вас, сэр, — ответил он и скрылся во мраке.

Утром исчезла лодка номер три, а с нею — Джонсон и Лич. Одновременно исчезли анкерки с водой и ящики с провизией со всех остальных шлюпок, а также постельные принадлежности и сундуки обоих беглецов. Волк Ларсен неистовствовал. Он поставил паруса и помчался на запад-северо-запад. Двое охотников не сходили с салюнга, осматривая море в бинокль, а сам он, как разъяренный лев, метался по палубе. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать наблюдающим меня.

Ветер был свежий, но не ровный, и легче было бы найти итолку в стоге сена, чем крошечную шлюпку в беспредельном синем просторе. Но капитан старался выжать из «Призрака» все, что мог, и отрезать беглецов от суши. Когда, по его расчетам, ему это удалось, он стал крейсировать попереки их предполагаемого пути.

На утро третьего дня, едва пробило восемь склянок, Смок крикнул с салюнга, что видна шлюпка. Все столпились у борта. Резкий ветер дул с запада и крепчал, предвещая шторм. И вот, с подветренной стороны, на фоне волн, позолоченных первыми лучами солнца, начала появляться и исчезать черная точка.

Мы изменили курс и помчались к ней. У меня было тяжело на душе. Я видел торжествующий блеск в глазах Волка Ларсена и,

внезапно охваченный мрачным предчувствием, ощутил непреодолимое желание кинуться на этого человека. Мысль о судьбе Лича и Джонсона так взволновала меня, что разум мой помутнел. Фигура Ларсена поплыла у меня перед глазами, и, не помня себя, я бросился в рубрик охотников и готов уже был выскочить на палубу с заряженным ружьем в руках, как вдруг услышал чей-то изумленный возглас:

— На шлюпке пять человек!

Я задрожал и ухватился за трап, прислушиваясь к голосам на палубе, подтверждавшим слезанное кем-то открытие. Затем страшная робость вдруг охватила меня, колени подогнулись, я опустился на стульчики и только тут окончательно пришел в себя и содрогнулся при мысли о том, что я готов был совершить. Возблагодарив судьбу, я положил ружье на место и поднялся на палубу.

Никто не заметил моего отсутствия. Шлюпка была теперь уже бинтов, и я увидел, что она крупнее охотничьей и построена иначе. Когда она почти совсем приблизилась к нам, на ней убрали парус и сидли матчу. Вставив весла в уключины, люди в лодке ждали, пока мы ляжем в дрейф и возьмем их на борт.

Смок уже спустился на палубу и стоял теперь рядом со мной; он многозначительно ухмыльнулся. Я вопросительно взглянул на него.

— Ну и заварится каша! — хмыкнул он.

— В чем дело? — спросил я.

Он снова хмыкнул.

— Разве не видите, кто там на корме? Чтоб мне не убить больше ни одного котика, если это не женщина!

Я взгляделся, но не сразу смог что-нибудь различить. Однако все вокруг говорили, что в лодке четверо мужчин, а на корме, по-видимому, — женщина. Это открытие взволновало всех, за исключением Волка Ларсена, который был явно разочарован тем, что это не его шлюпка и ему не на кого обрушить свою злобу.

Мы спустили бом-кливер, выбрали кливер-шкот на наветренный борт, добрали прота-шкот и легли в дрейф. Весла опустились в воду, и после нескольких взмахов шлюпка подошла к борту шхуны. Теперь я уже мог лучше разглядеть женщину. Она куталась в длинное широкое пальто, так как утро было холодное. Я увидел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбившиеся изпод морской фуражки. У нее были большие карие блестящие глаза, нежный, приятно очер-

ченый рот и правильный овал лица, обветренного и обожженного солнцем.

Она показала мне существом из другого мира. Меня потянуло к ней, как голодного к хлебу. Ведь я так давно не видел женщин! Всецело поглощенный этим чудесным видением, я совершенно забыл о своих обязанностях помощника и даже не помогал поднять спасенных на борт. Когда один из матросов подхватил женщину на руки и передал ее Волку Ларсену, она взглянула на наши исполненные любопытства лица и улыбнулась так приветливо и мило, как может улыбаться только женщина. Как давно не видел я подобной улыбки! Казалось, я уже забыл, что на свете есть люди, которые умеют так улыбаться!

— Мистер Ван-Вейден! — Голос Ларсена вернул меня к действительности. — Будьте добры, проводите эту даму вниз и устройте ее поудобнее. Прикажите приготовить свободную каюту на левом борту. Поручите это коку. И подумайте, чем вы можете помочь даме, — у нее сильно обожжено лицо.

С этими словами он отвернулся от нас и принялся расправлять мужчин.

Шлюпка была брошена на произвол судьбы, хотя один из спасенных возмущался этим, так как Иокотамма была совсем близко.

Сопровождая незнакому в каюту, я странно робел и был неловок. Мне как бы впервые открылось, какое хрупкое, нежное создание женщина. Помогая ей спуститься по трапу, я взял ее за руку, и меня поразило, какая это маленькая, нежная ручка. Да и сама она была удивительно тоненькая и хрупкая и казалась мне такой воздушной, что я боялся раздавить ее руку в своей ручище. Вот что чувствовал я, так долго лишенный женского общества, когда увидел Мад Брустер — первую женщину, встретившуюся на моем пути с тех пор, как я попал на шхуну.

— Вы напрасно так беспокоитесь обо мне, — запротестовала она, когда я усадил ее в кресло Волка Ларсена, которое поспешил притащить из его каюты. — Сегодня утром мы каждую минуту ожидали увидеть землю и к вечеру, вероятно, будем уже в порту. Не правда ли?

Ее спокойная уверенность смутила меня. Как мог я объяснить ей положение вещей и страшный характер нашего капитана, который,

наверно умру року, скитался по морям, — словом, все то, что открылось мне за эти месяцы? Но я ответил ей напрямик:

— Буду у нас другой капитан, я сказал бы, что завтра утром вас посетит Иокотамма. Но Ларсен человек со странностями, и я прошу вас быть готовой ко всему. Вы понимаете, — ко всему!

— Нет, признаюсь, я не совсем понимаю вас, — ответила она. В глазах ее промелькнуло недоумение, но не испуг. — Быть может, я ошиблась, но мне казалось, что потерпевшим кораблекрушение всегда оказывают внимание. Да и в сущности это такой пустяк: ведь мы совсем близко от берега.

— Правду сказать, я сам ничего не знаю, — поспешил я успокоить ее. — Мне хотелось только на всякий случай подготовить вас к худшему. Наш капитан — грубая скотина, не человек, а дьявол. Никто не знает, что может вдруг взбесить ему на ум.

И начался волноваться, но она устало прервала меня:

— Да, да, понимаю! — Ей, по-видимому, трудно было сейчас соприкоснуться с мыслями. Я видел, что она вот-вот лишится чувств от изнеможения.

Больше она ни о чем не спрашивала, и я, воздержавшись от дальнейших замечаний, приступил к исполнению распоряджений Иокотаммы. Ларсена и постарался устроить ее поудобнее. Я хлопотал вокруг нее, как заботливая хозяйка: достал из аптечки мазь от ожогов, велел Томасу Магиджу убрать свободную каюту и, совершив налет на личные запасы Волка Ларсена, извлек оттуда бутылку портвейна.

Мистер быстро крепчал, крен увеличился, и к тому времени, когда каюта была готова, «Призрак» уже стрелой летел по волнам. Я совершенно забыл о существовании Лича и Джонсона и был как громом поражен, когда через открытый люк донесся возглас: «Шлюпка интердик!» Сомнений быть не могло — это кричал Смок с матчы. Я бросил взгляд на женщину: она сидела смертельно усталая, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза. Я сомневался даже, слышала ли она крик Смока, и решил, что не допущу, чтобы она стала свидетельницей зверств, которые неминуемо должны были последовать за поимкой беглецов. Она устала — и отлично! Пусть спит!

На палубе раздались резкие слова команды, послышался топот ног, захоптели риф-штерты, и «Призрак» лег на другой галс. При внезапном повороте шхуна накренилась, кресло начало скользить

по полу, и я едва успел подхватить задремавшую женщину, чтобы не дать ей свалиться на пол.

Она приоткрыла глаза и сонно и недоуменно взглянула на меня. Я повел ее в приготовленную ей каюту. Она еле передвигала ноги и спотыкалась на каждом шагу. Магридж гадко осклабился, когда я выводил его из каюты и приказал ему вернуться к своим обязанностям. Он расквитался со мной, расписав охотникам, какой прекрасной камеристкой я оказался.

Наша новая пассажирка, когда я вел ее, тяжело опиралась на мою руку и, кажется, начала засыпать, еще не дойдя до своей каюты. Да, конечно, она спала на ходу, и когда шхуну резко качнуло, не устояла на ногах и упала на койку. Потом приподняла голову, улыбаясь и снова потруziuлась в сон. Я оставил ее спящей под двумя толстыми матросскими одеялами; голова ее покоилась на подушке, которую я взял с койки Волка Ларсена.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Поднявшись на палубу, я увидел, что «Призрак» догоняет с наветренной стороны знаменитую мне парусную шлюпку, идущую против ветра тем же галсом, что и мы, но чуть правее. Вся команда была на палубе, все ждали, что произойдет, когда Линча и Джонсона поднимут на борт.

Пробило четыре склянки. Луис пришел на корму сменить рулевого. Воздух был влажен, и я заметил, что Луис надел клеенчатую куртку и штаны.

— Что нас ожидает на этот раз? — спросил я его.

— Судя по всему, сэр, — отвечал он, — небольшой шторм с дождем — как раз хватит, чтобы промочить нам жабры.

— Какая досада, что у нас заметили шлюпку! — сказал я.

Большая волна, ударив в нос шхуны, повернула ее примерно на руб, и шлюпка на миг мелькнула между клиперами.

Луис перехватил ручки штурвала и, помогая, сказал:

— А мне думается, они все равно не добрались бы до берега, сэр.

— Не добрались бы? — переспросил я.

— Нет, сэр. Видели? — Порыв ветра накренил шхуну и заставил Луиса быстро завернуть штурвал. — Через час начнется такое, — продолжил он, — что им на своей скорлупе несдобровать. Им еще повезло, что мы подоспели вовремя и можем их подбрать.

Волк Ларсен разговаривал на палубе со спасенными моряками, потом поднялся на ют. В его походе больше обычного чувствовалось что-то кошачье, а в глазах вспыхивали холодные огоньки.

— Три смазчика и механик, — сказал он вместо приветствия. — Но мы из них сделаем матросов или хотя бы гребцов. Ну, а как там эта особа?

Не знаю почему, но когда Ларсен заговорил о спасенной женщине, его слова полонули меня, словно ножом. Сознавая, как глупо быть таким сентиментальным, я все же не мог избавиться от сильного ощущения и в ответ только пожал плечами.

Волк Ларсен протяжно и насмешливо свистнул.

— Как ее зовут? — резко спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — Она спит. Очень утомлена. По правде говоря, я рассчитывал узнать что-нибудь от вас. С какого они судна?

— С почтового пароходника «Город Токио», — буркнул он. — Шел из Фриско в Йокотаму. Тайфун доконал это старое корыто — потело, как решето. Их носило по волнам четверо суток. Так вы не знаете, кто она — девица, замуженная дама или вдова? Ну, ну...

Он смотрел на меня, насмешливо прищурившись и покачивая головой.

— А вы... — начал я. У меня чуть не сорвался с языка вопрос, соберется ли он доставить потерпевших кораблекрушение в Йокотаму.

— А я?... — переспросил он.

— Как вы намерены поступить с Линч и Джонсоном?

— Не знаю, Хэмп, не знаю. Видите ли, с этими четверьками у меня теперь достаточно людей.

— А Джонсон и Линч достаточно натерпелись при попытке бежать, — сказал я. — Отчего бы вам не изменить свое отношение к ним? Возьмите их на борт и попробуйте обходиться с ними мягче. Что бы там они ни сделали, их до этого довели.

— Кто? Я?

— Да, вы, — отвечал я, не колеблясь. — И предупреждаю вас, Ларсен, если вы будете по-прежнему издеваться над этими беднягами, я могу забыть все, даже свою любовь к жизни, и убить вас.

— Браво! — воскликнул он. — Я горжусь вами, Хэмп.

Вы превосходно научились стоять на ногах. Я вижу перед собой вполне самостоятельную личность! До сих пор вам не везло: жизнь ваша протекала слишком легко, — но теперь вы подаете надежды. Таким вы мне нравитесь куда больше.

Внезапно тон его изменился, лицо стало серьезным.

— Верите ли вы людям на слово? — спросил он. — Считаете ли, что слово священо?

— Конечно, — подтвердил я.

— Так вот, предлагаю вам соглашение, — продолжал этот неподражаемый актер. — Если я дам слово не притронуться пальцем к Линчу и Джонсону, обещаете ли вы, в свою очередь, отказаться от

попыток убить меня? Только не подумайте, что я боюсь вас, нет, нет, не воображайте! — поспешно добавил он.

Я едва мог поверить своим ушам, — что это вдруг на него нашло?

— Идет? — нетерпеливо спросил он.

— Идет, — отвечал я.

Он протянул мне руку, и я с жаром пожал ее, но в глазах у него — и мог бы поклясться — промелькнула издевка.

Мы перешли на подветренную сторону юта. Шлюпка была совсем близко, и я увидел, что положение ее поистине отчаянное. Джонсон сидел на руле, Линч вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее их. Волк Ларсен поддал Ллуису знак отклониться немного в сторону, и мы пронеслись в каких-нибудь двадцати футах от шлюпки с наветренной стороны. На мгновение «Призрак» закрыл ее от ветра. Парус на шлюпке захлопал, она потеряла скорость и стала прямо, что заставило матросов поспешно отодвигаться от борта. Тут нас подхватила огромная волна, а шлюпка скользнула вниз.

В это мгновение Линч и Джонсон взглянули в лица своим товарищам, столпившимся у борта. Но никто со шхуны не послал им приветствия. В глазах команды те двое были уже мертвецами, про странство воды, отделявшее их от нас, было как бы рубежом между жизнью и смертью.

Через миг они очутились против юта, где стояли мы с Волком Ларсеном. Теперь уже шхуна скользнула вниз, а шлюпка взлетела на гребень волны. Джонсон посмотрел на меня, и я увидел его измученное, осунувшееся лицо. Я помахал ему рукой, и он ответил мне, но в этом жесте было глубокое отчаяние. Он словно прощался со мной. Мне не удалось встретиться глазами с Линчем, — он смотрел на Волка Ларсена, а лицо его, как и следовало ожидать, было перекослено от ненависти.

Еще мгновение, и шлюпка оказалась уже за кормой. Парус тотчас наполнился ветром и так накренил угловое суденышко, что оно чуть не перевернулось. Гребень огромной волны навис над шлюпкой и обрушил на нее шапку белоснежной пены. Потом полузатопленная шлюпка вынырнула: Линч поспешно вычерпывал воду, а Джонсон с бледным, испуганным лицом судорожно сжимал в руке кормовое весло.

Волк Ларсен резко расхохотался, словно пропал над самым моим ухом, и перешел на наветренную сторону юта. Я ожидал, что он велит лечь в дрейф, но шхуна продолжала идти вперед, а он не подавал никакой команды. Луис невозмутимо стоял у штурвала, но я заметил, что столпившиеся на носу матросы с беспокойством поглядывают в нашу сторону. «Призрак» мчался все вперед и вперед, и шлюпка превратилась уже в еле заметную точку, когда раздался голос Волка Ларсена — матросы получили приказания сделать поворот на правый галс.

Мы пошли назад по ветру наветренчу борвейшей с волнами шлюпке, но милях в двух от нее была отдана новая команда спустить бом-кливер и лечь в дрейф. Промысловые лодки не приспособлены лавировать против ветра. Весь расчет строится на том, что в море они находятся с наветренной стороны, и когда ветер крепчает, он гонит их прямо к шхуне. Но теперь, среди разгулившей стихии, у Линча и Джонсона не было иного выхода, как искать убежища на «Призраке», и они вступили в отчаянную борьбу, направив шлюпку против ветра. При такой волне они с трудом пробивались вперед. Каждую минуту им грозила гибель среди разъяренных валов. Снова и снова видели мы, как лодка зарывалась носом в белопенные гребни и ее, словно щепку, отбрасывает назад.

Но Джонсон был превосходным моряком и со шлюпкой умел управляться не хуже, чем со шхунной. Часа через полтора он почти поравнялся с нами и прошел у нас за кормой, рассчитывая следующим галсом подойти к шхуне.

— Значит, вы передумали? — услышал я голос Волка Ларсена и не понял, то ли он бормочет про себя, то ли обращается к людям в шлюпке, словно они могут его услышать. — Вы не прочь вернуться на шхуну, а? Ну что ж, попытайтесь, попытайтесь!

— Руль под ветер! — командовал он Уфти-Уфти, который тем временем сменил Луиса.

Команда следовала за командой. Потравили фока и грота-шкоты, и шхуна, прыгая по волнам, быстро рванулась вперед с сильным попутным ветром, как раз в ту минуту, когда Джонсон, пренебрегая опасностью, потравил шкот и прошел у нас за кормой футах в ста. Волк Ларсен снова громко рассмеялся и помахал рукою, приглашая

шлюпку следовать за нами. Его намерение было очевидно — он решил поиграть с ними, думал я, дать им хороший урок вместо поноса. Но это был очень опасный урок, так как шлюпку в любую минуту могло захлестнуть волной.

Джонсон быстро повернул шлюпку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось. Смерть подстерегала их со всех сторон. Рано или поздно одна из этих огромных волн обрушится на шлюпку, перекинет ее через нее, и все будет кончено.

— То-то им сейчас, поди, тошно у смерти-то в лапах, — шепнул мне Луис, когда я проходил мимо, чтобы отдать приказ убирать бом-кливер и стаксель.

— Ну, он скоро ляжет в дрейф и подберет их, — бодро сказал я. — Решил, как видно, проучить их.

Луис многозначительно посмотрел на меня.

— Вы так думаете? — спросил он.

— Конечно, — отвечал я. — А вы?

— Я теперь думаю только об одном — о собственной шкуре, — был его ответ. — И не перестаю удивляться, как все складывается. В хорошую историю попал я из-за лишнего стаканчика в Фриско. Но вы-то испугались и того хуже — из-за этой дамочки. Будто я вас не знаю! Видели мы таких простаков!

— Что вы хотите этим сказать? — поспешно спросил я, так как, выпустив этот заряд, он уже двинулся прочь.

— Что я хочу сказать? — воскликнул он. — Не вам бы об этом спрашивать! Неважно, что хочу сказать я, важно, что скажет Волк. Волк, да, да, Волк!

— Если заварится каша, вы будете на моей стороне? — невольно вырвалось у меня, ибо он выразил то, чего в душе боялся я сам.

— На вашей стороне? Я буду на стороне старого, толстого Луиса.

Это еще все пустяки, только начало, говорю вам.

— Не думал я, что вы такой трус, — укорил я его.

Он окинул меня презрительным взглядом.

— Если я пальцем не пошевелил, чтобы помочь этому дуруно, — он кивнул в сторону крошечного паруса где-то там за кормой, — так неужто вы думаете, что я дам проломить себе башку из-за какой-то дамочки, которой и в глаза-то не видел?

Я отвернулся, возмущенный, и пошел на корму.

— Уберите топселя, мистер Ван-Вейден, — сказал мне Волк Ларсен, когда я поднялся на ют.

Услышав это приказание, я несколько успокоился за судьбу бесплецов. Было ясно, что капитан не имеет намерения слишком удаляться от них. Эта мысль приободрила меня, и я быстро исполнил его распоряжение. Едва успел я отдать команду, как одни матросы уже бросились к фалам и нирадам, а другие полезли вверх по вантам. Волк Ларсен заметил их усердие и мранно улыбнулся. И все же расстояние между шхуной и шлюпкой продолжало увеличиваться, и только когда шлюпка отстала на несколько миль, мы легли в дрейф и стали поджидать ее. Все с тревогой следили за ее приближением. Один Волк Ларсен оставался невозмутим. Даже у Луиса, пристально вглядывавшегося вдаль, отразилось на лице беспокойство, которого он не сумел скрыть.

Шлюпка подошла все ближе и ближе, точно живое существо, рывками пробираясь среди зеленых бурищных волн. Она то расклевывалась на гребнях огромных валов, то скрывалась из глаз, чтобы через секунду снова взлететь на гребень. Казалось непостижимым, что она еще цела, и всякий раз ее появление, сопровождавшееся очередным топовококружительным взлетом, воспринималось как чудо. Налетел шквал с дождем, и из-за колышущейся водяной завесы вдруг вынырнула шлюпка — почти ровень с нами.

— Руль на борт! — заорал Волк Ларсен и, бросившись к штурвалу, сам резко повернул его.

И снова «Призрака» рванулся вперед и помчался по ветру, и еще в продолжение двух часов Джонсон и Лич тнались за нами. А мы опять ложились в дрейф и потом вновь уносились вперед; и все это время лоскут паруса метался где-то за кормой, то взлетая к небу, то проваливаясь в пучину. Он был от нас всего в четверти мили, когда налетел новый шквал и за пеленой дождя парус совсем скрылся из глаз. Больше мы его не видели. Ветер разогнал облака, но уже нигде среди волн не маячил жалкий обрывок паруса. На миг мне показалось, что на высоком гребне мелькнуло черное днище шлюпки. И это было все. Земные труды Джонсона и Лича пришли к концу.

Команда продолжала топиться на палубе. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди не осмеливались взглянуть друг друга в глаза. Все, казалось, были так ошеломлены слу-

шались, что не могли еще прийти в себя, осознать до конца то, что произошло. Но Волк Ларсен не оставил им времени на размышления. Он сразу же приказал положить шхуну на курс — и не на Юнгаму, а на котиковые лежбища. Теперь, натягивая снасти, матросы работали вяло, угрюмо, и я слышал, как с губ их срывались проклятия, такие же угрюмые и вялые. Другое дело охотники. Неунывающие Смок уже принялся рассказывать какую-то историю, и они сместились в свой кубрик, дружно готовя.

Направляясь на корму, я увидел спасенного нами механика. Он шепнул ко мне: лицо его было бледно, губы дрожали.

— Помилуй бог, сэри! На какое судно мы попали? — воскликнул он. — Вы не слепой, сами все видели, — ответил я почти грубо, так как сердце у меня сжималось от боли и страха.

— Где же ваше обещание? — обратился я к Волку Ларсену.

— Я ведь не обещал взять их на борт, я вовсе не имел этого в виду, — отозвался он. — И как-никак вы должны признать, что я «и пальцем и ним не притронулся».

И, рассмеявшись, он повторил:

— Нет, нет, я и пальцем к ним не притронулся! Я промолчал. Я был слишком ошеломлен и не мог вымолвить ни слова. Мне надо было собраться с мыслями. Я чувствовал на себе ответственность за женщину, которая спала сейчас там, внизу в каюте, и отчетливо сознавал только одно: нельзя действовать опрометчиво, если я хочу хоть чем-нибудь быть ей полезен.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

День закончился без новых происшествий. Небольшой шторм, «промочив нам жабры», начал затихать. Механик и трое смазчиков после горячей перепалки с Волком Ларсеном были все же распределены по шлюпкам под начало охотников и назначены на вахты на шхуне, для чего их экипировали в разное старье, отыскавшиеся на складе. После этого, продолжая протестовать, хотя и не очень громко, они спустились в кубрик на баке. Они были уже основательно напуганы тем, что им привелось наблюдать, и характер Волка Ларсена становился им в какой-то мере ясен, а то, что они услышали здесь о капитане от матросов, окончательно отбило у них охоту бунтовать.

Мисс Брустер — имя ее мы узнали от механика — все еще спала. За ужином я попросил охотников говорить мне, чтобы не потревожить ее. Она вышла из своей каюты лишь на следующее утро. Я было распорядился, чтобы ей подавали отдельно, но Волк Ларсен тотчас наложил на это запрет.

— Кто она такая, — заявил он, — чтобы гнушаться кают-компаний?

Появление нашей пассажирки за столом привело к довольно комичным результатам. Охотники тотчас примолкли, точно воды в рот набрали. Только Хорнер и Смок не проявляли смущения: они украдкой поглядывали на пассажирку и даже пытались принять участие в разговоре. Остальные четверо уткнулись в свои тарелки и жевали задумчиво и не торопясь, ушли их двигались в такт с челюстями, как у животных.

Вначале Волк Ларсен говорил мало, разве что отвечал на вопросы. Непльзя сказать, чтобы он был смущен, — отнюдь нет. Но в мисс Брустер он видел женщину нового для него типа, незнакомой ему породы, и его любопытство было задето. Он внимательно изучал ее — почти не отрывая глаз от ее лица или следил за движениями ее рук и плеч. Сам я тоже наблюдал за нею, и хотя разговор, в сущно-

сти, поддерживал один я, мне трудно было избавиться от некоторого чувства робости и растерянности. Волк Ларсен, напротив, держался совершенно непринужденно. Он был исполнен такой уверенности в себе, которую ничто не могло поколебать. Женщина он боялся ничуть не больше, чем шторма или драки.

— Когда же мы будем в Йокотаме? — спросила она вдруг, повернувшись к капитану и взглянув ему прямо в глаза.

Вопрос был задан без обиняков. Все челюсти сразу перестали жевать, уши перестали шевелиться, и хотя глаза у всех по-прежнему были устремлены в тарелки, каждый ждал ответа с напряженным и жадным вниманием.

— Месяца через четыре, а может, и через три, если сезон окончится рано, — ответил Волк Ларсен.

Она нервно глотнула и неуверенно проговорила:

— А я считала... мне сказали, что до Йокотамы всего одни сутки пути. Вы... — Она загнулась, и глаза ее бежали круг ничего не выражающих лиц, склоненных над тарелками. — Вы не имеете права так поступать, — закончила она.

— Этот вопрос вам лучше обсудить с мистером Ван-Вейденом, — промолвил капитан, насмешливо кивнув в мою сторону. — Он у нас специалист по вопросам Права. А я простой моряк и смотрю на дело иначе. Вам, быть может, покажется несчастьем то, что вы должны остаться с нами, но для нас это, несомненно, большое счастье.

Он, улыбаясь, глядел на нее, и она опустила глаза, но тут же снова подняла их и с вызовом посмотрела на меня. Я прочел в ее взгляде немой вопрос: прав ли он? Но я уже заранее решил, что должен для виду занимать нейтральную позицию, и промолчал.

— Каково ваше мнение? — спросила она.

— Вам не повезло, особенно если вас ждут сейчас неотложные дела. Но раз вы говорите, что предприняли путешествие в Японию с целью поправить здоровье, то, смею вас уверить, на борту «Прирак» вы окрепнете как нигде.

В ее взгляде вспыхнуло недоумование, и на этот раз потупиться пришлось мне; я чувствовал, что у меня горят щеки. Я вел себя, как пус, но другого выхода не было.

— Ну, тут мистеру Ван-Вейдену и карты в руки, — рассмеялся Волк Ларсен.

Я кивнул, а мисс Брустер уже овладела собой и молча ждала, что последует дальше.

— Нельзя сказать, чтобы он стал здоровяком, — продолжал Волк Ларсен, — но он изменился к лучшему, поразительно изменился. Посмотрели бы вы на него, когда он только появился на шхуне. Жалкий, шупленький человечек — смотреть не на что. Верно, Керфут? Керфут был так захвачен врасплох этим неожиданным обращением к нему, что уронил на пол нож и аромывал в знак согласия что-то маловероятное.

— Чистка картофеля и мытье посуды пошли ему впрок. Так, что ли, Керфут?

Сей достойный муж снова что-то промычал.

— Поглядите на него сейчас. Сианом его, правда, не назовешь, но все же у него появились мускулы, чего раньше и в помине не было. И теперь он довольно твердо стоит на ногах. А вначале, поверите ли, совершенно не мог обходиться без посторонней помощи. Охотники посмеивались, но сочувственный взгляд девушки вознаградил меня с лихвой за все издевательства Волка Ларсена. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что теперь оно глубоко тронуло меня, и я сразу стал ее добровольным рабом. Но на Волка Ларсена я был зол. Своими оскорблениями он бросал вызов моему мужскому достоинству, как бы подстрекая меня доказать, насколько твердо я стою на ногах, — ведь этим, по его словам, я был обязан ему.

— Возможно, что стоять на ногах я уже научился, — отпаривал я, — а вот попирать людей ногами — к этому еще не привык. Он пренебрежительно поглядел на меня.

— Значит, ваше перевоспитание еще далеко не закончено, — сухо оборонил он и повернулся к мисс Брустер: — Мы здесь на «Призраке» очень гостеприимны. Мистер Ван-Вейден уже убедился в этом. Мы идём на все, лишь бы наши гости чувствовали себя как дома. Не так ли, мистер Ван-Вейден?

— Даже разрешаете им чистить картофель и мыть посуду, не говоря уже о том, что порой хватаете их за горло в знак особого дружеского расположения.

— Боюсь, что со слов мистера Ван-Вейдена вы можете составить себе превратное представление о нас, — с приторным беспокойством

он перебил меня Волк Ларсен. — Заметьте, мисс Брустер, что он не имеет на вас тесак, а это, гм, вещь довольно необычная для полинезийца капитана. Вообще мистер Ван-Вейден человек, достойный человеческого уважения, но иногда он, как бы это сказать, бывает довольно неуживчив, и тогда приходится прибегать к крутым мерам. Впрочем, в спокойные минуты он достаточно рассудителен и миролюбив, как, например, сейчас, и, вероятно, не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня.

Я чуть не задохнулся от возмущения, и глаза мои, верно, пылали. Ларсен указал на меня.

— Вот, посмотрите на него! Он еле сдерживается, даже в вашем присутствии. Конечно, он не привык к женскому обществу! Придет и мне вооружиться, иначе я не рискну выйти вместе с ним на палубу.

— Прискорбно, прискорбно, — помогая, пробормотал он, в то время как охотники покатывались со смеху.

Осипшие от морского ветра голоса этих людей и раскаты их грубого хохота звучали зловеще и дико. Да и все кругом было диким. И, глядя на эту женщину, такую далеко и чуждую всем нам, я впервые осознал, насколько сам я сжился с этой средой. Я успел хорошо узнать этих людей, узнать их мысли и чувства: я стал одним из них, жил их жизнью — жизнью морских промыслов, питался, как все на морских промыслах, и был погружен в те же заботы. И это уже не казалось мне странным, как Не казалась странной эта грубая одежда и грубые лица, дикий смех, ходившие ходуном переборки каюты и раскатывальные лампы.

Намазывая маслом ломоть хлеба, я случайно остановил взгляд на своих руках. Суставы были ободраны в кровь и воспалены, пальцы распухли, под ногтями грязь. Я знал, что оброс густой щетиной этой бородой, что рукав моей куртки лопнул по шву, что у ворота грубой синей рубахи не хватает пуговицы. Тесак, о котором упоминал Волк Ларсен, висел в ножнах у пояса. До сих пор это казалось мне вполне естественным, и только сейчас, взглянув на все глазами Мода Брустера, я понял, насколько дикий, должно быть, у меня вид — и у меня и у всех окружающих.

Она почувствовала насмешку в словах Волка Ларсена и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но я заметил, что она смущенно

на. Ироническое отношение ко мне Волка Ларсена заставило ее еще больше встревожиться за свою судьбу.

— Быть может, меня возьмет на борт какое-нибудь встречное судно? — промолвила она.

— Никаких судов, кроме охотничьих шхун, вы здесь не встретите, — возразил Волк Ларсен.

— Но у меня нет одежды, нет ничего необходимого, — сказала она. — Вы, верно, забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той кочевой жизни, которую, по-видимому, ведете вы и ваши люди.

— Чем скорее вы привыкнете к ней, тем лучше, — отвечал Волк Ларсен.

— Я дам вам материю, нитку и иглу, — помолчав, добавил он. — Надеюсь, для вас не составит слишком большого труда сшить себе одно-два платья.

Она криво усмехнулась, давая понять, что не искусшена в швейном искусстве. Мне было ясно, что она испугана и сбита с толку, но отчаянно старается не подавать виду.

— Надо полагать, вы, вроде нашего мистера Ван-Вейдена, привыкли, чтобы за вас все делали другие. Думаю все же, что ваше зловреждение не пострадает, если вы будете кое-что делать для себя сами. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь?

Она поглядела на него с нескрываемым изумлением.

— Не в обиду вам будь сказано, но людям ведь надо есть и они должны как-то добывать себе пропитание. Эти вот быют котиков, тем и живут, я управляю своей шхунной, а мистер Ван-Вейден, по крайней мере сейчас, добывает свой харч, помогая мне. А вы чем занимаетесь?

Она покачала плечами.

— Вы сами кормите себя? Или это делает за вас кто-то другой?

— Боюсь, что большую часть жизни меня кормили другие, — засмелась она, мужественно стараясь попасть ему в тон, но я видел, как в ее глазах, которые она не сводила с него, растет страх.

— Верно, и постель вам стлали другие?

— Мне случалось и самой делать это.

— Часто? Она покачала головой с шутливым раскаянием.

— А вы знаете, как поступают в Соединенных Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на хлеб?

— Я очень невежественная, — жалобно проговорила она. — Что же там делают с такими, как я?

— Скажут в тюрьму. Их преступление заключается в том, что они не зарабатывают на пропитание, и это называется бродяжничеством. Будь я мистером Ван-Вейденом, который вечно расуждает о том, что справедливо и что нет, я бы спросил вас: по какому праву вы живете на свете, если вы не делаете ничего, чтобы оправдать свое существование?

— Но вы не мистер Ван-Вейден, и я не обязана отвечать вам, не так ли?

Она насмешливо улыбнулась, хотя в глазах у нее по-прежнему стоял страх, и у меня сжалось сердце — так это было трогательно. Я чувствовал, что должен вмешаться и направить разговор в другое русло.

— Заработали вы хоть доллар собственным трудом? — тоном торжествующего обличителя спросил капитан, заранее уверенный в ее ответе.

— Да, заработала, — отвечала она не спеша, и я чуть не расхохотался, увидев, как вытянулось лицо Волка Ларсена. — Помните, когда я была совсем маленькой, отец дал мне доллар за то, что я целых пять минут просидела смирно.

Он снисходительно улыбнулся.

— Но это было давно, — продолжала она, — и вряд ли вы станете требовать, чтобы девятилетняя девочка зарабатывала себе на хлеб.

И, немного помедлив, она добавила:

— А сейчас я зарабатываю около тысячи восьмисот долларов в год.

Все, как по команде, оторвали глаза от тарелок и уставились на нее. На женщину, зарабатывающую тысячу восьмисот долларов в год, стоило посмотреть!

Волк Ларсен не скрывал своего восхищения.

— Это жалованье или сдельно? — спросил он.

— Сдельно, — тотчас ответила она.

— Тысяча восьмисот. Полтора десятка долларов в месяц, — подчитал он. — Ну что ж, мисс Брустер, у нас здесь на «Призраке» широкий размах. Считайте себя на жалованье все время, пока вы остаетесь с нами.

Она ничего не ответила. Неожиданные выверты этого человека были для нее еще новее, и она не знала, как к ним отнестись.

— Я забыл спросить о вашей профессии, — вкрадчиво продолжал он. — Какие предметы вы изготавливаете? Какие вам потребуются материалы и инструменты?

— Бумага и чернила, — рассмеялась она. — Ну и, разумеется, пишущая машинка!

— Так вы — Мод Брустер! — медленно и уверенно проговорил я, словно обвиняя ее в преступлении.

Она с любопытством взглянула на меня.

— Почему вы так думаете?

— Ведь я не ошибся? — настаивал я.

Она кивнула. Теперь уже Волк Ларсен был озадачен. Это магическое имя ничего не говорило ему. Я же гордился тем, что мне оно говорило очень много, и впервые за время этой томительной беседы почувствовал свое превосходство.

— Помнится, мне как-то пришлось писать рецензию на маленький томик... — начал я небрежно, но она перебила меня.

— Вы? — воскликнула она. — Так вы...

Она смотрела на меня во все глаза.

Я кивком подтвердил ее догадку.

— Хэмфри Ван-Вейден! — закончила она со вздохом облегчения и, бросив невольный взгляд в сторону Волка Ларсена, воскликнула: — Как я рада!..

Ощутив некоторую неловкость, когда эти слова сорвались у нее с губ, она поспешила добавить:

— Я помню эту чересчур лестную для меня рецензию...

— Вы не правы, — талантливо возразил я. — Говоря так, вы сводите на нет мою беспристрастную оценку и ставите под сомнение мои критерии. А ведь все наши критерии были согласны со мной. Разве Лэнг не отнес ваш «Вынужденный поцелуй» к числу четырех лучших английских сонетов, вышедших из-под пера женщины?

— Но вы сами при этом называли меня американской миссис Мейнелл! [12]

— А разве это неверно?

— Не в том дело, — ответила она. — Просто мне было обидно.

— Незвестное измеримо только через известное, — пояснил я в наилучшей академической манере. — Я, как критик, обязан был тогда определить ваше место в литературе. А теперь вы сами стали мерой вещей. Семь ваших томиков стоят у меня на полке, а рядом с ними две книги потоньше — очерки, о которых я, если позволите, скажу, что они не уступают вашим стихам, причем я, пожалуй, не постыжусь определить, для каких ваших произведений это сопоставление более лестно. Недалеко то время, когда в Англии появится никому не известная поэтеза и критики назовут ее английской Мод Брустер.

— Вы, право, слишком любезны, — мягко проговорила она, и сама успешность этого оборота и манера, с которой она произнесла эти слова, пробудили во мне множество ассоциаций, связанных с моей прежней жизнью далеко, далеко отсюда. Я был глубоко взволнован. И в этом волнении была не только сладость воспоминаний, но и внезапная острая тоска по дому.

— Итак, вы — Мод Брустер! — торжественно произнес я, глядя на нее через стол.

— Итак, вы — Хэмфри Ван-Вейден! — отозвалась она, глядя на меня столь же торжественно и с уважением. — Как все это странно! Ничего не понимаю. Может быть, надо ожидать, что из-под вашего пера выйдет какая-нибудь безудержно романтическая морская история?

— О нет, уверяю вас, я здесь не занимаюсь собиранием материалов, — отвечал я. — У меня нет ни способностей, ни склонности к беллетристике.

— Скажите, почему вы потребили себя в Калифорнии? — спросила она, помолчав. — Это, право, непонятно с вашей стороны. Вас, писателя второго «наставника американской литературы», почти не было видно у нас на Востоке.

Я ответил на ее комплимент поклоном, но тут же возразил:

— Тем не менее я однажды чуть не встретился с вами в Филладелфии. Там отмечали какой-то юбилей Браунинга, и вы выступали с докладом. Но мой поезд опоздал на четыре часа.

Мы так увлеклись, что совсем забыли окружающее, забыли о Миссис Ларсене, безмолвно внимавшем нашей беседе. Охотники подмигивать из-за стола и ушли на палубу, а мы все сидели и раз-

его, как вдруг Магридж подпрыгнул, ухватился за снасти, повис на них и, выбросив вперед обе ноги, утонул подбежавшему Гаррисону в живот. Матрос глухо охнул, согнулся пополам и повалился на палубу.

Охотники приветствовали подвиг кока аплодисментами и взрывом хохота, а Магридж, увернувшись у фок-матты от доброй погодины своих преследователей, опять побежал к корме, проскальзывая между остальными матросами, как нападающий между игроками на футбольном поле. Кок стремительно мчался по юту к корме. Он удирал с такой поспешностью, что, заворачивая за угол рубки, поскользнулся и упал. У штурвала стоял Нилсон, и кок, падая, сполз с юта. Оба покатились по палубе, но встал один Магридж. По странной игре случая, его тшедушное тело не пострадало, а здоровенный матрос при этом столкновении сломал себе ногу.

К штурвалу стал Парсонс, и преследование продолжалось. Магридж, обезумев от страха, носился по всему судну — с носа на корму и обратно. Матросы с криками, с уполоканьем гонялись за ним, а охотники гототали и подбадривали кока. У носового люка на Магриджа навалились было трое матросов, но он тут же, как утор, выскользнул из-под этой кучи тел и с окровавленной губой и разодранной в клочья рубахой — виновницей всех его бед — прыгнул на трот-ванты. Он карабкался все выше и выше, на самую верхушку мачты.

Человек шесть матросов преследовали его до салинга, где части их и осталась, выжидая, а дальше, по тонким стальным штагам, ползли, подтягиваясь на руках, только двое — Уфти-Уфти и Блэк, тресец Лэтимера.

Это было рискованное предприятие: они висели в воздухе в ста футах над палубой, и в таком положении им трудно было защищаться от ног Магриджа. А тот лаялся, и весьма свирепо. Наконец Уфти-Уфти, держась одной рукой, изловчился и схватил кока за ногу; почти тотчас Блэк схватил его за другую ногу, и все трое, сплетясь в один качающийся клубок и продолжая бороться, начали скользить вниз, пока не свалились прямо на руки поджидавших их на салинге товарищей.

Борьба в воздухе окончилась, и Томаса Магриджа спустили на палубу. Он визжал и выкрикивал что-то невнятное, на губах у него

выступила кровавая пена. Волк Ларсен завязал петлю на конце троса и пролезл ее под мышки коку. Затем Магриджа потащили на корму и привалили за борт. Трос начали травить: сорок, пятьдесят, шестьдесят футов, — и только тогда Волк Ларсен крикнул:

— Довольно! Уфти-Уфти закрепил трос. «Призрак» качнуло носом вниз, трос натянулся и вытащил кока на поверхность.

Нельзя было не пожалеть беднягу. Пусть он и не мог утонуть, но ведь даже у него, как у кошки, было «девять жизней», но он испытывал все муки утопающего. «Призрак» шел медленно, когда волна поднимала корму и судно скользило носом вниз, трос вытяскивал несчастного на поверхность и он мог немного отдышаться; но затем судно начинало лениво взбираться на другую волну, корма опускалась, трос ослабевал, и кок снова погружался в воду.

Я совсем забыл о существовании Мод Брустера и вспомнил о ней лишь в ту минуту, когда она внезапно появилась рядом со мной. Она подошла так неслышно, что я вздрогнул от неожиданности, увидев ее. Она впервые показывалась на палубе, и команда встретила ее пробным молчанием.

— Что тут за веселье? — спросила она.

— Спросите капитана Ларсена, — холодно ответил я, стараясь скрывать самообладание, хотя вся кровь во мне закипела при мысли, что женщине предстоит стать свидетельницей этой жестокой потемки.

Мод Брустер повернулась, чтобы последовать моему совету, и натыкался на Уфти-Уфти. Он стоял в двух шагах от нее, держа в руке конец троса, вся его подбранная, настороженная фигура дышала природным изощрением.

— Вы ловите рыбу? — спросила она матроса.

Он не отвечал. Глаза его, внимательно оглядывавшие море за кормой, внезапно расширились.

— Акула, сэр! — крикнул он.

— Тащи! Живо! Берись все разом! — скомандовал Волк Ларсен и сам, опередив других, подскокнул к тросу.

Магридж услышал предостерегающий крик Уфти-Уфти и дико поорал. Я уже мог разглядеть черный плавник, рассекавший воду и настаивавший кока быстрее, чем мы успевали подтачивать его к шкуну. У нас и у акулы шансы были равны — вопрос решали доли

секунды. Когда Магридж был уже под самой кормой, нос шхуны взмыл на гребень волны. Корма опустилась, и это дало преимущество акуле. Плавник скрылся, в воде мелькнуло белое брюхо. Волк Ларсен действовал почти столь же стремительно. Всю свою силу он вложил в один могучий рывок. Тело кока взвилось над водой, а за ним высунулась голова хищника. Магридж поджал ноги. Акула, казалось, едва коснулась одной из них и тут же с всплеском ушла под воду. Но в этот миг Томас Магридж издал пронзительный вопль. В следующую секунду он, как пойманная на удочку рыба, перелетел через борт, упал на четвереньки и перекувырнулся раза два.

На палубу брызнул фонтан крови. Правой ступни Магриджа как не бывало: акула отхватила ее по самую щиколотку. Я взпятился на Мод Брустер. Ее лицо побелело, глаза расширились от ужаса. Но она смотрела не на Томаса Магриджа, а на Волка Ларсена. Он замесил это и сказал с обычным коротким смешком:

— У мужчин свои развлечения, мисс Брустер. Может, они грубее, чем те, к которым вы привыкли, но это наши, мужские развлечения. Акула не входила в расчет. Она...

В этот миг Магридж приподнял голову и, оценив размеры своей потери, переполз по палубе и со всей мочи впился зубами в ногу капитана. Ларсен спокойно нагнулся и большим и указательным пальцами сдвинул ему шею чуть пониже ушей. Челости кока медленно разжались, и Ларсен высвободил ногу.

— Как я уже сказал, — продолжал он, будто ничего не произошло, — акула не входила в расчет. То была... ну, скажем, воля providения! Мод Брустер словно не слышала его слов, но в глазах у нее появилось новое выражение — гнева и отвращения. Она хотела уйти, сделала шага два, пошатнулась и протянула ко мне руку. Я подхватил ее и усадил на палубу рубки. Я боялся, что она лишится чувств, но она овладела собой.

— Принесите турникет, мистер Ван-Вейден! — крикнул Волк Ларсен.

Я колебался. Губы мисс Брустер зашевелились, и, хотя она не могла вымолвить ни слова, ее глаза ясно приказывали мне прийти на помощь пострадавшему.

— Прошу вас! — собравшись с силами, пробормотала она, и я не мог отслушаться.

Я уже приобрел некоторый навык в хирургии, и Волк Ларсен, да мне в помощь двоих матросов и сделав несколько указаний, тут же занялся другим делом — он решил отомстить акуле. За борт бросили на тросе массивный крюк, насадив на него в качестве приманки жирный кусок солонины. Я едва успел захватить Магриджу все поврежденные вены и артерии, как матросы, помогая себе песней, уже вытаскивали провинившегося хищника из воды.

Я не видел, что происходило у грот-мачты, но мои «ассистенты» поочередно бегали туда поглядеть. Шестнадцатифутовую акулу подтащили к грот-вантам. Рычатами ей до предела раздвинули челюсти, вставили в пасть заостренный с обоих концов крепкий кол, и челюсти уже не могли сомкнуться. После этого, вытаскив из пасти засевший там крюк, акулу бросили в море. Все еще полная сил, но совершенно беспомощная, она была обречена на медленную голодную смерть, которой заслуживала куда меньше, чем человек, придумавший для нее эту кару.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда Мод Брустер направилась ко мне, я уже знал, о чем пойдет речь. Минут десять я наблюдал, как она толкует о чем-то с механиком, и теперь молча поманил ее в сторону, подавляше от рулевого. Лицо ее было бледно и решительно, глаза, расширившиеся от волнения, казались особенно большими и смотрели на меня испытующе. Я почувствовал какую-то робость и даже страх, так как знал, что она хочет загнать в душу Хэмфри Ван-Вейдена, а Хэмфри Ван-Вейден едва ли мог особенно гордиться собой, с тех пор как ступил на борт «Призрака».

Мы подошли к краю юта, и девушка повернулась и взглянула на меня в упор. Я осмотрелся: не подслушивают ли нас.

— В чем дело? — участливо спросил я, но лицо ее оставалось все таким же решительным и суровым.

— Я готова допустить, — начала она, — что утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я только что говорила с мистером Хэскинсом. Он рассказал мне, что в тот день, когда нас спасли, в то самое время, когда я спала в каюте, двух человек утопили, преднамеренно утопили, попросту говоря — убили.

В голосе ее звучал вопрос, и она все так же смотрела на меня в упор, словно обвиняя в этом преступлении или по крайней мере в соучастии в нем.

— Вам сказали правду, — ответил я. — Их действительно убили.

— И вы допустили это! — воскликнула она.

— Вы хотите сказать, что я не мог этого предотвратить? — мягко возразил я.

— Но вы пытались? — Она сделала ударение на «пытались»; в голосе ее звучала надежда. — Да нет, вы и не пытались! — тут же добавила она, предвосхитив мой ответ. — Но почему же?

Я пожал плечами.

— Не забывайте, мисс Брустер, что вы еще совсем недавно попали сюда и не знаете, какие тут царят законы. Вы принесли с собой

некие высокие понятия о туманности, чести, благородстве и тому подобных вещах. Но вы скоро убедитесь, что здесь им нет места. — И, помолчав, я добавил с невольным вздохом: — Мне уже пришлось убедиться в этом.

Она недоверчиво покачала головой.

— Чего же вы хотите? — спросил я. — Чтобы я взял нож, ружье или топор и убил этого человека?

Она испуганно отшатнулась.

— Нет, только не это!

— Так что же? Убить себя?

— Почему вы все говорите только о физическом воздействии? — морщила она. — Ведь существует еще духовное мужество, и оно всегда оказывало свое влияние.

— Так, — улыбнулся я. — Вы не хотите, чтобы я убивал его или себя, но хотите, чтобы я позволил ему убить меня.

И, не дав ей возразить, я продолжал:

— Духовное мужество — бесполезная добродетель в этом крохотном плавающем мире, куда мы с вами попали. У одного из убитых, Лина, это мужество было развито необычайно сильно. Да и у второго, у Джонсона, — тоже. И это не принесло им добра — наоборот, погубило их. Такая же судьба ждет и меня, если я вздумано проявить то небольшое мужество, которое еще во мне осталось. Вы должны понять, мисс Брустер, понять раз и навсегда, что Ларсен — это не человек, а чудовище. Он лишен совести. Для него нет ничего святого. Он не останавливается ни перед чем. По его прихоти меня насильно задержали на этой шхуне, и только по его прихоти я пока еще цел. Я ничего не предпринимаю и не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня, потом, что я хочу жить, как и вы хотите жить и еще потому, что я не в состоянии бороться и победить его, как и вы этого не можете.

Она молчала, ожидая, что я скажу еще.

— Что же остается? Я в положении слабого. Я молчу и терпеливо унижения, как и вам придется молчать и терпеть. И это разумно. Это лучшее, что мы можем сделать, если хотим жить. Победа не всегда достается сильному. У нас не хватит сил, чтобы открыто бороться с ним. Значит, мы должны действовать иначе и постараться победить его хитростью. И вы, если захотите последовать моему

совету, должны будете поступать так. Я знаю, что мое положение опасно, но ваше, скажу вам откровенно, — еще опаснее. И мы должны стоять друг за друга и действовать сообща, но хранить наш союз в тайне. Может случиться, что я не смогу открыто поддерживать вас; точно так же и вы должны молчать при любых оскорблениях, которые могут выпасть на мою долю. Нельзя перечить этому человеку и раздражать его. Как бы это нам ни претило, мы должны улыбаться и быть любезны с ним.

— Все же я не понимаю... — сказала она и с растерянным видом провела рукой по лбу.

— Послушайтесь меня, — решительно произнес я, заметив, что Волк Ларсен, который расхаживал по палубе, разговаривая с Лэтимером, начал поглядывать в нашу сторону. — Послушайтесь меня, и вы очень скоро убедитесь, насколько я прав.

— Так что же мне все-таки делать? — спросила она, заметив тревожный взгляд брошенный мною на Волка Ларсена, и, по-видимому, подавшись силе моих убеждений, что не могло не польстить мне.

— Прежде всего оставьте мысль о духовном мужестве, — поспешно сказал я. — Не восстанавливайте этого зверя против себя. Держитесь с ним приветливо, беседуйте о литературе и искусстве — такие темы он очень любит. Вы увидите, что он внимательный слушатель, и отнюдь не дурак. И ради самой себя старайтесь не присутствовать при всевозможных зверствах, которые частенько повторяются на этом судне. Тогда вам легче будет играть свою роль.

— Так я должна лгать? — с возмущением произнесла она. — Лгать словами и поступками?

Волк Ларсен отошел от Лэтимера и направился к нам. Я был в отчаянии.

— Умоляю вас, поймите меня, — торопливо проговорил я, понизив голос. — Весь ваш жизненный опыт здесь ничего не стоит. Вы должны все начинать сызнова. Да, я знаю, я вижу, что вы привыкли взглядом подчинять себе людей. Я читал в ваших глазах большое духовное мужество, и вы уже подчинили себе меня, повелевали мной. Но не пытайтесь воздействовать таким путем на Волка Ларсена, — он только посмеется над вами. Скорее вам удалось бы укротить льва. Он станет... Я всегда гордился тем, что открыл этот талант, —

внезапно свернул я разговор на другое, заметив, что Ларсен уже подошел к ют и приближается к нам. — Редакторы побавались его, издатели слышать о нем не хотели. Но я оценил его сразу и не ошибся: его гений показал себя в полном блеске, когда он выступил со своей «Кузнице».

— И подумать только, что это газетные стихи! — ловко подхватила мисс Брустер.

— Да, они действительно впервые увидели свет в газете, — подмигнул я, — но отнюдь не потому, что редакторам журналов не удалось раньше познакомиться с ними.

— Мы толковали о Гариесе, — пояснил я, обращаясь к Волку Ларсену.

— А! — проронил он. — Помню я эту «Кузницу». Всякие красивые чувства и несокрушимая вера в иллюзии. Кстати, мистер Ван-Вейден, заглянули бы вы к нашему коку. Он вост от боли и мечется на койке.

Так меня бесцеремонно спровадили с юта к Магриджу; Магридж лежал, погруженный в крепкий сон после хорошей дозы морфия, которую я сам же ему дал. Но я не стал торопиться обратно на палубу, а когда поднялся, то почувствовал некоторое удовлетворение, увидев, что мисс Брустер оживленно беседует с капитаном. Значит, она все-таки последовала моему совету. Повторяю, я был доволен. И вместе с тем несколько оторчен и уязвлен: итак, она оказалась влюбленной на то, о чем я ее просил и что так явно претило ей!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Крепкий попутный ветер дул ровно и гнал «Призрака» к северу, прямо на стада котиков. Мы встретились с ними почти у самой шхеры четвертой параллели, в бурных холодных водах, над которыми ветер вечно терзает и рвет густую пелену тумана. Иногда мы целыми днями не видели солнца и не могли делать наблюдений. Потом ветер разогнал туман, вокруг нас снова искрились и сверкали волны, и мы могли определить свои координаты. Но после двух-трех дней ясной погоды туман опять стлался над морем и, казалось, еще более густой, чем прежде.

Охота была опасной. Но каждое утро шлюпки спускались на воду, туман тут же поглотил их, и мы уже не видели их до самого вечера, а то и до ночи, когда они, одна за другой, появлялись наконец из серой мглы, словно вереница морских призраков. Уэйнрайт — охотник, захваченный Волком Ларсеном вместе со шлюпкой и двумя матросами, — воспользовался туманом и бежал. Как-то утром он скрылся за плотной пеленой тумана вместе со своими людьми, и больше мы их не видели. Вскоре мы узнали, что они, переходя со шхуны на шхуну, благополучно добрались до своего судна.

Я твердо решил последовать их примеру, но удобного случая все не представлялось. Помощнику капитана не положено выходить на шлюпке, и, хотя я всячески пытался обойти это правило, Волк Ларсен не изменил заведенного порядка. Если бы этот план мне удался, я так или иначе сумел бы увести с собой и мисс Брустер. Ее положение на шхуне все более усложнялось, и я со страхом думал о том, к чему это может привести. Как ни старался я гнать от себя эти мысли, они неотступно преследовали меня.

В свое время я перечитал немало морских романов, в которых неизменно фигурировала женщина — одна на корабле среди матросов, — но только теперь я понял, что никогда, в сущности, не вдумывался в эту ситуацию, хотя авторы и обыгрывали ее со всех сторон. И вот я сам столкнулся с таким же положением лицом к лицу и пе-

реживал это чрезвычайно остро. Ведь героиней была Мод Брустер — та самая Мод Брустер, чьи книги уже давно очаровывали меня, а теперь и испытывали на себе и всю силу ее личного обаяния.

Грустно было представить себе существо, более чуждое этой грубой среде. Это было нежное, эфирное создание. Тоненькая и гибкая, как простинка, она отпичалась удивительной легкостью и грацией движений. Мне чудилось, что эта девушка совсем не ступает по земле, — такой она казалась невесомой. Когда Мод Брустер приближалась ко мне, у меня всякий раз создавалось впечатление, что она не идет, а скользит по воздуху, как пушинка, или парит бесшумно, как птица.

Нежная и хрупкая, она походила на дрезденскую фарфоровую статуэтку, и было в этом что-то необычайно трогательное. С той минуты, когда я, поддерживая ее под локоть, помог ей спуститься в каноу, мне постоянно казалось, что одно грубое прикосновение к ее не станет. Никогда я не видел более полной гармонии тела и духа. Ее стихи называли утонченными и одухотворенными, но то же самое можно было сказать и о ее внешности. Казалось, ее тело переняло свойства ее души, приобрело те же качества и служило лишь тончайшей нитью, связующей ее с реальной жизнью. Воистину легки были ее шаги по земле, и мало было в ней от сосуда скудельного.

Она явила разительный контраст Волку Ларсену. Между ними не только не было ничего общего, но они во всем были резко противоположны друг другу. Как-то утром, когда они гуляли вдвоем по палубе, я, глядя на них, подумал, что они стоят на крайних ступенях эволюции человеческого общества. Ларсен воплощал в себе первобытную дикость. Мод Брустер — всю утонченность современной цивилизации. Правда, Ларсен обладал необычайно развитым для дикаря интеллектом, но этот интеллект был целиком направлен на удовлетворение его звериных инстинктов и делал его еще более страшным дикарем. У него была великолепная мускулатура, мощное тело, но, несмотря на его грузность, шалал он легко и уверенно. И том, как он поднимал и ставил ногу, было что-то напоминавшее машинку в джинсах. Все его движения отличались кошачьей мягкостью и упругостью, но превыше всего в нем чувствовалась сила. И сравнивал этого человека с огромным тигром, бесстрашным и мнимым зверем. Да, он, несомненно, походил на тигра, и в глазах

у него часто вспыхивали такие же свирепые огоньки, какие мне доводилось видеть в глазах у леопардов и других хищников, посаженных в клетку.

Сегодня, наблюдая за Ларсеном и мисс Брустер, когда они прохаживались взад и вперед по палубе, я заметил, что не он, а она положила конец прогулке. Они прошли мимо меня, направляясь к трапу в каюткомпанию, и я сразу почувствовал, что мисс Брустер чем-то крайне встревожена, хотя и не подает виду. Взглянув на меня, она произнесла несколько ничего не значащих слов и рассмеялась довольно непринужденно, но глаза ее, словно помимо воли, обратились на Волка Ларсена, и, хотя она тотчас опустила их, я успел заметить промелькнувший в них ужас.

Разгадку этого я прочел в его глазах. Серые, холодные, жестокие, глаза эти теплились сейчас мягким, золотистым светом. Как-то, в них пляшут крохотные искорки, которые то меркнут и загорают, то разгораются так, что весь зрачок полнится лучистым сиянием. Оттого, быть может, в них и был этот золотистый свет. Они манили и повелевали, говорили о волнении в крови. В них горело желание — какая женщина могла бы этого не понять! Только не Мод Брустер!

Ее испуг передался мне, и в этот миг самого отчаянного страха, какой может испытать мужчина, я понял, как она мне дорога. И вместе с нахлынувшим на меня страхом росло сознание, что я люблю ее. Страх и любовь терзали мое сердце, заставляли кровь то леденеть, то бурно кипеть в жилах, и в то же время какая-то сила, над которой я был не властен, приковывала мой взгляд к Волку Ларсену. Но он уже овладел собой. Золотистый свет и пылущие искорки погасли в его глазах, взгляд снова стал холодным и жестким. Он сухо поклонился и ушел.

— Мне страшно, — прошептала Мод Брустер, и по телу ее пробежала дрожь. — Как мне страшно!

Мне тоже было страшно, и я был в полном смятении, понимая, как много она для меня значит. Все же, сделав над собой усилие, я ответил спокойно:

— Все обойдется, мисс Брустер! Все обойдется, поверьте!

Она взглянула на меня с благодарной улыбкой, от которой сердце мое затрепетало, и начала спускаться по трапу.

А я долго стоял там, где она оставила меня. Я должен был разбираться в происшедшем, понять значение совершившейся в моей жизни перемены. Итак, любовь наконец пришла ко мне, пришла, и мне все это же ждал, когда все запретило мне даже помышлять о ней. Раздумывая над жизнью, я, разумеется, всегда признавал, что любовь рано или поздно поступится и ко мне. Но долгое время, проведенные в одиночестве, среди книг, не могли подготовить меня к встрече с нею.

И вот любовь пришла! Мод Брустер! Память мгновенно перевернула меня к тому дню, когда первый тоненький томик ее стихов появился на моем письменном столе. Как наяву, встал предо мной и помнил на моем письме, выстроившихся на моей книжной полке, весь ряд таких же томиков, выстроившихся на моей книжной полке. Как я приветствовал появление каждого из них! Они выходили по одному и тогда и как бы знаменовали для меня наступление нового года. Я находил в них родственные мне мысли и чувства, и они стали постоянными спутниками моей духовной жизни. А теперь заняли место и в моем сердце.

В сердце? Внезапно мои мысли приняли другое направление. Я внезапно взглянул на себя со стороны и усомнился в себе. Мод Брустер... Я — Хэмфри Ван-Бейден, которого Чарли Фрасет окрестил «рыбой», «бесчувственным чудовищем», «демоном анализа», — влюблен! И тут же, без всякой видимой связи, мне пришла на память маленькая заметка в биографическом справочнике, и я сказал себе: «Она родилась в Кембридже, ей двадцать семь лет». И мысленно воскликнул: «Двадцать семь лет, и она все еще свободна и влюблена!» Но откуда я мог знать, что она не влюблена? Боль от внезапно вспыхнувшей ревности подавила остатки сомнений. В чем тут еще сомневаться! Я ревную — значит, люблю. И женщина, которую я люблю, — Мод Брустер!

Как? Я, Хэмфри Ван-Бейден, влюблен? Сомнения снова овладели мной. Не то чтобы я боялся любви или был ей не рад. Напротив, убежденный идеалист, я всегда восхвалял любовь, считал ее величайшим благом на земле, целью и венцом существования, самой яркой радостью и самым большим счастьем, которое следует прививать и встречать с открытой душой. Но когда любовь пришла, я не мог этому поверить. Такое счастье не для меня. Это слишком непереносимо. Мне невольно припомнились стихи Саймона:

Средь сонма женщин много долгих лет
Блуждал я, но искал тебя одну

А я давно перестал искать, решив, что «величайшее благо», как видно, не для меня и Фрэнсис прав: я не такой, как все нормальные люди, я — «бесчувственное чудовище», книжный червь, живущий только разумом и только в этом способный находить утешду. И хотя всю жизнь я был окружен женщинами, но воспринимал их чисто эстетически. По временам мне и самому начинало казаться, что я из другого теста, нежели все, и обречен жить монахом, и не дано мне испытать те вечные или преходящие страсти, которые я наблюдал и так хорошо понимал в других. И вот страсть пришла. Пришла нежданно-негаданно.

В каком-то экстазе я побрел по палубе, бормоча про себя прелестные стихи Элизабет Браунинг [13]:

Когда-то я покинул мир людей

И жил один среди моих видений.

Я не звал товарищей милей

И музыки нежней их песнопений.

Но еще более нежная музыка звучала теперь в моих ушах, и я был глух и слеп ко всему окружающему. Резкий окрик Волка Ларсена заставил меня очнуться.

— Какого черта вам тут нужно? — рявкнул он.

Я набрел на матросов, красивших борт шхуны, и чуть не опрокинул ведро с краской.

— Вы что, оуммели? Может, у вас солнечный удар? — продолжал он бешевать.

— Нет, расстройство желудка, — отрезал я и как ни в чем не бывало зашагал дальше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

События, разыгравшиеся на «Призраке» вскоре после того, как я сделал открытие, что влюблен в Мод Брустер, останутся навсегда одним из самых волнующих воспоминаний моей жизни. Все произошло на протяжении каких-нибудь сорока часов. Прожив тридцать пять лет в тиши и уединении, я неожиданно попал в полосу самых невероятных приключений. Никогда не доводилось мне испытывать столько треволнений за какие-нибудь сорок часов. И если какой-то момент нашептывает мне порой, что при сложившихся обстоятельствах я держался не так уж плохо, — я не очень-то плотно затыкаю уши...

Все началось с того, что в полдень, за обедом, Волк Ларсен предложил охотникам питаться впрямь в своем кубрике. Это было неслыханным нарушением обычая, установившегося на промысловых шхунах, где охотники неофициально приравниваются к офицерам. Ларсен не пожелал пускаться в объяснения, но все было ясно из слов. Хорнер и Смок начали оказывать Мод Брустер знаки внимания. Это было только смешно и нисколько не задевало ее, но капитану явно пришлось не по вкусу.

Распоряжение капитана было встречено пробовым молчанием; остальные четверо охотников многозначительно покосились на виновников изгнания. Джок Хорнер, малый выдержанный, и глазом не моргнул, но Смок побаровел и уже готов был что-то возразить. Единко Волк Ларсен следил за ним и ждал, глаза его холодно поблещали, и Смок так и не проронил ни слова.

— Вы, кажется, хотели что-то сказать? — вызывающе спросил его Волк Ларсен.

Но Смок не принял вызова.

— Это насчет чего? — в свою очередь, спросил он и при этом с таким виновным видом, что Волк Ларсен не сразу нашелся, что сказать, а все присутствующие усмехнулись.

— Не знаю, — протянул Волк Ларсен. — Мне, откровенно говоря, понравилось, что вам не терпится поучить пинка.

— Это за что же? — все так же невозмутимо возразил Смок.

Охотники уже откровенно улыбались во весь рот. Капитан тотон был убить Смока, и я убежден, что только присутствие Мод Брустера удержало его от кровопролития. Впрочем, не будь ее здесь, Смок и не вел бы себя так. Он был слишком осторожен, чтобы раздразнить Волка Ларсена в такую минуту, когда тот беспрепятственно мог наступить в ход кулаки. Все же я очень боялся, что дело дойдет до драки, но крик рулевого разрядил напряжение.

— Дым на горизонте! — донеслось с палубы через открытый люк трапа.

— Направление? — крикнул в ответ Волк Ларсен.

— Прямо за кормой, сэр.

— Не русские ли? — высказал предположение Лэтимер.

При этих словах лица охотников помрачнели. Русский парохол мог быть только крейсером, и хотя охотники имели лишь смутное представление о координатах шхуны, но они все же знали, что находятся вблизи границ запретных вод, а браконьерские подвиги Волка Ларсена были общеизвестны. Все глаза устремились на него.

— Вздор! — со смехом отозвался он. — На этот раз, Смок, вы еще не попадете на соляные копи. Но вот что я вам скажу: ставлю пить, против одного, что это «Македония».

Никто не принял его пари, и он продолжал:

— А если это «Македония», так держу десять против одного, что не миновать нам стычки.

— Нет уж, покорно благодарю, — проворчал Лэтимер. — Можно, конечно, и рискнуть, когда есть какой-нибудь шанс. Но разве у вас с вашим братцем дело хоть раз обошлось без стычки? Ставлю двадцать против одного, что и теперь будет то же.

Все засмеялись, в том числе и сам Ларсен, и обед прошел сравнительно гладко — главным образом благодаря моему долготерпению, так как капитан взялся после этого изводить меня, то вышучивая, то принимая покровительственный тон, и довел дело до того, что меня уже трясло от бешенства и я еле сдерживался. Но я знал, что должен держать себя в руках ради Мод Брустера, и был вознагражден, когда глаза ее на миг встретились с моими и сказали мне яснее слов: «Крепитесь, крепитесь!»

Настав из-за стола, мы поднялись на палубу. Встреча с парохолом имела какое-то разнообразие в монотонном морском плаваньи, а предположение, что это Смерть Ларсен на своей «Македонии», особенно живоновоало всех. Свежий ветер, поднявшийся накануне сильного волну, уже с утра начал стихать, и теперь можно было спускаться вниз, охота обещала быть удачной. С рассвета мы шли по совершенно пустынному морю, а сейчас перед нами было большое стадо китов.

Дымок парохол по-прежнему выгляделся вдали за кормой и, пока мы спустили лодки, стал заметно приближаться к нам. Наши шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Время от времени на какой-нибудь из них спустили парус, после чего оттуда доносились звуки выстрелов, а затем парус взвивался снова.

Китики шли густо, ветер совсем стих, все благоприятствовало охоте. Выйдя на подветренную сторону от крайней шлюпки, мы обнужили, что море здесь буквально усыяно телами спящих китиков. И никогда еще не видел ничего подобного: китики окружали нас со всех сторон и, растянувшись на воде по двое, по трое или небольшим группами, мирно спали, как ленивые щенки.

Дым все приближался, и уже начали вырисовываться корпус парохол и его палубные надстройки. Это была «Македония». Я прочел название судна в бинокль, когда оно проходило справа, всего в какой-нибудь миле от нас. Волк Ларсен бросил злобный взгляд в его сторону, а Мод Брустер с любопытством посмотрела на капитана.

— Где же стычка, которую вы предрекали, капитан Ларсен? — весело спросила она.

Он взглянул на нее с усмешкой, и лицо его на миг смягчилось.

— А вы чего ждали? Что они возьмут нас на абордаж и перевернут нам плотки?

— Да, чего-нибудь в этом роде, — призналась она. — Я ведь так много знаю нравы морских охотников, что готова ожидать чего угодно.

Он кивнул.

— Правильно, правильно! Ваша ошибка лишь в том, что вы могли ожидать чего-нибудь и похуже.

— Как? Что же еще может быть хуже, чем если нам перевернут плотки? — наивно удивилась она.

— Хуже, если у нас взрежут кошелек, — ответил он. — В наше время человек устроен так, что его жизнеспособность определяется содержанием его кошелька.

— «Горсть мусора получит тот, кто кошелек мой украдет», — процитировала она.

— Но кто крадет мой кошелек, крадет мое право на жизнь, — последовал ответ. — Старая поговорка наизнанку... Ведь он крадет мой хлеб, и мой кусок мяса, и мою постель и тем самым ставит под угрозу и мою жизнь. Вы же знаете, что того супа и хлеба, которые бесплатно раздают беднякам, хватает далеко не на всех голодных, и, когда у человека пуст кошелек, ему ничего не остается, как умереть собачьей смертью... если он не изловчится тем или иным способом быстро свой кошелек пополнить.

— Но я не вижу, чтобы этот париход покушался на ваш кошелек.

— Подождите, еще увидите, — мрачно промолвил он.

Ждать нам пришлось недолго. Пройдя на несколько миль вперед за наши шлюпки, «Македония» спустила свои. Мы знали, что на ней чetyрнадцать шлюпок, а у нас было только пять, после того как на одной ударил Уэйнрайт. «Македония» сначала спустила несколько шлюпок с подветренной стороны и довольно далеко от нашей крайней шлюпки, потом стала спускать их поперек нашего курса и последнюю спустила далеко с наветренной стороны от нашей ближайшей шлюпки. Маневр «Македонии» испортил нам охоту. Позади нас котиков не было, а впереди бороздили море чetyрнадцать чужих шлюпок и, словно огромная метла, сметали перед собою стадо.

Закончив отстрел зверя на узкой полосе в три-четыре мили, — это было все, что оставила нам для охоты «Македония», — наши шлюпки вынуждены были вернуться на шхуну. Ветер улетел, еле заметное дуновение проносилося над притихшим океаном. Такой погода при встрече с огромным стадом котиков могла бы обеспечить отличную охоту. Даже в удачный сезон таких дней выпадает немного, и все наши матросы — и гробы и рулевые, не говоря уже об охотниках, — поднимаясь на борт, кипели злобой. Каждый чувствовал себя ограбленным. Пока втаскивали шлюпки, проклятия так и сыпались на голову Смерти Ларсена, и если бы крепкие слова могли убивать, он, верно, был бы обречен на погибель.

— Провалиться бы ему в преисподнюю на веки вечные! — проворчал Луис, бросая мне многозначительный взгляд и присаживаясь на корточки, после того как он принятовил свою шлюпку.

— Вот прислушайтесь-ка к их словам и скажите, что еще могло бы так их взволновать, — заговорил Волк Ларсен. — Вера? Любовь? Несение идеалов? Добро? Красота? Истина?

Их оскорблено врожденное чувство справедливости, — заявил Молд Брустер.

Она стояла шагах в десяти от нас, придерживаясь одной рукой за проушины и чуть покачиваясь в такт легкой качке шхуны. Она сказала это негромко, но я вздрогнул — голос ее прозвучал, как чистый колокольчик. Как он ласкал мой слух! Я едва осмелился взглянуть на нее, боясь выдать себя. Светло-каштановые волосы ее, выбивавшиеся из под морской фуражки, золотились на солнце и словно ореолом окружали нежный овал лица. Она была очаровательна и полна доброты, и вместе с тем необычайная одухотворенность ее облика придавала ей что-то неземное! Все мое прежнее восторженное преклонение перед жизнью воскресло во мне перед столь дивным ее воплощением, и холодные рассуждения Волка Ларсена о смысле жизни показались нелепыми и смешными.

— Вы сентиментальны, как мистер Ван-Вейден, — язвительно промолвил Ларсен. — Почему эти люди чертыхаются? Да потому, что это то помещал исполнению их желаний. А каковы их желания? Пожрать покусней да поваляться на мягкой постели, сойди на берег, после того как им выплатят кругленькую сумму. Женщины и вино, животный разгул — вот и все их желания, все, чем полны их души, их вечные стремления, их идеалы, если хотите. То, как они провозгласили свои чувства, зрелище малоприятельное, зато сейчас очень ясно видно, что они задеты за живое. Расстрожить их душу можно сильнее всего, если залезть к ним в карман.

Однако по вашему поведению не видно, чтобы к вам залезли в карман, — сказала она смеясь.

Видимо, я просто веду себя иначе, а мне тоже залезли в карман и, следовательно, расстрожили и мою душу. Если подчитать примерно, сколько шкур украдал у нас сегодня «Македония», то, учитывая последние цены на котиковые шкуры на лондонском рынке, «Принрик» потерял тысячи полторы долларов, никак не меньше.

— Вы говорите об этом так спокойно... — начала она.

— Но я совсем не спокоен, — перебил он. — Я мог бы убить того, кто меня ограбил. Да, да, я знаю — он мой брат! Вздор! Сантименты! Внезапно выражение его лица изменилось, и он проговорил менее резко и с ноткой искренности в голосе:

— Вы, люди сентиментальные, должны быть счастливы, поистине счастливы, мечтая о чем-то своем и находя в жизни что-то хорошее. Найдете что-нибудь хорошее и, глядишь, сами себя чувствуете хорошими. А вот скажите-ка мне, вы оба, есть что-нибудь хорошее во мне?

— Внешне вы, по-своему, совсем неплохи, — определил я.

— В вас заложено все, чтобы творить добро, — отвечала Мад Брустер.

— Так я и знал! — сердито воскликнул он. — Ваши слова для меня пустой звук. В том, как вы выразили свою мысль, нет ничего ясного, четкого, определенного. Ее нельзя взять в руки и рассмотреть. Собственно говоря, это даже не мысль. Это впечатление, сантмент, выросший из иллюзии, но вовсе не плод разума.

Понемногу его голос сматчился, и в нем снова прозвучала искренняя нотка.

— Видите ли, я тоже порой ловлю себя на желании быть слепым к фактам жизни и жить иллюзиями и вымыслами. Они лживы, насковзь лживы, они противоречат здравому смыслу. И, несмотря на это, мой разум подсказывает мне, что высшее наслаждение в том и состоит, чтобы мечтать и жить иллюзиями, хоть они и лживы. А ведь в конце-то концов наслаждение — единственная наша награда в жизни. Не будь наслаждения — не стоило бы и жить. Взять на себя труд жить и ничего от жизни не получать — да это же хуже, чем быть трупом. Кто больше наслаждается, тот и живет полнее, а вас все ваши вымыслы и фантазии оторчат меньше, а тешат больше, чем меня — мои факты.

Он медленно, задумчиво покачал головой.

— Часто, очень часто я сомневался в ценности человеческого разума. Мечты, вероятно, дают нам больше, чем разум, приносят больше удовлетворения. Эмоциональное наслаждение полнее и длительнее интеллектуального, не говоря уж о том, что за мгновения интеллектуальной радости потом расплываешься черной ме-

ланихой. А эмоциональное удовлетворение влечет за собой лишь легкое притупление чувств, которое скоро проходит. Я завидую вам, индую вам!

Он внезапно оборвал свою речь, и по губам его скользнула знакомая мне странная усмешка.

— Но я завидую вам умом, а не сердцем, заметьте. Зависть — продукт мозга, ее диктует мне мой разум. Так презвый человек, которому надоела его трезвость, жалует, глядя на пьяных, что он сам не пьян.

— Вы хотите сказать: так умник глядит на дураков и жалеет, что он сам не дурак, — засмеялся я.

— Вот именно, — отвечал он. — Вы пара блаженных, обанкротившихся дураков. У вас нет ни одного факта за душой.

— Однако мы живем на свои ценности не хуже вас, — возразила Мад Брустер.

— Даже лучше, потому что вам это ничего не стоит.

— И еще потому, что мы берем в долг у вечности.

— Так ли это, или вы только воображаете, что это так, — не имеет значения. Все равно вы тратите то, чего у вас нет, а взамен приобретаете большие ценности, чем я, тратящий то, что у меня есть и что я добыл в поте лица своего.

— Почему же вы не переведете свой капитал в другую валюту? — насмешливо спросила она.

Он быстро, с тенью надежды, взглянул на нее и, помолчав, ответил со вздохом:

— Поздно. Я бы и рад, пожалуй, да не могу. Весь мой капитал — в валюте старого выпуска, и мне от нее не избавиться. Я не могу представить себя признать ценность какой-либо другой валюты, кроме моей.

Он умолк. Взгляд его, рассеянно скользнув по ее лицу, затерялся где-то в синей морской дали. Звериная тоска снова овладела им; по телу его пробежала дрожь. Своими рассуждениями он довел себя до приступа хандры, и можно было ждать, что часа через два она придет себе разрядку в какой-нибудь дьявольской выходке. Мне вспомнились Чарли Фрассет, и я подумал, что эта тоска — кара, которая постигает каждого материалиста.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Утром во время завтрака Волк Ларсен обратился ко мне с вопросом: уже поднялись на палубу, мистер Ван-Вейден? Какая сегодня погода?

— Довольно ясно, — ответил я, бросая взгляд на солнечный луч, играющий на ступеньке трапа. — Ветер западный, свежий и, кажется, будет еще крепчать, если верить прогнозу Луиса.

Капитан кивнул с довольным видом.

— Туман не предвидится?

— На севере и на северо-западе густая пелена.

Он снова кивнул и, казалось, остался еще более доволен, услышав это.

— А что «Македония»?

— Ее нигде не видно, — отвечал я.

Я мог бы поклясться, что при этом сообщении лицо у него вытянулось, но почему это так его разочаровало, было мне непонятно.

Вскоре все разъяснилось.

— Дым вперед! — донеслось с палубы, и лицо Ларсена снова оживилось.

— Превосходно! — воскликнул он. Вскочив из-за стола, он поднялся на палубу и направился к изгнанным из кают-компании охотникам, которые вкушали свой первый завтрак у себя в кубрике.

Ни Мод Брустер, ни я почти не притронулись к еде. Мы переживали тревожно, в полном молчании прислушиваясь к голосу капитана, доносившемуся сквозь переборку. Говорил он долго, и конец его речи был встречен одобрительным ревом. Переборка была толстая, и мы не могли разобрать слов, но они явно произвели большое впечатление на охотников. Рев стих и перешел в оживленный разговор и веселые возгласы.

Вскоре на палубе поднялись шум и возня, и я понял, что матросы вызваны наверх и готовятся спускать шлюпки. Мод Брустер вышла вместе со мной на палубу, и я покинул ее у края юта, откуда

она могла видеть все и в то же время оставаться в стороне. Матросы, должно быть, тоже были посвящены в замыслы капитана, так как работали с необыкновенным рвением. Охотники, прихватив дробовики, щетки с патронами и — что было совсем необычно — винтовки, выжидали на палубу. Они почти никогда не брали с собой винтовок, так как коттики, убитые пулей с дальнего расстояния, неизменно толкали коттики, убитые пулей с дальнего расстояния. Но сегодня охотник прин, прежде чем подоспел шлюпка. Но сегодня каждый охотник взял с собой винтовку и большой запас патронов. Я заметил, как они довольно ухмылялись, потягивая на дымок «Македонии», который поднимался все выше и выше, по мере того как пароход приближался к нам с запада.

Все пять шлюпок были быстро спущены на воду. Как и накануне, они разошлись веером в северном направлении. Мы следовали поодаль. Я с любопытством наблюдал за ними, но все шло, как обычно. Охотники спустили паруса, били зверя, снова ставили паруса и продолжали свой путь, как делалось это изо дня в день. «Македония» повторила свой вечерний маневр — начала спускать свои шлюпки вперед, попеременно курка, с целью «подмести» море. Четырнадцать шлюпок «Македонии» для успешной охоты должны были расстаться на довольно обширном пространстве, и пароход, перерезав нам путь, продолжал двигаться на северо-восток, спуская шлюпки.

— Что вы будете делать? — спросил я Волка Ларсена, снедаемый любопытством.

— Вас это не касается, — грубо ответил он. — Узнаете в свое время. А пока что молитесь о хорошем ветре.

— Впрочем, могу сказать, — добавил он, помолчав. — Я намерен утешить брата по его же рецепту. Короче говоря, «подметать» море теперь буду я, и не один день, а до конца сезона, если нам повезет.

— А если нет?

— Это исключается, — рассмеялся он. — Нам должно повезти, иначе мы пропадем.

Он стоял на руле, а я пошел в матросский кубрик проводить своих пациентов — Нилсона и Магриджа. У Нилсона переломанная нога хорошо срасталась, и он был довольно бодр и весел, но как пребывал в черной меланхолии, и мне невольно стало искренне жалко этого человека. Казалось поразительным, что после всего перенесенного

он все еще жив и продолжает цепляться за жизнь. Судьба не шадит беднягу: калеча его из года в год, она превратила его тшедушное тело в какой-то обломок кораблекрушения, но искорка жизни упрямое тлеет в нем.

— С хорошим протезом, какие теперь делают, ты сможешь топтаться в камбузах до окончания века, — подобрл я его.

Он ответил мне очень серьезно, даже торжественно:

— Не знаю, о каких вы там протезах толкуете, мистер Ван-Вейден, только я не умру спокойной, пока не увижу, что эта скотина издохла, будь он проклят! Ему не пережить меня, нет! Он не имеет права жить и, как сказано в священном писании: «И окончит дни свои в муках». А я добавлю: аминь, и чтоб он сдох поскорей!

Вернувшись на палубу, я увидел, что Волк Ларсен одной рукой вертит штурвал, а в другой держит морской бинокль, изучая расположение шлюпок и внимательно? следя за движением «Македонии». Я заметил, что наши а шлюпки привалялись к ветру и взяли курс на северо-запад, но смысл этого маневра был мне не ясен, так как: впереди их находилось пять шлюпок «Македонии», которые, в свою очередь, тоже взяли круче к ветру. Таким образом, они все более уклонились на запад, постепенно удаляясь от остальных шлюпок. Наши шлюпки шли и под парусами и на веслах. Подгоняемы каждая тремя парами весел — даже охотники гребли, — они быстро догоняли «неприятеля». Дым парохода таил вали, превращаясь в едва различимое пятнышко на северо-востоке. Самого судна уже не было видно.

До сих пор мы еле-еле продвигались вперед, и паруса почти все время полоскались на ветру; раза два мы даже ненадолго ложились в дрейф. Но теперь все изменилось. Шкоты были выбраны, и Волк Ларсен повел «Призрак» полным ходом. Мы промчались мимо наших шлюпок и стали приближаться к ближайшей шлюпке с «Македонии».

— Отдайте бом-кливер, мистер Ван-Вейден, — командовал Волк Ларсен, — и приготовьтесь выбрать кливер и стаксель!

Я побежал исполнять команду, и когда мы медленно скользили мимо шлюпки в каких-нибудь ста футах от нее с подветренной стороны, нирал блом-кливера был уже выбран и закреплен. Трое людей на шлюпке подозрительно поглядывали в нашу сторону. Они

не могли не знать Волка Ларсена, хотя бы понаслышке, а ведь они только что «подметали» море перед нашими шлюпками. Я обратил внимание на то, что охотник — здоровенный малый скандинавского типа, сидевший на носу, — держит на коленях винтовку, что, кстати, было сейчас совсем ни к чему, — винтовка могла бы лежать на месте. Когда мы поравнялись с ними, Волк Ларсен помахал им рукой и крикнул:

— Поднимайтесь к нам «подрейфовать»!

Слово «подрейфовать» на языке промысловых шхун заменяет глаголы «навестить» и «поболтать». Оно отражает общность моряков и сулит приятное разнообразие в их монотонной жизни. «Призрак» привелся к ветру, и я, закончив свою работу на боне, побежал на корму помочь матросам управляться с протом.

— Прошу вас оставаться на палубе, мисс Брустер, — сказал Волк Ларсен, направляясь встретить гостей. — И вас тоже, мистер Ван-Вейден.

Матросы на шлюпке, спустив парус, подвели ее к борту шхуны. Охотник, похожий на золотобородого викинга, перелез через планшир и спрыгнул на палубу. Я заметил, что этот богатырь держится напряженно. Сомнение и недоверие были ясно написаны на его лице. Это было открытое лицо, хотя густая борода и придавала ему несколько свирепый вид. Однако, когда охотник перевел взгляд с капитана на меня и увидел, что нас только двое, а потом поглядел на своих двух матросов, которые поднялись на борт следом за ним, лицо его просветлело. Боятся не было причины. Он, как Голлаф, возмущался над Волком Ларсеном. Ростом он был никак не меньше шести футов и восьмью дюймов, а весил — это я узнал впоследствии — двести сорок фунтов. И притом ни капли жира, только кости и мускулы.

Но тревога снова промелькнула в его глазах, когда Волк Ларсен, остановившись у трапа, пригласил его спуститься в кают-компанию. Впрочем, он тут же подобрл, еще раз окинув взглядом капитана: Волк Ларсен был крупный мужчина, но рядом с ним казался карликом. Это положило конец колебаниям гостя, и он начал спускаться по трапу. Ларсен последовал за ним. Тем временем оба гребца направились, согласно обычаю, на бак — в гости к матросам.

Внезапно из кают-компания донеслись страшные звуки, подобные рычанию льва, и шум яростной схватки. Это сцепились лев и леопард. Волк Ларсен — леопард — напал на льва, и лев рычал.

— Вот вам святость нашего гостеприимства! — с горечью обратился я к Мод Брустер.

Она утвердительно кивнула; мучительное отвращение исказило ее лицо, и я вспомнил, как я сам страдал при виде физического насилия, когда впервые попал на «Призрака».

— Не лучше ли вам уйти подальше, ну хотя бы на бак, пока все это не кончится? — предложил я.

Но она отрицательно покачала головой, глядя на меня жалобными глазами. И в них не было страха, хотя я видел, что она потрясена этим новым проявлением зверства.

— Прошу вас, поймите, — сказал я, вспоминая случаем, — какую бы роль ни приходилось мне играть в том, что здесь происходит или может еще произойти, я не могу поступать иначе... если только мы хотим выбраться отсюда живыми. Мне тоже нелегко, — добавил я.

— Я понимаю, — отозвалась она. Голос ее звучал слабо, слонно доносился издаലെка, но взгляд подтвердил, что она понимает меня.

Внизу все стихло, и Волк Ларсен поднялся на палубу. Лицо его под бронзовым загаром слегка покраснело, но других следов борьбы не было заметно.

— Пришлите сюда тех двоих, мистер Ван-Вейден! — сказал он.

Я повиновался, и через минуту они стояли перед ним.

— Поднимите шлюпку, — обратился он к матросам. — Ваш охотник решил немного задержаться и не хочет, чтоб ее зря колотило о борт. Поднять шлюпку, говорю я! — повторил он более резко, замечая, что они колеблются. — Почему знать, может, вам придется некоторое время плавать со мной, — продолжал он, в то время как матросы нерешительно принялись выполнять приказание. Он говорил, не повышая голоса, но в тоне его слышалась угроза. — Так что лучше уж начнем по-хорошему. А ну живей! У Смерти Ларсена, небось, повороннее поворачивались, сами знаете!

Это окрик заставил матросов поторопиться. В то время, как шлюпку заваливали на палубу, я получил приказание отдать клив-

ра с оном к штурвалу. Волк Ларсен направил «Призрака» ко второй с перестрелочной стороны шлюпке «Македонии».

Кончив с парусами, я стал высматривать шлюпки. Третья шлюпка была атакована двумя нашими, четвертая — остальными тремя, а пятая, повернув, шла на выручку соседней. Перестрелка окончилась с дальнего расстояния, и до нас доносились бесперывные трескотня винтов. Порывистый ветер, поднявший короткую волну, мешал точному прицеливанию, и, подойдя ближе, мы увидели, как пули то тут, то там прыгают рикошетом с волны на волну.

Шлюпка, за которой мы гнались, спустилась под ветер и сделала попытку ускользнуть от нас и прийти на Помощь своим.

Я не мог следить за тем, что происходило дальше, пока возникли в парусах, а вернувшись на ют, услышал, как Ларсен приказывает матросам «Македонии» отправиться в кубрик на бак. Они утробно подчинились. Затем капитан предложил мисс Брустер спуститься в кают-компанию и улыбнулся, заметив промелькнувший в ее глазах ужас.

— Ничего страшного там нет, — сказал он. — Человек этот цел и невредим и связан по рукам и ногам. Сюда же могут залететь пули, и мне совсем не хочется потерять вас.

И почти в ту же минуту шальная пуля царапнула медную ручку штурвала, которую держал Ларсен, и рикошетом отскочила в сторону.

— Вот видите, — сказал он и повернулся ко мне: — Мистер Ван-Вейден, становте-ка на руль.

Мод Брустер спустилась по трапу всего на несколько ступенек. Волк Ларсен взял винтовку и дослал патрон в ствол. Я глазами молвил мисс Брустер уйти, но она только улыбнулась и сказала:

— Может, мы и не умеем стоять на ногах, но мы покажем капитану Ларсену, что хилые сухопутные людишки не трусливее его.

Ларсен бросил на нее восхищенный взгляд.

— Вы правитеесь мне все больше, — сказал он. — Ум, талант, отвага! Неплохое сочетание! Такой синий чулок, как вы, мог бы стать женой предводителя пиратов... Но придется нам продолжить раздор и другой раз, — усмехнулся он, когда еще одна пуля вонзилась в винтовку рубки.

И я снова увидел золотистые искорки в его глазах и ужас в глазах Мод Брустер.

— Мы даже храбрее его, — поспешно проговорил я. — По крайней мере про себя могу сказать, что я храбрее капитана Ларсена.

Тот резко обернулся ко мне — уж не смеюсь ли я над ним? Я немного переложил штурвал, чтобы не дать шхуне привестись к ветру, а затем снова лег на курс, и, видя, что Волк Ларсен все еще жует объяснения, показал на свои колени.

— Вглядитесь-ка, — сказал я, — и вы заметите легкую дрожь. Это значит, что я боюсь, плоть моя боится. Я боюсь разумом, потому что не хочу умирать. Но дух мой одолевает дрожавшую плоть и наугадное сознание. Это больше, чем храбрость. Это мужество. Ваши же плоть ничего не боится, и вы ничего не боитесь. Значит, вам и нетрудно встречаться с опасностью лицом к лицу. Вам это даже доставляет удовольствие, вы упиваетесь опасностью. Вы можете быть бесстрашны, мистер Ларсен, но согласитесь, что из нас двоих по-настоящему храбр — я.

— Вы правы, — сразу признал он. — В таком свете мне это еще не представлялось. Но тогда верно и обратное. Если вы храбрее меня, значит, я трусливее вас?

Мы оба рассмеялись над этим странным выводом, и Ларсен, опустившись на одно колено, опер ствол винтовки о планшир. В начале перестрелки мы находились от шлюпок примерно в одной миле, но сейчас это расстояние уже сократилось вдвое. Ларсен выстрелил три раза, тщательно прицеливаясь. Первая пуля пролетела в пяти — десяти футах от шлюпки, вторая — у самого борта, третья утонула в рулевого, и он, выпустив из рук кормовое весло, свалился на дно шлюпки.

— Хватит с них, — сказал Волк Ларсен, поднимаясь на ноги. — Охотником пожертвовать нельзя, да он никак и не сможет одновременно и править и стрелять, а гребец, надеюсь, править не умеет.

Его расчет полностью оправдался. Шлюпку завертело на волнах, и охотник бросился на корму сменить рулевого. С этой шлюпки больше не стреляли, но на остальных винтовки продолжали трещать.

Охотнику удалось снова увалить шлюпку под ветер, но мы шли в два раза быстрее и догоняли ее. Когда мы были от нее примерно в ста ярдах, я увидел, как гребец передал охотнику винтовку. Волк Ларсен отошел на середину палубы и взял бухту гафель-тарделли.

Потом, снова утвердив винтовку на планшире, прицелился в шлюпку. Рядом два охотника хотели бросить кормовое весло и схватить винтовку, но все не решился. Мы были уже борт о борт со шлюпкой и обгоняли ее.

— Эй, ты! — неожиданно крикнул Волк Ларсен гребцу. — Возьми конец за банку!

И в ту же секунду он бросил конец. Он попал прямо в матроса, чуть не сбив его с банки, но матрос не послушался. Он вопросительно посмотрел на охотника, а тот, как видно, сам не знал, что делать. Винтовка была зажата у него между колен, но стоило ему выпустить руль, и шлюпка, повернувшись, могла столкнуться со шхуной. Кроме того, он видел направленную на него винтовку Волка Ларсена и понимал, что тот выстрелит раньше, чем он успеет прицелиться. — Прими, — тихо сказал он матросу.

Гребец повиновался и захлестнул конец за переднюю банку, а когда конец натянулся, стал его травить. Шлюпку быстро отвело от борта шхуны, после чего охотник положил ее на курс параллельно «Призраку», футах в двадцати от него.

— Убирайте парус и подходите к борту, — командовал Волк Ларсен.

Держа одной рукой винтовку, он начал спускать шлюпочные тали. Когда тали были заложены на носу и на корме шлюпки и оба моряка уже готовились подняться на борт, охотник взял в руку винтовку, как бы желая положить ее на стойку.

— Брось! — крикнул Волк Ларсен, и охотник выронил винтовку, вонзив ее обоютом в руку.

Поднявшись на палубу вместе со своим раненым товарищем, охотник и гребец, по приказу Волка Ларсена, втащили на борт шлюпку, а затем отнесли рулевого в матросский кубрик.

— Если все наши пять шлюпок справятся со своим делом не хуже нас, экипаж шхуны будет укомплектован полностью, — сказал мне Волк Ларсен.

— А человек, в которого вы стреляли... он... я надеюсь... — Голос Мол Брустера дрогнул.

— Ранен в плечо, — отвечал капитан. — Ничего серьезного. Мистер Ван-Вейден приведет его в порядок в две-три недели. Вот для тех парней ему навряд ли удастся что-нибудь сделать, — добавил он,

указывая на третью шлюпку «Македонии», к которой я направлял в это время шхуну. — Тут поработали Хорнер и Смок. Говорил ведь им, что нам нужны живые люди, а не трупы. Но стоит человеку научиться стрелять, его так и тнет бить прямо в цель. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, мистер Ван-Вейден?

Я покачал головой и посмотрел на «работу» наших охотников. Они действительно «били в цель» и теперь, покинув жертвы этой кровавой стычки, присоединились к остальным нашим шлюпкам и уже атаковали последние две шлюпки «Македонии». Оставленный шлюпка беспомощно качалась на волнах; никем не управляемый парус торчал вбок под прямым углом и хлопал на ветру. Охотники и гребец лежали в неестественных позах на дне лодки, а рулевой — поперек планшира, наполовину свесившись за борт. Руки его боро-здили воду, а голова моталась из стороны в сторону.

— Не смотрите туда, мисс Брустер, прошу вас, — взмолился я, к моей радости, она послушно отвернулась и была избавлена от этого страшного зрелища.

— Держите прямо туда, мистер Ван-Вейден, — распорядился Волк Ларсен, указывая на сбившиеся в кучу шлюпки.

Когда мы приблизились к ним, стрельба стихла. Бой был окончен. Последние две шлюпки уже сдались нашим пяти, и теперь все семь шлюпок ждали, чтобы их взяли на борт.

— Посмотрите! — невольно воскликнул я, показывая на северо-восток.

На горизонте снова появилось темное пятнышко — дымок «Македонии».

— Да, я слежу за ней, — хладнокровно отозвался Волк Ларсен. Он измерил взглядом расстояние до пелены тумана, потом подставил щеку ветру, проверяя его силу. — Думаю, что доберемся вовремя. Но можете не сомневаться, что мой драгоценный братец раскусил нашу игру и прет сюда во весь дух. Ага, что я вам говорил!

Пятно дыма быстро росло, становясь густо-черным.

— Все равно я тебя оставлю, о брат мой! — усмехнулся Волк Ларсен. — Непременно оставлю! И надеюсь, что твоя старая машина развалится на части!..

Мы легли в дрейф, после чего на шхуне поднялась изрядная суматоха, в которой вместе с тем был свой порядок. Шлюпки подни-

мали одновременно с обеих бортов. Как только пленники ступали на палубу, наши охотники отводили их на бак, а матросы втаскивали шлюпки на палубу и оставляли их где попало, не теряя времени на то, чтобы приготовить. Едва последняя шлюпка отделилась от воды и качалась на таях, как мы уже понесли вперед на всех парусах с потравленными шкотами.

Но, нам надо было спешить. Извергая из трубы клубы черного дыма, «Македония» мчалась к нам с северовостока. Не обращая внимания на свои оставшиеся шлюпки, она изменила курс, надеясь переклинить нас. Она шла не прямо на нас, а туда, где наши пути могли бы сойтись, как стороны угла, у края тумана. Только там «Македония» могла бы еще поймать «Призрака». А для «Призрака» спасение заключалось в том, чтобы достигнуть этой точки раньше «Македонии».

Волк Ларсен сам стоял у штурвала, горящими глазами следя за всем, от чего зависел исход этого состязания. Он то оборачивался и оглядывал море, проверяя, слабее или крепнет ветер, то присматривался к «Македонии», то окидывал взором паруса и приказывал выдвинуть один шкот или потравить другой и выжимал из «Призрака» все, на что тот был способен. Ненависть и озлобление были на его лице, и я дивился тому, с какой готовностью бросались исполнять приказания капитана те самые матросы, которые столько потрудились от него. И вот, когда мы стремительно неслись вперед, наваливаясь на волнам, я вдруг вспомнил беднягу Джонсона и пожалел, что его нет среди нас: он так любил эту шхуну и так восхищался ее быстрой скоростью.

— Приготовьте-ка на всякий случай винтовки, ребята! — крикнул Волк Ларсен охотникам, и тутчас все пятеро, с винтовками в руках, стали у подвешенного борта.

«Македония» была теперь всего в миле от нас. Она мчалась с такой скоростью, что черный дым из ее трубы стался совершенно горизонтально; она делала не меньше семнадцати узлов. «Сквозь воду» мчит, взывая к небу», — продекламировал Волк Ларсен, бродивший в ее сторону. Мы делали не больше девяти узлов, но стена тумана была уже близко.

Вдруг над палубой «Македонии» поднялось облачко дыма. Выстрел прокатился над морем, и в нашем гроте образовалась кру-

глаз дыра. Они палили из маленькой пушки, — мы уже слышали, что таких пушек там было несколько. Наши матросы, толпившиеся у грот-мачты, ответили на это насмешливыми криками. Снова на «Македонией» показался дымок, и снова прогремел выстрел. На этот раз ядро упало всего в двадцати футах за кормой и перескочило с волны на волну, прежде чем затонуло.

Из винтовок с «Македонии» не палили, — все ее охотники нахлебались либо у нас на борту, либо далеко в море на своих шлюпках. Когда расстояние между судами сократилось до полумили, третьим выстрелом пробилось еще одну дыру в нашем гроте. Но тут шхуна вошла в полюсу тумана. Мы вдруг потруизились в него, и он скрыл нас, окутав своей влажной, плотной завесой.

Внезапность перемены была поразительна. Секунду назад мы мчались в ярких солнечных лучах, над нами было ясное небо, и далеко-далеко, до самого горизонта, море шумело и катило свои волны, а за нами бешено гнался корабль, изрыгая дым, пламя и чутунные ядра. И вдруг, в мгновение ока, солнце точно загасило, небо исчезло, даже верхушки мачт пропали из виду, и на глаза наши, словно их заволокло слезами, опустилась серая пелена. Сырая мгла стояла вокруг нас, как стена дождя. Волосы, одежда — все покрылось алмазными блестками. С намокших вант и снастей вода стекала на палубу. Под тиками капельки воды висели длинными гирляндами, и когда шхуна взмывала на гребень волны, ветер сдувал их и они летели нам в лицо. Грудь моя стеснилась, мне было трудно дышать. Туман глушил звуки, притушил чувства, и сознание отказывалось признать, что где-то за этой влажной серой стеной, надвинувшейся на нас со всех сторон, существует другой мир. Весь мир, вся вселенная как бы замкнулись здесь, и границы их так сузились, что невольно хотелось упереться в эти стены руками и раздвинуть их. И то, что осталось там, за ними, казалось, было лишь сном, вернее — воспоминанием сна.

В наступившей перемене было нечто таинственное и колдовское. Я посмотрел на Мад Брустер и убедился, что она испытывает то же, что и я. Потом я перевел взгляд на Волка Ларсена; но он ничем не проявлял своих ощущений. Он все так же стоял у штурвала и, казалось, был всецело поглощен своей задачей. Я почувствовал, что он измеряет ход времени, отсчитывает секунды, всякий раз как

«Прирак» то стремительно взлетит на гребень волны, то накренился от бортовой качки.

Сгруппируйтесь на бак и приготовьтесь к повороту, — сказал он мне, выйдя на полюс. — Прежде всего возьмите топселя на гитовы. Помогите людям на все шкоты. Но чтобы ни один блок не загремел и чтобы никто ни звука. Понимаете — ни звука!

Когда все стало по местам, команда была передана от человека к человеку, и «Прирак» почти бесшумно сделал поворот. Если где-нибудь и хлопнул риф-штерт или скрипнул блок, звуки эти казались какими-то странными, призрачными, и обступивший нас туман тотчас поглотил их.

Но как только мы легли на другой галс, туман начал редеть, и вскоре «Прирак» снова летел вперед под ярким солнцем, и снова до самого горизонта бурлили и пенились волны. Но океан был пуст. Непонятная «Македония» нигде не бороздила больше его поверхности и не питала небо своим черным дымом.

Волк Ларсен тут же спустился под ветер и повел шхуну по своему краю тумана. Его уловка была ясна. Он вошел в туман с наветренной стороны от парохода и, когда «Македония» вслепую ринулась вперед, еще надеясь поймать шхуну, сделал поворот, вышел из своего укрытия и теперь намеревался войти в туман с подветренной стороны. Если бы ему это удалось, его брату было бы так же трудно найти нас в тумане, как — по старой поговорке — иголку в стоге сена. Мы недолго шли по краю тумана. Перекинув фок и грот и снова погнав топселя, мы опять нырнули в туман, и в этот миг я был готов поклясться, что видел смутные очертания парохода, выходящего из полюсы тумана с наветренной стороны. Я быстро взглянул на Волка Ларсена. Он кивнул головой. Да, он тоже видел — это была «Македония». На ней, вероятно, разгадали наш маневр, но не успели нас перехитрить. Не было сомнений в том, что мы ускользнули незамеченными.

— Он не может долго продолжать эту игру, — сказал Волк Ларсен. — Ему придется вернуться за своими шлюпками. Поставьте котинбулы на руль, мистер Ван-Вейден, — курс держать тот же, — и нагните вяхты: мы будем идти под всеми парусами до утра.

— Эх, не покажел бы я и полтысячи долларов, — добавил он, — чтобы хоть на минуту попасть на «Македонию» и послушать, как

там чертыхается мой братец!

— Теперь, мистер Ван-Вейден, — сказал он, когда его сменили у штурвала, — нам следует оказать гостеприимство нашему попоному. Выставьте охотникам вдоволь виски и пошлите несколько бутылочек на бак. Держу пари, что завтра наши гости все до единого выйдут в море и будут охотиться для Волка Ларсена не хуже, чем для Смерти Ларсена.

— А они не сбегут, как Уэйнрайт? — спросил я.

Он усмехнулся.

— Не сбегут, потому что наши старые охотники этого не допустят. Я уже пообещал им по доллару с каждой шкуры, добытой новыми. Отчасти поэтому они так и старались сегодня. О нет, они не дадут им сбегать! А теперь вам не мешает наведаться в свой лазарет. Там, надо полагать, полным-полно пациентов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Волк Ларсен освободил меня от обязанности раздавать виски и приснился за дело сам. Пока я возился в матросском кубрике с новой партией раненых, бутылки уже заходили по рукам. Мне, конечно, пришлось видеть, как пьют виски, например, в клубах, где принимают виски с содовой, но чтобы пить так, как пили здесь, — этого я еще не видел. Пили из кружек, из мисок и прямо из бутылки; напивались до краев и осушали залпом; одной такой порции было достаточно, чтобы захмелеть, но им все казалось мало. Они пили и пили, и новые бутылки все прибывали в кубрик, и этому не было конца.

Пили все. Пили раненые. Пил Уфти-Уфти, помогавший мне держать перевязки. Один Луис воздерживался: раза два отхлебнул немного — и все; зато и шумел и буянил он не меньше других. Это была не тонкая сатурналия. Все галдели, орали, обсуждали минувшее сражение, спорили. А потом вступ, размякнув, начинали брататься со своими недавними врагами. Победители и побежденные икали друг у друга на плече и торжественно клялись в вечной дружбе и уважении. Они оплакивали невзгоды, перенесенные ими в прошлом и ожидавшие их в будущем в железных тисках Волка Ларсена, и, горлом проклиная его, рассказывали всякие ужасы о его жестокости.

Это было дикое и страшное зрелище; тесный кубрик, затромбованный койками, канатошися переборки, вздымающийся пол, тусклый свет лампы, колеблющиеся тени, то чудовищно вырастающие, то сжимающиеся, разгоряченные лица, потерявшие человеческий облик... И над всем этим — дым, испарения тел, запах йодоформа... Я побродил за Уфти-Уфти, — он держал в руках конец бинта и взирал на эту сцену своими красивыми, бархатистыми, как у оленя, глазами, в которых играли отблески света от раскачивающейся лампы. Я знал, что, несмотря на всю мягкость и даже женственность его лица и фигуры, в нем дремлют грубые инстинкты дикаря. Мне бросилось в глаза мальчишеское лицо Гаррисона, всегда такое доброе и открытое, теперь искаженное яростью, похожее на дьявольскую маску; он

рассказывал захваченным в плен матросам, на какой алдский корабль они попали, и истошным голосом обрушивал проклятия на голову Волка Ларсена.

Волк Ларсен! Снова и снова Волк Ларсен! Поработитель и мучитель, Цирсея в мужском облике. А они — стадо его свиней, замученные скоты, пригнанные к земле, способные бунтовать только исподтишка да в пьяном виде. «А я? Тоже один из его стада?» — подумалось мне. — А Мод Брустер? Нет!» Гнев закипел во мне, я скрипнул зубами и, забывшись, видимо, причинил боль матросу, которому делал перевязку, так как он передернулся. А Уфти-Уфти посмотрел на меня с любопытством. Я почувствовал внезапный прилив сил. Любовь делала меня могучим гигантом. Я ничего не боялся. Моя воля победит все препятствия — вопреки Волку Ларсену, вопреки тридцати пяти годам, проведенным среди книг. Все будет хорошо. Я добьюсь этого. И, воодушевленный сознанием своей силы, я повернулся спиной к этому разбушевавшемуся аду и поднялся на палубу, где туман серыми призрачными тенями лежал во мраке, а воздух был чист, ароматен и тих.

В кубрике у охотников тоже было двое раненых, и там шла такая же оргия, как и у матросов, — только здесь не проклинали Волка Ларсена, Очутившись снова на палубе, я обегченно вздохнул и отправился на корму, в кают-компанию. Ужин был готов; Волк Ларсен и Мод поджидали меня.

Пока весь экипаж спешил напиться, сам капитан оставался трезв. Он не выпил ни капли вина. Он не мог себе этого позволить, ведь, кроме меня и Луиса, ему ни на кого нельзя было положиться, а Луис к тому же стоял у штурвала. Мы шли в тумане наудачу, без сигнальщика, без огней. Меня очень удивило сперва, что Волк Ларсен разрешил матросам и охотникам эту пьяную оргию, но он, очевидно, хорошо знал их нрав и умел спать дружкой то, что началось с кровопролития.

Победа над Смертью Ларсеном, казалось, необычайно благоприятно действовала на него. Вечера вечером он своими расуждениями довел себя до хандры, и я каждый миг ждал очередной вспышки ярости. Но пока все шло гладко, Ларсен был в великолепном настроении. Быть может, обычную реакцию предотвратило то, что он захватил так много охотников и шлюпок. Во всяком случае,

защиту как рукой сняло, и дьявол в нем не просыпался. Так мне казалось тогда, но — увы! — как мало я его знал. Не в ту ли самую минуту он уже замыслил самое черное свое дело!

Никто, войдя в кают-компанию, я застал капитана в прекрасном расположении духа. Приступы головной боли уже давно не мучили его, и глаза его были ясны, как голубое небо. Жизнь мощным потоком бурлила в его жилах, и от бронзового лица веяло цветущим здоровьем. В ожидании меня он занимал Мод Брустер беседой. Темой той беседы был соблазн, и из нескольких слов, брошенных Ларсеном, я понял, что он признает истинным соблазном лишь тот, перед которым человек не смог устоять и пал.

— Ну, по судите сами, — говорил он. — Ведь человек действует, попиная своим желаниям. Желаний у него много. Он может желать избежать боли или насладиться удовольствием. Но что бы он ни хотел, его поступки продиктованы желанием.

— А если, предположим, у него возникли два взаимно исключительных друга желания? — превала его Мод Брустер.

— Вот к этому-то я и веду, — ответил капитан, но она продолжала: — Душа человека как раз и проявляет себя в борьбе этих двух желаний. И, если душа благородна, она последует доброму побуждению и заставит человека совершить доброе дело; если же она порошна — он поступает дурно. И в том и в другом случае решает душа.

— Чувств и бессмыслица! — нетерпеливо воскликнул Волк Ларсен. Решает желание. Вот, скажем, человек, которому хочется напиться. И вместе с тем он не хочет напиваться. Что же он делает, как он поступает? Он марionетка, раб своих желаний и просто повинуется более сильному из этих двух желаний, вот и все. Душа тут ни при чем. Если у него появилось искушение напиться, то как он может устоять против него? Для этого должно обладать желанием остаться трезвым. Но, значит, это желание было более сильным, и оно и всего, соблазн не играет никакой роли, если, конечно... — он остановился, обдумывая мелькнувшую у него мысль, и вдруг расхохотался, — если это не соблазн остаться трезвым! Что вы на это скажете, мистер Ван-Вейден?

— Скажу, что вы оба спорите совершенно напрасно. Душа человека — это его желание. Или, если хотите, совокупность желаний

— это и есть его душа. Поэтому вы оба не правы. Вы, Ларсен, ставите во главу угла желание, отменяя в сторону душу. Мисс Брустер ставит во главу угла душу, отменяя желания. А в сущности, души и желание — одно и то же. — Однако, — продолжал я, — мисс Брустер права, утверждая, что соблазн остается соблазном, независимо от того, устоял человек или нет.

Ветер раздувает огонь, и он вспыхивает жарким пламенем. Желание подобно огню. Созерцание предмета желания, новое замечание описание его, новое постижение этого предмета разжигают желание, подобно тому как ветер раздувает огонь. И в этом закончен соблазн. Это ветер, который раздувает желание, пока оно не разгорится в пламя и не поглотит человека. Вот что такое соблазн! Иногда он недостаточно силен, чтобы сделать желание всепожирающим, но если он хоть в какой-то мере разжигает желание, это все равно соблазн. И, как вы сами говорите, он может толкнуть человека на добро, так же как и на зло.

Я был горд собой. Мои доводы решили спор или по крайней мере положили ему конец, и мы сели за стол.

Но Волк Ларсен был в этот день необычайно словоохотлив, и еще не выдал его таким. Казалось, накопившаяся в нем энергия ищет выхода. Почти сразу же он затеял спор о любви. Как и всегда, он подходил к вопросу грубо материалистически, а Мад Брустер отстаивала идеалистическую точку зрения. Прислушиваясь к их спору, я лишь изредка высказывал какое-нибудь соображение или вносил поправку, но больше молчал.

Ларсен говорил с подъемом; Мад Брустер тоже воодушевлялась. По временам я терял нить разговора, изучая ее лицо. Ее щеки редко покрывались румянцем, но сегодня они порозовели, лицо ожглолось. Она дала волю своему остроумию и спорила с жаром, а Волк Ларсен прямо упивался спором.

По какому-то поводу — о чем шла речь, не припомню, так как был увлечен в это время созерцанием капитанового локона, выбившегося из прически Мад, — Ларсен процитировал слова Изольды, которые она произносит, будучи в Тинтагеле:

Средь смертных жен я взыскана судьбой.
Так согрешить, как я, им не дано.
И грех прекрасен мой...

Если раньше, читая Омара Хайяма, он вкладывал в его стихи философское звучание, то сейчас, читая Суинберна, он заставлял его строки звучать восторженно, даже ликующе. Читал он приятно и хорошо. Едва он умолк, как Луис просунул голову в люк и начал перероком:

— Нельзя ли потише? Туман поднялся, а пароход, будь он не ладен, пересекает сейчас наш курс по носу. Виден левый бортовой огонь!

Мад Ларсен так стремительно выскочил на палубу, что, когда мы присоединились к нему, он уже успел, задвинув крышку люка, потушить пьяный рев, несшийся из кубрика охотников, и спешил набок, чтобы закрыть люк там. Туман рассеялся не вполне — он поднимал вышше, закрыв собою звезды, и сделал мрак совсем непроницаемым. И прямо вперед из мрака на меня глянули два огня, красный и белый, и я услышал мерное постукивание машины парохода. Несомненно, это была «Македония».

Мад Ларсен вернулся на ют, и мы стояли в полном молчании, ожидая, как быстро скользящими мимо нас огнями.

— Наме счастье, у него нет прожектора, — промолвил Волк Ларсен.

— А что, если я закричу? — шепотом спросил я.

— Тогда все пропало, — отвечал он. — Но вы подумали о том, что сразу же за этим последует?

Прежде чем я успел выразить какое-либо любопытство по этому поводу, он уже держал меня за горло своей обезьяньей лапой. Это несколько едва заметно напряглось, и это был весьма выразительный знак на то, что ему ничего не стоит свернуть мне шею. Впрочем, он тут же отпустил меня, и мы снова стали следить за огнями «Македонии».

— А если бы крикнула я? — спросила Мад.

И слишком расположен к вам, чтобы причинить вам боль, — таково считал он, и в его голосе прозвучали такая нежность и ласка, что меня передернуло. — Но лучше не делайте этого, потому что я не же смерти шею мистеру Ван-Вейдену, — добавил он.

В таком случае я разрешаю ей крикнуть, — вызывающе сказал я. — Напрям ли мисс Брустер захочет пожертвовать жизнью «названия американской литературы номер два», — с издевкой проговорил Мад Ларсен.

Больше мы не обменялись ни словом; впрочем, мы уже настолько привыкли друг к другу, что не испытывали неловкости от наступившего молчания. Когда красный и белый огни исчезли вдаль, мы вернулись в кают-компанию, чтобы закончить прерванный ужин. Ларсен снова процитировал какие-то стихи, а Мод прочла «Imperientia Ultima» Давсона. Она читала превосходно, но я никак не мог оторвать от него глаз, так поразила меня его взгляд, прикованный к ее лицу. Я видел, что он совершенно поглощен ею; губы его бессознательно шевелились, неслышно повторяя за ней слова:

... И когда потаснет солнце,

Пусть ее глаза мне светят,

Скрипки в голосе любимой

Пусть потют в последний час...

— В вашем голосе потют скрипки! — неожиданно произнес он, и в глазах его опять сверкнули золотые искорки.

Я готов был громко возгласить при виде проявленного ею самообладания... Она без запинки дочитала заключительную строфу, а затем постепенно перевела разговор в более безопасное русло. И был как в дурмане. Сквозь переборку кубрика доносились звуки пьяного разгула, а мужчина, который внушал мне ужас, и женщины, которую я любил, сидели передо мной и говорили, говорили... Но кто не убирал со стола. Матрос, заменивший Матриджа, очевидно, присоединился к своим товарищам в кубрике.

Если Волк Ларсен был когда-либо всецело упоен минутой, то это сейчас. Временами я отыскался от своих мыслей, с изумлением прислушиваясь к его словам, поражаюсь незаурядности его ума и силе страсти, с которой он отдавался проповеди матажа. Равнодушный Люцифера из поэмы Милтона, и острота анализа, который давал этому образу Волк Ларсен, и красочность некоторых его описаний показывали, что он загубил в себе несомненный талант. Мне невольно пришел на память Тэн, хотя я и знал, что Ларсен никогда не читал этого блестящего, но опасного мыслителя.

— Он возглавил борьбу за дело, обреченное на неудачу, и не утратил громов небесных, — говорил Ларсен. — Низвергнутый в ад, он не был сломен. Он увел за собой треть ангелов, ибодовал человека против бога и целые поколения людей привлек

к своей стороне и обрек ад. Почему был он изгнан из рая? Был ли он менее отважен, менее горд, менее велик в своих замыслах, чем тот, чье имя бог? Нет! Тысячу раз нет! Но бог был могущественнее. Как он скандал? «Он возвеличился лишь силою громов». Но Люцифер свободный дух. Для него служить было равносильно гибели. Он предостерегал страдания и свободу беспечальной жизни и рабству. Он хотел служить богу. Он ничему не хотел служить. Он не был безвольной фигурой вроде той, что укрывает нос моей шкуны. Он стоял на своих ногах. Это была личность!

Он был первым анархистом, — рассмеялась Мод, вставая и наклонившись к себе в каюту.

Значит, быть анархистом хорошо! — воскликнул Волк Ларсен.

Он тоже поднялся и, стоя перед ней у двери в ее каюту, продолжал:

Но крайней мере здесь Свободны будем.

Нам здесь бог не станет

Иницировать и нас он не изгонит.

Теперь будем править мы. И хоть в аду,

Но все же править стоит, ибо лучше

Нарвать в аду, чем быть рабом на небе.

Это был гордый вызов могучего духа. Когда он умолк, голос его, продолжал звучать в стенах каюты, а он стоял, слегка покачиваясь, откинув назад голову, бронзовое лицо его сияло, в глазах сверкали золотые искорки, и он смотрел на Мод, как смотрит на женщину мужчина, — зовущим, ласковым и властным взглядом.

И снова я отчетливо прочел в ее глазах безотчетный ужас, когда она почти шепотом произнесла:

Вы сами Люцифер! Дверь за нею закрылась. Несколько секунд Волк Ларсен продолжал стоять, глядя ей вслед, потом, как бы очнувшись, обернулся ко мне.

И сменю Луиса у штурвала и в полночь разбужу вас. А пока вы можете и постарайтесь выспаться.

Он потянул рукавицы, надел фуражку и поднялся по трапу, а я последовал его совету и лег. Не знаю почему, словно повинуюсь какому-то таинному побуждению, я лег не раздеваясь. Некоторое время я все прислушивался к шуму в кубрике охотников и с восторгом и изумлением размышлял о своей неожиданной любви. Но на «При-

зраке» я научился спать крепким, здоровым сном, и постепенно пение и крики стали улетывать куда-то, веки мои смежились, и глубокий сон погрузил меня в небытие.

Не знаю, что разбудило меня и подняло с койки, но очнувшись и уже на ногах. Сон как рукой сняло; я весь трепетал от ощущения неведомой опасности — настойчивого, словно громкий зов трубы. Я распахнул дверь. Лампа в кают-компании была притушена. Я увидел Мода, мою Мода, бьющуюся в железных объятиях Волка Ларсена. Она тешно старалась вырваться, руками и головой упираясь ему в грудь. Я бросился к ним.

Волк Ларсен поднял голову, и я ударил его кулаком в лицо. Но это был слабый удар. Зарывав, как зверь, Ларсен оттолкнул меня. Этим толчком, легким взмахом его чудовищной руки я был отброшен в сторону с такой силой, что врезался в дверь бывшей каюты Матриджа, и она разлетелась в щепы. С трудом выкарабкавшись из-под обломков, я вскочил и, не чувствуя боли — ничего, кроме овладевшей мной бешеной ярости, — снова бросился на Ларсена. Помнится, я тоже зарывал и выхватил висевший у бедра нож.

Но случилось что-то непонятное. Капитан и Мода Брустер стояли теперь подаль друг от друга. Я уже занес нож, но рука моя застыла в воздухе. Меня поразила эта неожиданная и странная перемена. Мода стояла, прислонившись к переборке, придерживаясь за нее откинутой в сторону рукой, а Волк Ларсен, шатаясь, прикрыв левой рукой глаза, правой неуверенно, как слепой, шарил вокруг себя. Наконец он нащупал переборку и, казалось, испытал огромное физическое облегчение, словно не только нашел опору, но и понял, где находится.

А затем ярость вновь овладела мной. Все перенесенные мною унижения и издевательства, все, что выстрадал от Волка Ларсена я и другие, нахлынуло на меня, и я внезапно с необыкновенной от этого человека на земле. Не помня себя, я кинулся на него и вонзил ему нож в плечо. Я сразу понял, что ранил его легко — нож только скользнул по лопатке, — и я снова занес его, чтобы поразить Ларсена насмерть.

Но Мода, которая видела все, с криком бросилась ко мне:

— Не надо! Умоляю вас, не надо! Я опустил руку, но только на миг. Я замахнулся еще раз и, вероятно, убил бы Ларсена, если бы Мода не встала между нами. Ее руки обвились вокруг меня, я ощутил ее пальцы на моем лице. Кровь закипела во мне, но и ярость вспыхнула с удивительной силой. Мода заглянула мне в глаза.

— Ради меня! — взмолилась она.

— Ради вас? Ради вас я и убью его! — крикнул я, пытаюсь высвободить руку и боюсь вместе с тем сделать девушке больно.

— Успокойтесь! — шепнула она, закрывая мне рот рукой.

Прикосновение ее пальцев к моим губам было так сладостно, что, необычайно сладостно, что, несмотря на владевшее мною бесновением, я готов был расцеловать их, но не посмел.

— Пожалуйста, прошу вас! — молила она, и я почувствовал, что снова ее обезоруживают меня и что так будет отныне всегда.

Я отступил, вложил свой тесак в ножны и валинул на Волка Ларсена. Он все еще стоял, прижав левую руку ко лбу, прикрывая ею глаза. Голова его свесилась на грудь. Он весь как-то обмяк, могущие плечи ссутулились, спина согнулась.

— Ван-Вейден! — хрипло, с оттенком страха в голосе позвал он. — Ван-Вейден! Где вы?

Я валинул на Мода. Она молча кивнула мне.

— Я здесь, — ответил я и подошел к нему. — Что с вами?

— Помогите мне сесть, — сказал он тем же хриплым, испуганным голосом. — Я болен, очень болен, Хэмп! — добавил он, опускаясь на стул, к которому я подвел его.

Он уронил голову на стол, обхватил ее руками и мотал ею из стороны в сторону, словно от боли. Когда он приподнял ее, я увидел крупные капли пота, выступившие у него на лбу у корней волос.

— Я болен, очень болен, — повторил он несколько раз.

— Да что с вами такое? — спросил я, кладя ему руку на плечо. — Чем я могу помочь вам?

Но он раздраженно сбросил мою руку, и я долго молча стоял возле него. Мода, испуганная, растерянная, смотрела на нас. Она тоже не могла понять, что с ним случилось.

— Хэмп, — сказал он наконец, — мне надо добратся до койки.

Я взял его руку. Скоро все пройдет. Верно, опять эта проклятая рецидивная боль. Я всегда боялся ее. У меня было предчувствие... Да

нет, вздор, я сам не знаю, что говорю. Помогите мне добраться до койки.

Но когда я уложил его, он опять прикрыл глаза рукой, и, уходя, слышал, как он пробормотал:

— Я болен, очень болен!

Я вернулся к Мод: она встретила меня вопросительным взглядом. Я в недоумении пожал плечами.

— Что-то с ним случилось, а что — не знаю. Он совершенно беспомощен и, должно быть, впервые в жизни по-настоящему напуган. Случилось это, конечно, еще до того, как я ударил его ножом, да это и не рана, а царапина. Вы, верно, видели, как это с ним началось?

Она покачала головой.

— Я ничего не видела. Для меня это такая же загадка. Он вдруг выпустил меня и пошатнулся. Но что нам теперь делать? Что я должна делать?

— Пожалуйста, подождите меня здесь. Я скоро вернусь, — отнечал я и вышел на палубу. Луис стоял у штурвала.

— Можешь идти спать, — сказал я ему, становясь на его место.

Он охотно исполнил приказание, и я остался на палубе один. Стараясь производить как можно меньше шума, я взял топсели на гитовы, спустил бом-кливер и стаксель, вынес кливер на подветренный борт и выбрал грот. Затем я вернулся к Мод. Сделав ей знак молчать, я прошел в каюту Волка Ларсена. Он лежал в том же положении, в каком я его оставил, и голова его все так же перекатывалась из стороны в сторону по подушке.

— Могу я чем-нибудь помочь вам? — спросил я.

Он сперва ничего не ответил, но, когда я повторил вопрос, сказал:

— Нет, нет, мне ничего не надо! Оставьте меня одного до утра.

Но, выходя из каюты, я заметил, что он опять мечется по подушке. Мод терпеливо ждала меня, и когда я увидел ее горделивую головку, ее ясные, лучистые глаза, радость охватила меня. Глаза ее были так же ясны и невозмутимы, как ее душа.

— Готовы ли вы доверить мне свою жизнь и отвязаться на шестисте примерно в шестьсот миль?

— Вы хотите сказать... — протворила Мод, и я понял, что они угадали мое намерение.

Да, — подтвердил я, — я хочу сказать, что нам ничего другого не остается, как пуститься в море на парусной шлюпке.

Вернее, мне? Вам-то здесь по-прежнему ничто не грозит.

Нет, это единственное спасение для нас обоих, — твердо повторил я.

— Оденьтесь, пожалуйста, как можно теплее и быстро соберите все, что вы хотите взять с собой. Поспешите! — добавил я, когда она направилась в свою каюту.

Кладовая находилась непосредственно под каюткомпанией. Открыл люк, я спрыгнул вниз, зажел свечу и принялся отбирать из стальных запасов самое для нас необходимое, главным образом консервы. А когда дело подошло к концу, вверх ко мне протянулись две веревки, и я начал переставать все Мод.

Мы работали молча. Я запасся также одеялами, рукавицами, зимней одеждой, зойдвестками... Нам предстояло тяжелое испытание — пуститься в плавание по бурному, суровому океану в отрывной шлюпке, и, чтобы выдержать его, нужно было как можно лучше защитить себя от холода, дождя и морских брызг.

Мы работали с лихорадочной поспешностью. Вынесли всю нашу добычу на палубу и уложили ее возле одной из шлюпок. Мод так устала, что вскоре совсем обессилела и в изнеможении присела на ступеньки юта. Но и это не принесло ей облегчения, и тогда она легла прямо на голые доски палубы, раскинув руки, и чтобы дать полный отдых всему телу. Я вспомнил, что моя семья всегда отдыхала точно так же, и знал, что силы Мод скоро восстановятся. Необходимо было запастись также оружием, и я спустился в каюту Волка Ларсена за его винтовкой и дробовиком. Спустился в каюту, но он не ответил мне ни слова, хотя голова его и затворил с ним, но он не ответил мне ни слова, хотя голова его и по-прежнему перекатывалась по подушке и он, по-видимому, не спал.

— Прощай, Люцифер! — прошептал я и тихонько прикрыл за собой дверь.

Теперь предстояло раздобыть еще патроны, что было нетрудно, когда и пришлось спуститься для этого в кубрик охотников. Там у них крались ящики с патронами, которые они брали с собой в экспедиции, когда шли на охоту. Взяв два ящика, я унес их из-под самонадеянно разгуливавших куттил.

Оставалось спустить шлюпку — нелегкая задача для одного человека. Отдав наитовы, я налет сперва на носовые тали, потом на кормовые, чтобы вывалить шлюпку за борт, а затем, потравив на очереди и те и другие тали, спустил ее на два-три фута, так что она повисла над водой, прижимаясь к борту шхуны. Я проверил, не мсте ли парус, весла и уключинны. Запастись пресной водой было, пожалуй, важнее всего, и я забрал бочонки со всех шлюпок. На борту находилось теперь уже девять шлюпок, и нам должно было хватить этой воды, а кстати, и балласта. Впрочем, я столько запас всего, что даже побивался — не перегрузил ли я шлюпку.

Когда Мод начала передавать мне в шлюпку провизию, из будки вышел на палубу матрос. Он постоял у наветренного борта (шлюпку мы спустили с подветренного), потом медленно пообрел на середину палубы и еще немного постоял, повернувшись лицом к ветру и спиной к нам. Я притягился на дне шлюпки; сердце у меня бешено колотилось. Мод лежала совершенно неподвижно, выткнувшись в тени фальшборта. Но матрос так и не взглянул в нашу сторону. Закинув руки за голову, он потянулся, громко зевнул и снова ушел на бак, где и исчез, нырнув в люк.

Через несколько минут я потрузил все в шлюпку и спустил ее на воду. Помогая Мод перелезть через планшир, я на мгновение опустил ее совсем близко возле себя, и слова: «Я люблю вас! Люблю!» — чуть не слетели с моих губ. «Да, Хэмфри Ван-Вейден, вот ты и выболел наконец!» — подумал я. Ее пальцы переплелись с моими, и я, одной рукой держась за планшир, другой поддерживал ее и благополучно спустил в шлюпку. При этом я невольно испытывал чувство гордости — я поучаствовал в себе силу, какой совсем не обладали еще несколько месяцев назад, в тот день, когда простившись с Чарли Фэрasetом, отправился в Сан-Франциско на злополучном «Мартинесе».

но на это по крайней мере минут двадцать, но в конце концов я успел подняться и натянуть парус, после чего, взявшись за рулевое колесо, принялся шлюпку к ветру.

Ван-Вейден, вы храбрый человек, — сказала Мод.

— отвечал я. — Это вы храбрая женщина.

Вот и стоворившись, мы одновременно обернулись, чтобы увидеть в последний раз на «Призраке». Невысокий корпус шхуны вынырнул на волнах с наветренной стороны от нас, паруса смутно вырисовались из темноты, а подвизанное колесо штурвала скрипело, и в руль ударяла волна. Потом очертания шхуны и эти звуки постепенно растаяли вдали, и мы остались одни среди волн и мрака.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Забрезжило утро, серое, промозглое. Дул свежий бриз, и шлюпка шла бейдевинд. Компас показывал, что мы держим курс прямо на Японию. Теплые рукавицы все же не спасали от холода, и пальцы у меня стыли на кормовом весле. Ноги тоже домило от холода, и я с нетерпением ждал, когда встанет солнце.

Передо мной на дне шлюпки спала Мод. Я надеялся, что ей тепло, так как она была укутана в толстые одежды. Красем одежда я прикрыл ей лицо от ночного холода, и мне были видны лишь смутные очертания ее фигуры да прядь светло-каштановых волос, сверкавшая каплями осевшей на них росы.

Я долго, не отрываясь, смотрел на эту тоненькую прядку волос, как смотрят на драгоценнейшее из сокровищ. Под моим пристальным взглядом Мод зашевелилась, отбросила край одежды и улыбнулась мне, приподняв тяжелые от сна веки.

— Доброе утро, мистер Ван-Вейден, — сказала она. — Земли еще не видно?

— Нет, — отвечал я. — Но мы приближаемся к ней со скоростью шести миль в час.

Она сделала разочарованную гримасу.

— Но это сто сорок четыре мили в сутки, — постарался я приободрить ее.

Лицо Мод просветлело.

— А как далеко нам еще плыть?

— Вон там — Сибирь, — указал я на запад. — И примерно в шестистах милях отсюда на юго-запад — Япония. При этом ветре мы доберемся туда за пять дней.

— А если поднимется буря? Шлюпка не выдержит? Мод умела требовать правды, глядя вам прямо в глаза, и наши взгляды встретились.

— Только при очень сильной буре, — уклончиво сказал я.

— А если будет очень сильная буря? Я молча наклонил голову.

— Но нас в любой момент может подобрать какая-нибудь промысловая шхуна. Их много сейчас в этой части океана.

— Да вы совсем продрогли! — вдруг воскликнула она. — Смотрите, вот тресет! Не спорьте, я же вижу. А я-то греюсь под одежками!

— Не знаю, какая была бы польза, если бы вы тоже сидели и мерзли, — рассмеялся я.

— Польза будет, если я научусь управлять шлюпкой, а я непременно научусь!

Сидя на дне шлюпки, Мод занялась своим нехитрым туалетом. Она распустила волосы, и они пушистым облаком закрыли ей лицо и плечи. Как хотелось мне зарыться в них лицом, целовать эти мягкие влажные каштановые пряди, играть ими, пропускать их между пальцами! Очарованный, я не сводил с нее глаз. Но вот шлюпка повернулась боком к ветру, парус захлопал и напомнил мне о моих обязанностях. Идеалист и романтик, я до этой поры, несмотря на свой аналитический склад ума, имел лишь смутные представления о физической стороне любви. Любовь между мужчиной и женщиной я воспринимал как чисто духовную связь, как некие возвышенные чувства, соединяющие две родственные души. Плотским же отношением в моем представлении о любви отводилась лишь самая незначительная роль. Однако теперь полученный мною сладостный урок говорил мне, что душа выражает себя через свою телесную оболочку и что инд, запад, прикосновение волос любимой — совершенно так же, как свет ее глаз или слова, слетающие с ее губ, — являются головами, дыханием, сутью ее души. Ведь дух в чистом виде — нечто неосязаемое, непостижимое и лишь угадываемое и не может выражать себя через себя самого. Антропоморфизм Иеговы выразился в том, что он мог являться иудеям только в доступном для их восприятия виде. И в представлении израильтян он вставал как образ и подобие их самих, как облако, как огненный столп, как нечто осязаемое, физически реальное, доступное их сознанию.

Там и я, глядя на светло-каштановые волосы Мод и любуясь ими, понимал смысл любви глубоже, чем могли меня этому научить песни и сонеты всех певцов и поэтов. Вдруг Мод, тряхнув головой, откинула волосы назад, и я увидел ее улыбающееся лицо.

Почему женщины подбирают волосы, почему они не носят их распушенными? — сказал я. — Так красивее.

— Но они же страшно путаются! — рассмелилась Мод. — Ну вот, потеряла одну из моих драгоценных шпильки!

И снова парус захолопал на ветру, а я, забыв о шлюпке, любовался каждым движением Мод, пока она разыскивала затерявшуюся в одеждах шпильку. Она делала это чисто по-женски, и я испытывал изумление и восторг: мне вдруг открылось, что она истая женщиной, женщина до мозга костей.

До сих пор я слишком возносил ее в своем представлении, ставил ее на недостижимую высоту над всеми смертными и над самим собой. Я создал из нее ботоподобное, неземное существо. И теперь я радовался каждой мелочи, в которой она проявляла себя как обыкновенная женщина, радовался тому, как она откидывает назад волосы или ищет шпильку. Да, она была просто женщиной, так же как я — мужчиной, она была таким же земным существом, как я, и я мог обрести с нею эту восхитительную близость двух родственных друг другу существ — близость мужчины и женщины, — навсегда сохранив (в этом я был убежден наперед) чувство преклонения и восторга перед нею.

С радостным возгласом, пленительным для моего слуха, она шла, наконец, шпильку, и я сосредоточил свое внимание на управлении шлюпкой. Я сделал опыт — подвезал и закрепил рулевое весло — и добился того, что шлюпка без моей помощи шла бейдевинд. По временам она приводилась к ветру или, наоборот, уваливалась, но, в общем, недурно держалась на курсе.

— А теперь давайте завтракать! — сказал я. — Но сперва вам необходимо одеться потеплее.

Я достал толстую фуфайку, совсем новую, шитую из теплой ткани, из которой шьют одежду: ткань была очень плотная, и я знал, что она не скоро промокнет под дождем. Когда Мод натянула фуфайку, я дал ей вместо ее фуражки знойдевку, которая, если отогнуть низ поля, закрывала не только волосы и уши, но даже шею. Мод в этом уборе выглядела очаровательно. У нее было одно из тех лиц, которые ни при каких обстоятельствах не теряют привлекательности. Ничто не могло испортить прелесть этого лица — его изысканный овал, правильные, почти классические черты, тонко очерченные брови и большие карие глаза, пронизательные и ясные, удивительно ясные.

Неславно резкий порыв ветра подхватил шлюпку, когда она наконец пересекла гребень волны. Сильно накренившись, она задела по самый планшир во встречную волну и черпнула бортом воду. Я искрыгал в это время банку консервов и, бросившись к шкафу, едва успел отжать его. Парус захолопал, затрепетал, и шлюпка улетела под ветер. Провозившись еще несколько минут с парусом, я снова положил шлюпку на курс и возобновил приготовления к завтраку.

Действует как будто неплохо, — сказала Мод, одобительно кивнув головой в сторону моего рулевого приспособления. — Впрочем, и ведь ничего не смыслию в мореходстве.

— Это устройство будет служить, только пока мы идем бейдевинд, — объяснил я. — При более благоприятном ветре — с кормы, с форина или бакштаг — мне придется править самому.

Я признался, не понимаю всех этих терминов, но вывод ясен, и он мне не очень-то нравится. Не можете же вы крутые сутки бесечно сидеть на руле! После завтрака извольте дать мне первый урок. А потом вам нужно будет лечь поспать. Мы установим вахты как на корабле.

— Ну как я буду учить вас, — запротестовал я, — когда я сам еще только учусь! Вы доверились мне и, верно, не подумали, что у меня нет никакого опыта в управлении парусной шлюпкой. Я впервые в жизни попал на нее.

— В таком случае, сэр, мы будем учиться вместе. И так как вы на целую ночь опередили меня, вам придется поделиться со мной тем, что вы уже успели постичь. А теперь завтракать! На воздухе разыгрывается аппетит!

— Да, но кофе не будет! — с сокрушением сказал я, передавая ей потертые маслом галеты с ломтиками языка. — Не будет ни чая, ни супа — никакой горячей еды, пока мы где-нибудь и когда-нибудь не пристанем к берегу.

После нашего незамысловатого завтрака, завершившегося чашкой коловидной воды, я дал Мод урок вождения шлюпки. Обучая ее, я ронял сам, хотя кое-какие познания у меня уже были, — я приобрел их, управляя «Призраком» и наблюдая за действиями рулевых на шлюпках. Мод оказалась способной ученицей и быстро научилась держать курс, приводиться к ветру и отдавать, когда нужно, шкот.

Потом, устав, как видно, она передала мне весло и принялась расстилать на дне шлюпки одеяла, которые я успел свернуть. Устроив все как можно удобнее, она сказала:

Что мне оставалось делать? Она так настойчиво повторяла: «Пожалуйста, прошу вас», что я в конце концов подчинился и отдал ей кормовое ведро. Забираясь в постель, постланную ее руками, и испытал необычайное наслаждение. Казалось, в этих одеялах было что-то успокаивающее и умиротворяющее, словно это передано им от нее самой, и чувство покоя сразу охватило меня. Сквозь слезную дрему я видел нежный овал ее лица и большие карие глаза... Обрамленное знойвесткой лицо ее колебалось передо мной, вырисовываясь то на фоне серого моря, то на фоне таких же серых облаков... и я уснул.

Я понял, что крепко спал, когда, внезапно очнувшись, взглянул на часы. Был час дня. Я проспал целых семь часов! И целых семнадцать часов она одна правила шлюпкой! Принимая от нее всего, я должен был помочь ей разогнуть оочевенные пальцы. Она исчерпала все небольшой запас своих сил и теперь не могла даже приподняться. Я вынужден был бросить парус, чтобы помочь ей добраться до постели. И, уложив ее, принялся растирать ей руки.

— Как я устала! — произнесла она с глубоким вздохом и бессильно поникла головой.

Но через секунду она встрепенулась.

— Только не вздумайте браниться, не смейте, слышите! — с шутливым вызовом сказала она.

— Разве у меня такой сердитый вид? — отзывался я без улыбки.

— Да-а... — протянула она. — Не сердитый, но укоризненный.

— Значит, мое кино только честно выражает то, что я чувствую. А вот вы поступили нечестно — и по отношению к себе и ко мне. Как теперь прикажете доверять вам?

Она виновато взглянула на меня.

— Я буду танькой, — сказала она, как напроказивший ребёнок.
— Обещаю вам...

Повинен ли матрос повинется капитану?

ответила она — Я знаю: это было групо.

Почему обещайте мне еще кое-что.

OXOTHO!

Обещайте мне не так часто говорить: «Пожалуйста, прошу».

Она рассмеялась, и я почувствовал, что моя просьба не только понравилась ей, но и польстила ей. Она уже сама заметила, какую ошибку совершила, и теперь хотела извиниться.

Пожалуйста — хорошее слово... — начал я.

Пожалуйста — хорошее слово... для меня...
...я благодарна им — закончили она за меня.

...Но я не должна злоупотреблять им, — доверчиво сказала она.

— Она снова рассмеялась, но уже чуть слышно, и уронила голову. Я оставил всего, чтобы закутать одеялом ее ноги и прикрыть ей лицо. Увы, у нее было так мало сил! С недобрый предчувствием посмотрел я на юго-запад и подумал о шестистах милях, отделявших нас от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях. Да и как же мне от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях. Да и как же мне от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях. Да и как же мне от берега, и о всех предстоявших нам испытаниях.

В этой части океана в любую погоду мог разыграться гибельный для нас шторм. И все же я не испытывал страха. Я не был спокоен за будущее, о нет, — самые тяжкие сомнения грызли меня, — но за всем этим не было страха. «Все это сомнения твердят себе, — все обойдется!»

После полудня ветер посвежел и поднял большие волны, которые основательно трепали шлюпку и задавали мне работу. Впро-
чем, опасения наши провизия и девять бочонков воды придавали
мне, зависшая на нас парусом, и я шел под парусом, пока это
было достаточно устойчиво, и я шел под парусом, пока это
было слишком опасным. Тогда я убрал шпринт, туго притянул и
веревки верхний угол паруса, превратив его в треугольный, и мы
поплыли дальше.

(Под вечер я заметил на горизонте с подветренной стороны дым от паровоза. Это мог быть либо русский крейсер, либо скорее всего немецкий). Все еще разыскивающая шхуна.

Солнце за весь день ни разу не выглянуло из-за облаков, и было очень холодно. К ночи облака стелились еще больше, веревки, и нам пришлось ужинать, не снимая рукавиц, причем я не мог выпустить из рук рулевого весла и ухитрился оторвать и рот кусочки пищи только в промежутках между порывами ветра.

Когда стемнело, шлюпку стало так швырять на волнах, что я вынужден был убрать парус и приняться мастерить плавучий якорь. Это была нехитрая штука, о которой я знал из рассказов охотников. Сняв мачту, я завернул ее вместе с шпринтом, тиком и двумя параборт. Концы веревки я закрепил на носу, и плавучий якорь был готов. Мало выступая из воды и почти не испытывая влияния ветра, он тормозил шлюпку и удерживал ее носом к ветру. Когда море покрывалось белыми барашками, это наилучший способ, чтобы шлюпку не захлестнуло волной.

— А теперь что? — весело спросила Мод, когда я справился со своей задачей и снова натянул рукавицы.

— А теперь мы уже не плывем к Японии, — сказал я. — Мы дрейфуем на юго-восток или на юго-юго-восток со скоростью по крайней мере двух миль в час.

— До утра это составит всего двадцать четыре мили, — заметила она, — да и то, если ветер не утихнет.

— Верно. А всего сто сорок миль, если этот ветер продержится трие суток.

— Не продержится! — бодро заявила Мод. — Он непременно повернет и будет дуть как следует.

— Море — великий предатель.

— А ветер? — возразила она. — Я ведь слышала, как вы пели дифирамбы «бравым пассатам».

— Жаль, что я не захватил сектант и хронометр Ларсена, — мрачно произнес я. — Когда мы сами плывем в одном направлении, ветер ствуща нас в другом, а течение, быть может, — в третьем, и равнодействующая не поддается точному исчислению. Скоро мы не сможем определить, где находимся, не сделав ошибки в пятьсот миль.

После этого я попросил у Мод прощения и обещал больше не падать духом. Уступив ее уговорам, я ровно в девять оставил ее на вахте до полуночи, но, прежде чем лечь спать, хорошенько закутался в одеяла, а поверх них — в непромокаемый плащ. Спал я лишь урывками. Шлюпку швыряло, с гребня на гребень, волны гулко ударялись о дно. Я слышал, как они ревут за бортом, и брызги ежесекундно обливали мне лицо. И все же, размышляя я, не такая уж это скверная ночь — ничто по сравнению с тем, что мне ночь за ночью

приходилось переживать на «Призраке», и с тем, что нам, быть может, предстоит еще пережить, пока нас будет носить по океану на этом утлом суленышке. Я знал, что обшивка у него всего в три четверти дюйма толщиной. Слой дерева тоньше дюйма отделил нас от морской пучины.

И тем не менее, готов утверждать это снова и снова, я не боялся. Я больше уже не испытывал того страха смерти, который когда-то питал на меня Волк Ларсен и даже Томас Магридж. Появление в моей жизни Мод Брустер, как видно, переродило меня. Любить, думать я, — ведь это еще лучше и прекраснее, чем быть любимым! Но чувство дает человеку то, ради чего стоит жить и ради чего он готов умереть. В силу любви к другому существу я забывал о себе, и вместе с тем — странный парадокс! — мне никогда так не хотелось жить, как теперь, когда я меньше всего дорожил своей жизнью. Ведь иногда еще жизнь моя не была наполнена таким смыслом, думал я. Нома дремота подкрадывалась ко мне, я лежал и с чувством неизведанного довольства вглядывался в темноту, зная, что там, на корме, приоткрылась Мод, что она зорко несет свою вахту среди бушующих волн и готова каждую минуту позвать меня на помощь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Стоит ли рассказывать о всех страданиях, перенесенных нами на нашей маленькой шлюпке, когда нас долгие дни носило и мотало по океанским просторам? Сильный северо-западный ветер дул целые сутки. Потом наступило затишье, но к ночи поднялся ветер с юго-запада, то есть прямо нам в лоб. Тем не менее я втянул плавучий якорь, поставил парус и направил лодку круто к ветру с курсом на юго-юго-восток. Ветер позволял выбирать лишь между этим курсом и курсом на запад-северо-запад, но теплые дыхание юга выскло меня в более теплые моря, и это определило мое решение.

Однако через три часа, — как сейчас помню, ровно в полночь, — когда нас окружал непроницаемый мрак, этот юго-западный ветер так разбушевался, что я вновь был принужден выбросить плавучий якорь.

Рассвет застал меня на корме. Воспаленными от напряжения глазами я всматривался в побелевший вспененный океан, среди которого наша лодка беспомощно взлетала и ныряла, держась на своем плавучем якоре. Мы находились на краю гибели — каждую секунду нас могло захлестнуть волной. Брызги и пена низвергались на нас нескончаемым водопадом, и я должен был безостановочно вычерпывать воду. Одежда промокла насквозь. Промокло все, и только Мод, в своем плаще, резиновых сапогах и знойдвестке, была хорошо защищена, хотя руки, лицо и выбившаяся из-под знойдвестки прядь волос были у нее совершенно мокрые. Время от времени она брала у меня черпак и, не страшась шторма, принималась энергично вычерпывать воду. Все на свете относительно: в сущности, это был просто свежий ветер, но для нас, борющихся за жизнь на нашем жалком суденышке, это был настоящий шторм.

Продолжительные, измучительные, весь день сражались мы с разбушевавшимся океаном и свирепым ветром, хлеставшим нам в лицо. Настала ночь, но мы не спали. Опять рассвело, и по-прежнему ветер бил нам в лицо и пенные валы с ревом неслись навстречу.

На вторую ночь Мод начала засыпать от изнеможения. Я укутал ее плащом и брезентом. Одежда на ней не очень промокла, но дыхание закончилось от холода. Я боялся за ее жизнь. И снова занялся волн, такой же холодный и безрадостный, с таким же сумрачным оттенком, яростным ветром и грозным ревом волн.

Двое суток я не смыкал глаз. Я весь промок, продрог до костей и был полумертв от усталости. Все тело у меня ныло от холода и напряжения, и при малейшем движении напряженные мускулы давали себя знать, — двигаться же мне приходилось беспрестанно. А на тем временем все несло и несло на северо-восток — все дальше от берегов Японии, в сторону холодного Берингова моря.

Но мы держались, и шлюпка держалась, хотя ветер дул с неслыханной силой. К концу третьего дня он еще окреп. Один раз шлюпка так зарылась носом в волну, что ее на четверть залило водой. Я работал черпаком, как одержимый. Вода, заполнившая шлюпку, ткнула ее книзу, уменьшала ее плавучесть. Еще одна такая волна — и нас ждала неминуемая гибель. Вычерпав воду, я вынужден был снять с Мод брезент и затянуть им носовую часть шлюпки. Он накрыл собою шлюпку на треть и сослужил нам хорошую службу, помогая спасти нас, когда лодка врезалась носом в волну.

На Мод было жалко смотреть. Она съезжилась в комочек на дне лодки, губы ее посинели, на бескровном лице отчетливо были нарисованы испытываемые ею муки. Но ее глаза, обращенные на меня, все так же светились мужеством, и губы произносили ободряющие слова.

В эту ночь шторм, должно быть, бушевал особенной яростью, но я уже почти ничего не сознавал, усталость одолела меня, и я зашел на корме.

К утру четвертого дня ветер упал до едва приметного дуновения, волны улеглись, и над нами ярко засияло солнце. О, благодатное солнце! Мы не жили свои измученные тела в его ласковых лучах и оживали, как бухалки после бури. Мы снова начали улыбаться, ити и бодро смотреть на будущее. А ведь в сущности положение наше было плачевнее прежнего. Мы теперь были еще дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули «Призрак»; а о том, какой широте и долоте мы находимся, я мог только гадать, и притом весьма приблизительно. Если мы в течение семидесяти с лишним

часов дрейфовали со скоростью двух миль в час, нас должно было снести по крайней мере на сто пятьдесят миль к северо-востоку. Но были ли верны мои подсчеты? А если мы дрейфовали со скоростью четырех миль в час? Тогда нас несло еще на сто пятьдесят миль дальше от цели.

Итак, где мы находился, я не знал и не удивился бы, если бы мы вдруг снова увидели «Призрака». Вокруг плавали коттики, и я все время ждал, что на горизонте появится промысловая шхуна. Во второй половине дня, когда снова поднялся свежий северо-западный ветер, мы действительно увидели дали какую-то шхуну, но она тут же скрылась из глаз, и опять мы остались одни среди пустынного моря. Были дни непроницаемого тумана, когда даже Мод падала духом и с ее губ уже не слетали веселые слова; были дни шторма, когда мы плыли по безмолвному, безграничному простору, подавленные величием океана, и дивились тому, что все еще живы и боремся за жизнь, несмотря на всю нашу беспомощность; были дни пуги и снежных шквалов, когда мы промерзали до костей, и были дождливые дни, когда мы наполняли наши боючки стекавшей с паруса водой.

И все эти дни моя любовь к Мод непрестанно росла. Эта девушка была такой многогранной, такой богатой настроениями — «протеевой», как я называл ее, — натурой. У меня были для нее и другие, еще более ласковые имена, но я ни разу не произнес их вслух. Слова любви трепетали у меня на губах, но я знал, что сейчас не время для признаний. Можно ли, взяв на себя задачу спасти и защитить женщину, просить ее любви? Но сколь ни сложно было — в силу этого и в силу многих других обстоятельств — мое положение, я думаю, мне, умел держать себя как должно. Ни взглядом, ни жестом не выдавал я своих чувств. Мы с Мод были добрыми товарищами, и с каждым днем наша дружба крепла.

Больше всего поражало меня в Мод полное отсутствие робости и страха. Ни грозное море, ни углая лодка, ни штормы, ни страдания, ни наше одиночество, то есть все то, что могло бы устрашить даже физически закаленную женщину, не производило, казалось, никакого впечатления на нее. А ведь она знала жизнь только в ее наиболее изнеживающих, искусственно облегченных формах. Эта девушка представлялась мне всегда как бы сотканной из звездного си-

ния, росы и туманной дымки. Она казалась мне духом, принявшим телесную оболочку, и воплощением всего, что есть самого нежного, нежного, доверчивого в женщине. Однако я был не вполне прав. Мод и робела и боялась, но она обладала мужеством. Плоть и муки плоти и ее уделом, как и всякой женщины, но дух ее был выше плоти, и страдала только ее плоть. Она была как бы духом жизни, ее главной сутью, — всегда безматежная с безматежным взглядом, непоколебимая вера в высший порядок среди неустойчивого порядка вещей.

Однажды наступила полоса штормов. Дни и ночи ревели буря, руины титана швыряя наше суденышко по волнам, и океан шерил за нас своей пенистой пастью. Все дальше и дальше относилось нас на северо-восток. И вот однажды, когда шторм свирепствовал нас на северо-восток, я бросил усталый взгляд в подветренную сторону. Я уже ничего не искал, а скорее, измученный борьбой со стихией, как бы безмолвно молил разъяренные хляби морские унять свой гнев и пощадить нас. Но, взглянув, я не поверил своим глазам. У меня мелькнула мысль, что дни и ночи, проведенные без сна, в непрерывной тревоге, помрачили мой разум. Я перевел взгляд на Мод, и вид ее ясных карих глаз, ее милых мокрых щек и развевающихся волос сказал мне, что рассудок мой цел. Повернувшись снова в подветренную сторону, я снова увидел выступающий далеко в море мыс — черный, высокий и голый, увидел бурный прибой, разбивающийся у его подножия фонтаном белых брызг, и мрачный, неприступный берег, уходящий на юго-восток и окаймленный грозной полосой бурунов.

— Мод, — воскликнул я, — Мод! Она повернула голову и тоже увидела землю.

— Неужели это Алиска? — вскричала она.

— Увы, нет! — ответил я и тут же спросил: — Вы умеете плавать?

Она отрицательно покачала головой.

— И я не умею, — сказал я. — Значит, добираться до берега придется не вставая, а на шлюпке, придется найти какой-нибудь проход между прибрежными скалами. Но время терять нельзя... И присутствие духа тоже.

Я говорил уверенно, но на душе у меня было далеко не спокойно. Мод поняла это и, пристально посмотрев на меня, сказала:

— Я еще не поблагодарила вас за все, что вы сделали для меня и...

Она заплакала, как бы подбирая слова, чтобы лучше выразить свою благодарность.

— И что же дальше? — спросил я довольно грубо, так как мне совсем не понравилось, что она вдруг вздумала благодарить меня.

— Помогите же мне! — улыбнулась она.

— Помочь вам высказать мне свою признательность перед смертью? И не подумаю. Мы не умрем. Мы высадимся на этот остров и устроимся на нем наилучшим образом еще до темноты.

Однако, несмотря на всю решительность моего тона, я сам не верил ни единому своему слову. Но не страх заставлял меня лгать. Страх за себя я не испытывал, хотя и ждал, что найду смерть в кипящем прибое среди скал, которые быстро надвигались на нас. Нечего было и думать о том, чтобы поднять парус и попытаться отойти от берега; ветер мгновенно опрокинул бы шлюпку, и волны захлестнули бы ее; да к тому же и парус вместе с запасными веслами был у нас спущен за корму.

Как я уже сказал, сам я не страшился смерти, которая подстергала нас где-то там, в каких-нибудь сотнях ярдов, но мысль о том, что должна умереть Мод, приводила меня в ужас. Проклятое воображение уже рисовало мне ее изуродованное тело в кипящем водовороте среди прибрежных скал, и я не мог этого вынести: я заставлял себя думать, что мы благополучно высадимся на берег, и говорил не то, чему верил, а то, чему хотел бы верить.

Вставшая перед моими глазами картина столь страшной гибели ужаснула меня, и на миг мелькнула безумная мысль: схватить Мод в объятия и прыгнуть с нею за борт. Эту мысль сменила другая: когда шлюпка достигнет полосы бурунов, обнять Мод, сказать ей о своей любви и, подхватив ее на руки, броситься в последнюю отчаянную схватку со смертью.

Мы инстинктивно придвинулись друг к другу. Рука Мод в рукавине потянулась к моей. И так, без слов, мы ждали конца. Мы были уже близко от полосы прибоя у западного края мыса, и я напряженно смотрел вперед в слабой надежде, что случайное течение или сильная волна подхватит и пронесет нас мимо бурунов.

Мы проскочим! — заявил я с напускной уверенностью, которая обманула ни Мод, ни меня самого. Но через несколько минут я снова воскликнул:

Мы проскочим, черт побери! Я был так взволнован, что выбранился — чуть ли не впервые в жизни.

Прошу прощения... — пробормотал я.

Вот теперь вы убедили меня! — с улыбкой сказала Мод. — Теперь и я верю, что мы проскочим.

На краю мыса уже виден был высокий берег, и нашим глазам постепенно открывалась глубокая бухта. Одновременно с тем до нас долетел какой-то глухой, неумолчный рев. Он перекатывался, как отдаленный гром, и доносился с подветренной стороны сквозь грохот прибоя и вой бури. Мы обогнули мыс, и бухта сразу открылась нам — белый, изогнутый полумесяцем песчаный берег, о который разбивался мощный прибой и который был сплошь усеян мириадами котиков. От них-то и исходил долготный до нас рев.

Лежбище! — воскликнул я, — теперь мы и вправду спасены. Тут должна быть охрана и сторожевые суда для защиты животных от хищников. Быть может, на берегу есть даже пост.

Однако, продолжая всматриваться в линию прибоя, разбивавшегося о берег, я вынужден был заметить:

— Не так-то все это просто, конечно, ну да ничего. Если боги существуют над нами, мы обогнем еще один мыс и, может быть, найдем хорошо защищенную бухту, где сможем выйти из шлюпки, даже не замочив ног.

И боги смилоустивились. Чуть не врезавшись во второй мыс, мы все же обогнули его, гонимые юговосточным ветром, и увидели трещину, почти на одной линии с первыми двумя. Но какая бухта открылась нам здесь! Она глубоко вдавалась в сушу, и прилив сразу подхватил нашу шлюпку и отнес под укрытие второго мыса. Здесь море было почти спокойное, крупная, но ровная зыбь качала шлюпку, и я втиснул плавучий якорь и сел на весла. Берег затихал все дальше на запад, и вдруг внутри этой большой бухты нам открылась еще одна небольшая, хорошо закрытая естественная гавань, где вода стояла тихо, как в пруду, лишь изредка подергиваемая рябью, когда из-за нависшей над песчаным берегом отвесной гряды скал, футах

в ста от воды, налетали слабые порывы ветра — отголоски бушевавшего в океане шторма.

Котиков здесь совсем не было видно. Киль лодки врезался в твердую гальку. Я выскочил, протянул Мод руку, и секунду спустя она уже стояла рядом со мною. Но, как только я отпустил ее руку, она поспешно ухватилась за меня. В тот же миг я сам пошатнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Слишком долго носило нас по морю и швыряло на волнах, и теперь, став на твердую почву, мы были ошеломлены. Нам казалось, что берег тоже должен опускаться и подниматься у нас под ногами, и скалы — качаться, как борта судна. И когда мы по привычке притормозились, сопротивляясь этим движениям, отсутствие их совершенно нарушило наше чувство равновесия.

— Нет, я должна присесть, — сказала Мод, нервно рассмеявшись и, взмахнув руками, как пьяная, опустилась на песок.

Втащив лодку повыше, я присоединился к Мод. Так произошли высадка на «Остров Усилий» двух людей, отвыкших от земли и после долгого пребывания на море испытывавших «качку» на суше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

— Дурак! — воскликнул я, давая выход своей досаде.

И только что разгрузил шлюпку и перенес все наши вещи туда, как вдруг увидел устроенную стоянку, — подальше от воды. На берегу валялись выброшенные морем обломки дерева, и вид банки кофе, которую я прихватил из кладовой «Призрака», сразу навел меня на мысль разжечь костер.

— Жалкий идиот! — продолжал я.

— Что вы, что вы!.. — проговорила Мод тоном мягкого упрека и попыталась узнать, почему я жалкий идиот.

— Спичек-то нет! — простонал я. — Я не припас ни одной спички, и теперь у нас не будет ни горячего кофе, ни супа, ни чая — вообще ничего горячего!

— А ведь, кажется, Робинзон Крузо добывал огонь трением одной палки о другую? — заметила она.

— Ну да! Я раз двадцать читал рассказы потерпевших кораблекрушение, — они тоже пытались это делать, но без малейшего успеха, — сказал я. — Знал я еще некоего Винтера, газетного репортера, — он побывал на Аляске и в Сибири. Мы как-то встретились с ним, и он рассказал мне о своей попытке развести костер с помощью двух палок. Убогая история, и рассказывал он ее неподражаемо. Но его попытка тоже кончилась неудачей. Я помню, как в заключение он изрек, свергнув своими черными плащами: «Джентльмены! Быть может, жители тихоокеанских островов это и удаётся, быть может, малайцам это удаётся, но даю вам слово, что белому человеку это недоступно».

— Ну что ж, мы ведь до сих пор обходились без огня, — бодро сказала Мод. — И теперь как-нибудь обойдемся, надо полагать.

— Но подумайте, у нас есть кофе! — воскликнул я. — И превосходный кофе! Я же знаю, — я взял его из личных запасов Волка Ларсена. И есть отличные дрова!

Признаюсь, мне ужасно хотелось кофе, а вскоре я узнал, что и Мод питает слабость к этому напитку. К тому же мы так долго

были лишены горячей пищи, что, казалось, окончили изнутри не меньше, чем снаружи. Поток чего-нибудь горячего пришелся бы нам очень кстати. Но я перестал сетовать и принялся соорудить из паруса палатку для Мод.

Имея в своем распоряжении весла, мачту, шпринт и гик да еще изрядный запас веревок, я считал, что легко справлюсь с этой задачей. Но у меня не было опыта, и мне до всего приходилось доходить своим умом и все время что-то изобретать, так что палатка была готова лишь к вечеру. А ночью пошел дождь, палатку затопило, и Мод перебралась обратно в шлюпку.

На следующее утро я окопал палатку неглубокой канавой, а часом позже внезапным порывом ветра, налетевшим из-за высокой гряды скал, палатку сорвало и швырнуло на песок в тридцати шагах от нас. Мод рассмеялась, увидав мое огорченное лицо, а я сказал:

— Как только ветер спадет, я сяду на шлюпку и обследую берег. Тут, верно, есть какой-нибудь пост, а значит, и люди. И корабли не могут не заходить сюда. Эти котики, несомненно, охраняются правительством какой-нибудь страны. Но прежде я хочу все-таки устроить вас поудобнее.

— Я бы предпочла поехать с вами, — сказала Мод.

— Нет, вам лучше остаться. Вы и так уж намучились. Просто чудно, что вы еще живы. А идти на веслах и ставить парус под этим дождем — небольшое удовольствие. Вам нужно отдохнуть, и я прошу вас остаться.

Мне показалось, что чудесные глаза Мод затуманились; она потупилась и отвернулась.

— Я предпочла бы поехать с вами, — повторила она тихо и с мольбой. — Я могла бы... — голос ее дрогнул, — помочь вам, хоть немного. А если с вами что-нибудь случится — подумайте, — я останусь здесь совсем одна!

— Я буду осторожен, — отвечал я. — Далеко не поеду и вернусь к вечеру. Нет, нет, я считаю, что вам следует остаться, отдохнуть как следует и выспаться.

Она подняла голову и заглянула мне в глаза мягким молящим взглядом.

— Пожалуйста, прошу вас! — проговорила она кротко. О, так кротко...

Я призывал на помощь всю свою стойкость и отрицательно покачивал головой. Но она продолжала молча заглядывать мне в глаза. Я повторил повторить свой отказ и не нашел слов. Радость выплынула в море, и я понял, что проиграл. Теперь я уже не мог сказать «нет».

После полудня ветер утих, и мы стали готовиться к поездке, решив отправиться в путь на следующее утро. Проникнуть в глубь вострона из нашей бухточки было невозможно, так как скалы окружали отлогий песчаный берег отвесной стеной, а по краям бухты поднимались прямо из воды.

С утра день обещал быть пасмурным, но тихим. Встав пораньше, я принялся готовить шлюпку.

— Дурак! Болван! Изух! — кричал я, решив, что настало время будить Мод. На этот раз, однако, я кричал в притворном отчаянии, а сам без шапки весело приписывал на берегу.

Откинув край палатки, выглянула Мод.

— Что еще случилось? — спросила она сонно, но не без любопытства.

— Кофе! — крикнул я. — Что вы скажете насчет чашки кофе? Горячего, дымящегося кофе?

— Боже мой, — пробормотала она, — как вы напугали меня! И как это жестоко! Я уже приучила себя к мысли, что придется обходиться без кофе, а вы опять дразните меня.

— А вот подумайте, что сейчас произойдет! — возразил я.

У подножия нависших скал я собрал немного сухих веточек и пеньков и приготовил из них растопку, накрутив тоненьких лучинок. Потом вырвал листок из своей записной книжки и достал охотничий патрон. Выковырнув ножом пыжи, я высыпал порох на большой плоский камень. Потом осторожно извлек из патрона капсюль и положил его на кучку пороха. Все было готово. Мод внимательно следила за мной, высушившись из палатки. Подняв с земли камень и держа бумалу наготове, я с силой ударил камнем по капсюлю. Поднялось облачко белого дыма, вспыхнул огонек, и край бумаги затопил.

Мод восторженно захлопала в ладоши.

— Прометей! — воскликнула она.

Но в эту минуту мне было не до ликования. Чтобы сохранить слабый огонек и придать ему силы, его нужно было всячески бе-

речь и лелеять. Стружку за стружкой, лучинку за лучинкой давал я пожирать огню, пока не затрещали охваченные огнем веточки и щепки. У нас не было ни чайника, ни сковородки — ведь я никак не предполагал, что шлюпку может прибить к какому-то безлюдному острову, — и в ход пошел черпак из шлюпки. Впоследствии, когда мы съели часть консервов, пустые банки недружно заменили нам кухонную утварь.

Я вскипятил воду, а Мод взялась за приготовление кофе. И какой же это был вкусный кофе! Я подал к столу горячую тушенку, разогрев ее с размоченными в воде галетами, и завтрак удался на славу. Прихлебывая горячий черный кофе и обсуждая наши дела, мы засиделись у костра куда дольше, чем могли позволить себе это предприимчивые исследователи необжитых земель.

Я знал, что лежища в Беринговом море обычно находятся под охраной, и надеялся обнаружить в одной из бухт сторожевой пост. Но Мод, желая, по-видимому, подготовить меня к возможному разочарованию, высказала предположение, что мы открыли новое лежище. Тем не менее она была в отличном настроении и говорила о нашем довольно плачевном положении в самом веселом тоне.

— Если вы правы, — сказал я, — нужно готовиться к зимовке. Наших запасов нам, конечно, не хватит, но тут выручат котники. Однако осенью они откочуют, так что надо уже сейчас начать запасаться мясом. Кроме того, нужно будет построить хижины и насобирать побольше дров. Для освещения попытаемся использовать котниковый жир. Словом, если остров окажется необитаемым, хлопот у нас будет по горло. Впрочем, не думаю, чтобы здесь не было людей.

Но она оказалась права. В полветра мы обходили на шлюпке остров, рассматривали в бинокль каждую бухточку и кое-где приставали к берегу, но нигде не обнаружили человеческого жилья. Правда, мы убедились, что люди уже побывали на Острове Усилий. Во второй от нас бухте мы нашли разбитую шлюпку, выброшенную волной на берег. Это была промысловая шлюпка; уключины у нее были оплетены, на носу правого борта имелась стойка для ружья, а на корме я разобрал полустершуюся надпись, выведенную белой масляной краской: «Газель. N 2». Шлюпка лежала здесь давно, так как ее напловину занесло песком, а растрескавшиеся доски почернели от непогоды. В кормовой части я нашел заржавленный

дробинок десятого калибра и матросский нож. Лезвие ножа было идеально почти у рукоятки и тоже изведено ржавчиной.

— Им удалось вернуться сюда! — бодро сказал я, хотя сердце у меня сжалось при мысли, что где-нибудь на берегу мы можем наткнуться на побелевшие человеческие кости.

Мне не хотелось, чтобы строительство Мод было омрачено подобной находкой, поэтому я поспешил оттолкнуть нашу шлюпку от берега и направил ее вокруг северо-восточной оконечности острова. На каждом берегу отлогих спусков не было совсем, и, обогнув выступавший в море черный мыс, мы вскоре после полудня закончили объезд острова. Я прикинул, что окружность его составляет почти шесть миль, а диаметр — от двух до пяти миль, примерно двадцать пять миль, а диаметр — от двух до пяти миль. Но самым скромным подсчетом на нем было не меньше двухсот квадратных оконечности и постепенно понижалась к северо-востоку, где суша лишь на несколько футов выдавалась из воды. Во всех бухтах, кроме нашей, песчаный берег поднимался полого, переходя на расстоянии полумили от моря в каменистые площадки, кое-где поросшие мхом и другой растительностью, напоминавшей тундру. Суша и выходили стада котников; старые самцы стерегли свои гаремы, молодые держались особняком.

Остров Усилий навряд ли заслуживает более подробного описания. Местами скалистый, местами болотистый, повсюду открытый штормовым ветрам, омываемый бурным прибоем и вечно потрепанным ревом двухсот тысяч морских животных, он представлял собой весьма унылое, безрадостное прибежище. Мод, ставившая собой весьма унылое, безрадостное разочарование и весь остров сама готовила меня к возможному разочарованию и весь остров сохраняла бодрое, жизнерадостное настроение, теперь, когда мы вернулись в свою бухточку, пала духом. Она мужественно старалась скрыть это от меня, но, разжигая костер, я слышал приглушенные рыдания и знал, что она плачет, уткнувшись в одеяла в своей палатке.

Настал мой черед проявить бодрость. Я старался ипать свою роль как можно лучше, и мне это, по-видимому, удалось, так как вскоре Мод уже снова смеялась и даже распеваала. Она рано легла спать, но перед сном спела для меня. Я впервые слышал ее пение и в упоении внимал ему, лежа у костра. Во всем, что она делала,

сказывалась артистичность ее натуры, а голос ее, хотя и не сильный, был удивительно нежен и выразителен.

Я по-прежнему спал в лодке и в эту ночь долго лежал без сна. Я глядел на звезды, которых так давно не было видно, и размышлял. Я понимал, что на мне лежит огромная ответственность, а это было совершенно для меня непривычно. Волк Ларсен оказался прав: прежде я не стоял на своих ногах. Мои адвокаты и поверенные упрямились за меня состоянием, доставшимся мне от отца, сам же я не знал никаких забот. Только на «Призраке» научился я отвечать за себя. А теперь, впервые в жизни, должен был нести ответственность за другого человека. И это была величайшая ответственность, какими может выпасть на долю мужчины, ведь я отвечал за судьбу женщины, которая была для меня единственной в мире, — за судьбу «мощи малышки», как я любовно называл ее в своих мечтах.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Несомненно, что мы назвали наш остров Островом Усилий. Две недели трудились мы над возведением хижин. Мод непременно хотела помогать мне, и я чуть не плакал, глядя на ее исцарапанные в кровь руки. Вместе с тем я не мог не гордиться ею. Было поистине нечто героическое в том, как эта изнеженная женщина переносила столь тяжкие лишения и невзгоды и направляла все свои слабости, стараясь выполнять тяжелую работу. Она таскала камни, полагая мне строить хижину, и слушать не хотела, когда я молил ее прекратить это дело мне. Еле-еле удалось мне уговорить ее взять на себя более легкие обязанности — готовить пищу и собирать дрова и мох на зиму.

Стены хижины росли довольно быстро, и все шло как по плану, пока передо мной не встал вопрос: из чего делать крышу? Без крыши и стены ни к чему! У нас, правда, были запасные весла, и они могли послужить стропилами, но чем их покрыть? Трава для этого не годилась, мох тоже, парус необходимо было сохранить для пеньки, а брезент уже прохудился.

— Винтере пользовался шкурами моржей, — заметил я.

— А у нас есть котики, — подсказала Мод.

И на следующий день началась охота. Стрелять я не умел — пришлось учиться. Однако, изведя тридцать патронов на трех котиков, я решил, что наши боеприпасы иссякнут, прежде чем я постигну это искусство. К тому же я уже потратил восемь патронов на разведение костра, прежде чем догадался сберечь огонь, прикрывая чашечные угли сырым мхом. Теперь в ящике оставалось не больше пяти патронов.

— Придется бить зверя дубинкой, — заявил я, окончательно убедившись, что стрелок из меня не получится. Я слышал от охотников, что так делают.

— Как это можно! — запротестовала Мод. — Эти животные так красивы! Это же просто зверство. Стрелять еще куда ни шло...

— Нам нужна крыша, — сурово возразил я. — Зима уже на носу, Или мы, или они — другого выбора нет. Жаль, конечно, что у нас мало патронов, но я думаю, что от удара дубинкой они будут даже меньше страдать, чем от пуль. И уж, конечно, бить их я пойду один.

— Вот в том-то и дело, — взволнованно начала она и вдруг смутнелась и замолчала.

— Конечно, — сказал я, — если вы предпочитаете...

— Ну, а чем я буду заниматься? — спросила она мягко, что, как я знал по опыту, означало настойчивость.

— Вы будете собирать дрова и варить обед, — не раздумывая долго, ответил я.

Она покачала головой.

— Нет, вам нельзя идти одному, это слишком опасно. Знаю, знаю, — поспешно продолжала она, заметив, что я собираюсь возражать.

— Я слабая женщина, пусть так. Но может статься, что именно моя маленькая помощь и спасет вас от беды.

— Помощь? Ведь их надо бить дубинкой, — напомнил я.

— Конечно, это будете делать вы. А я, верно, буду визжать и отворачиваться, как только...

— Как только появится опасность? — пошутил я.

— Это уж позволяйте мне решать самой, когда отворачиваться, а когда нет, — с величественным видом отрезала она.

Разумеется, дело кончилось тем, что на следующее утро Мол отправилась со мной. Сев на весла, я привел шлюпку в соседнюю бухту. Вода вокруг нас кишела котиками, и на берегу их были тысячи; они ревели так, что нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— Я знаю, что их бьют дубинками, — сказал я, стараясь приободриться и с сомнением поглядывая на огромного самца, приподнявшегося на ластах примерно в тридцати футах от берега и смотревшего прямо на меня. — Весь вопрос в том, как это делается?

— Давайте лучше наберем для крыши травы, — сказала Мол.

Она была напугана не меньше меня, да и немудрено было испугаться, увидев вблизи эти сверкающие клыки и пасти, похожие на собачьи.

— А я всегда думал, что они боятся людей, — заметил я. — Впрочем, с чего я взял, что они не боятся? — добавил я, продолжая грести вдоль пляжа.

— Быть может, стоит мне только смело выйти на берег, как они обратятся в бегство и покажут такую прыть, что я еще, пожалуй, и не догоню их.

И все ж я медлил.

— Мне рассказывали, как один человек забрал на гнездовье диких гусей, — сказала Мол. — Они заклевали его.

— Гуси?

— Да, гуси. Я слышала об этом от своего брата, когда была маленькой.

— Но я же знаю, что котиков бьют дубинками! — настаивал я.

— А я думаю, что из травы крыша получится ничуть не хуже, —

возразила Мол.

Самая того не желая, она только подзадорила меня. Не мог же я покатить себя трусом.

— Была не была! — воскликнул я и, табани одним веслом, начал прищипывать к берегу.

Выпрыгнув из шлюпки, я смело пошел на гниавшего секача, окруженного своими многочисленными самками. Я прихватил с собой обыкновенную дубинку, какою гребцы добывают раненых котиков, вытасненных из воды охотниками. Она была всего в полтора фута длиной, и я в своем неведении даже не подозревал, что при побеге на лежбища применяются дубинки длиной в четыре-пять футов.

Самки расплзались при моем приближении; расстояние между мной и секачом все уменьшалось. Он сердито приподнялся на ластах. Я был от него уже футах в двенадцати и продолжал идти вперед, ожидая, что он вот-вот пустится от меня наутек...

Сделав еще несколько шагов, я испугался: а вдруг он не побегит? Ну что ж, тогда я стукну его дубинкой, — решил я. Со страху я даже позабыл, что моя цель — убить зверя, а не обратить его в бегство. Но в эту минуту он фыркнул, взревел и бросился на меня. Лица его сверкали, пасть была широко разинута, и в ней зловеще бежали клыки. Без ложного стыда должен признаться, что в бегстве обратился не он, а я. Он преследовал меня неуклое, но весьма проворно и был всего в двух шагах, когда я прыгнул в шлюпку. Я оттолкнулся от берега веслом, но он успел вцепиться в него зубами. Крепкое дерево хрустнуло и раскололось, как личная скорлупа. Мы

с Мод были ошеломлены. А секач нырнул под шлюпку и принялся с силой трясти ее, ухватившись зубами за киль.

— Боже мой! — вскричала Мод. — Лучше вернемся.

Я покачал головой.

— То, что делают другие, могу сделать и я, а я знаю наверное, что котиков будут дубинками. Но секаней придется оставить в покое.

— Лучше бы вам их всех оставить в покое! — сказала Мод.

— Только не вздумайте говорить: «Пожалуйста, прошу вас!» — воскликнул я и, боюсь, довольно сердито.

Она промолчала, но я понял, что мой тон задел ее.

— Простите! — сказал или, вернее, прокричал я, чтобы покрыть стоявший над лежбищем рев. — Если вы будете настаивать, мы, конечно, вернемся, но, честно говоря, я бы этого не хотел.

— Только не вздумайте говорить: «Вот что значит брать с собою женщину!» — сказала она с обворожительной лукавой улыбкой, и я понял, что прощен.

Проплыв еще немного вдоль берега, чтобы собраться с духом, я снова причалил и вышел из шлюпки.

— Будьте осторожны! — крикнула мне вслед Мод.

Я кивнул ей и предпринял фланговую атаку на ближайший гарем. Все шло хорошо, пока я, подобравшись к одной из самок, лежащей в стороне, не сделал попытку ударить ее по голове. Я промахнулся, а она зафыркала и проворно поползла прочь. Я подбежал ближе, замахнулся вторично, но угодили не в голову, а в плечо.

— Беретись! — услышал я отчаянный крик Мод.

Упыренный охотой, я не глядел по сторонам и, обернувшись, увидел, что меня атакует сам владыка гарема. Преследуемый по пятам, я снова бросился к шлюпке. Но на этот раз Мод уже не предлагала мне отказаться от моей затеи.

— Я думаю, вам лучше не трогать гарем, а заняться одиночными котиками, — сказала она. — Эти как-то безобиднее. Помните, я даже где-то читала про это. У доктора Джордана как будто. Это молодые самцы, недостаточно возмужавшие, чтобы иметь свои гаремы. Джордан, кажется, называет их «холостячками». Нужно только найти, где у них лежбище, и тогда...

— В вас, я вижу, пробудились охотничий инстинкт! — рассмеялся я. Она мило вспыхнула.

— Я, так же как и вы, не люблю признавать себя побежденной, хотя мне и очень не по душе, что вы будете убивать этих красивых безобидных созданий.

— Красивых! — усмехнулся я. — Что-то я не заметил ничего красивого в этих чудовищах, которые гнались за мной, осклаиваясь.

— Все зависит от точки зрения, — рассмеялась она. — Вам не хватает перспектив. К наблюдаемому предмету не рекомендуется подходить слишком близко...

— Вот именно! — воскликнул я. — Что мне нужно — так это дубинки.

— Я припоминаю... — сказала она. — Капитан Ларсен рассказывал, как охотятся на лежбищах. Загоняют небольшую часть стада

подальше от берега и там убивают.

— Ну, у меня нет особого желания загонять «небольшую часть стада», — возразил я.

— Есть еще «холостячки», — сказала она. — Они держатся особняком. Доктор Джордан говорит, что между гаремами остаются дюжины, и, пока «холостячки» не сходят с этих дорожек, повелители гаремов не трогают их.

— Вот как раз плывет один из них, — указал я на молодого «холостячка», подплывавшего к берегу. — Будем наблюдать за ним, и, если он выйдет из воды, я пойду следом.

Котик выбрался на берег в свободном пространстве между двумя гаремами, повелители которых прозно заворчали, но не тронули его, и стал медленно удаляться, пробираясь по «дорожке».

— Ну попытаемся! — бодро сказал я, выскакивая из шлюпки, но, признаюсь, сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что мне придется пройти сквозь все это громадное стадо.

— Не мешало бы закрепить шлюпку, — сказала Мод.

Она уже стояла на берегу рядом со мной, и я с изумлением посмотрел на нее.

Она решительно кивнула.

— Ну да, я пойду с вами. Втащите шлюпку повыше на берег и поручайте меня какой-нибудь дубинкой.

— Давайте лучше вернемся назад, — уныло проговорил я. — Обойдемся в конце концов и травой.

— Вы же знаете, что трава не годится, — последовал ответ. — Может быть, мне пойти вперед?

Я пожал плечами, но в глубине души был восхищен ее смелостью и горд за нее. Я дал ей сломанное весло, а сам взял другое. Не без страха двинулись мы вперед. Мод испуганно вскрикнула, когда какая-то любопытная самка потянулась носом к ее ноге, да и я не раз ускорил шаги по той же причине. Из обоих гаремов доносились предостерегающее ворчание, но других признаков враждебности мы не замечали. Это лежбище еще не выдало охотников, и поэтому котик здесь были не напуганы и довольно добродушны.

В гуще стада шум стоял неимоверный. От него голова шла кругом. Я приостановился и ободряюще улыбнулся Мод. Мне удалось быстрее преодолеть свою боязнь, она же все еще не могла побороть страха и, подойдя ко мне ближе, крикнула:

— Я боюсь, ужасно боюсь!

А я не боялся. Мне еще было не по себе, однако мирное поведение котиков значительно умирilo мою тревогу. Но Мод вся дрожала.

— Я боюсь и не боюсь, — лепетала она трясушимися губами. — Это мое жалкое тело боится, а не я.

— Ничего, ничего! — ободрял я ее, инстинктивно обняв за плечи в стремлении защитить.

Никогда не забуду, какой прилив мужества я тогда ощутил. Изначальные инстинкты заговорили во мне, и я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом. Но драгоценнее всего было сознание, что я защищаю любимое существо. Мод опиралась на меня, нежная и хрупкая, как цветок, и дрожь ее утихла, а я чувствовал, как крепнут мои силы. Я готов был сразиться с самым свирепым самцом из стада, и если бы в ту минуту он набросился на меня, я встретил бы его бестрепетно и наверняка одолел бы.

— Все в порядке, — проговорила Мод, с благодарностью поднимая меня глаза. — Пойдемте дальше!

И сознание, что она почерпнула силы во мне и полагаются на меня, наполнило мое сердце ликованием. Сквозь все наслаждения цивилизации во мне все отчетливее звучало что-то унаследованное от моих далеких и забытых предков, живших на заре человечества, бивших зверя и спавших под открытым небом. А ведь мне, пока-

ра, следует благодарить за это Волка Ларсена, подумал я, пробираясь вместе с Мод по дорожке между гаремами.

Углубившись на четверть мили от берега, мы дошли до лежбища «холостиков» — молодых самцов с гладкой лоснящейся шерстью, которые в одиночестве копчили здесь силы в ожидании того дня, когда они с боем проложат себе дорогу в ряды счастливых.

Теперь у меня все сразу пошло на лад. Можно было подумать, что я всю жизнь только тем и занимался, что бил котиков. Крича, стремившись размахивая дубинкой и даже подталкивая его более медлительных, я быстро отогнал в сторону десятка два «холостиков». Когда какой-либо из них пытался прорваться назад к морю, я претивил ему путь. Мод принимала в этом самое деятельное участие и помогала мне, крича и размахивая сломанным веслом. Я заметил, что наиболее тшедушным и неповоротливым она позволяла разойтись. Но я видел также, что, когда какой-нибудь особенно воинственно настроенный зверь делал попытку прорваться, глаза у нее искривлялись и она ловко ударяла его дубинкой.

А ведь это увлекает! — воскликнула она, останавливаясь в изумлении, чтобы передохнуть. — Но я, кажется, должна присесть.

Пока она отдыхала, я отогнал маленькое стадо, в котором, по моему мнению, Мод, осталось около двенадцати голов, шагов на сто дальше. Когда она присоединилась ко мне, я уже кончил бой и начал свежеевать туши. Час спустя, нагруженные шкурами, мы тихо шествовали назад по дорожке между гаремами и дважды еще спускались к морю, сгибаясь под тяжестью своей ноши, после чего я решил, что на крышу нам теперь шкур хватит. Я поднял парус, вывел шлюпку из бухты, лег на другой галс и вел судно в бухту бухточку.

Точно в родной дом возвращаемся! — проговорила Мод, когда лодка пресалась в берет.

Те слова взволновали меня — они прозвучали так естественно и вместе с тем интимно, — и я сказал:

— А мне уже кажется, что я никогда и не жил другой жизнью. Марвин и книжников напоминает мне сейчас так смутно, словно это был сон, а на самом деле я всю жизнь только и делал, что выжидал и совершал набег на лежбища зверей. И словно вы тоже когда-то участвовали в этой жизни. Вы... — я чуть не произнес: «моя

жена, моя подруга», но вовремя спохватился и закончил: — Отлично переносите трудности.

Но чуткое ухо Мод уловило фальшь в моем голосе. Она поняла, что я думаю о чем-то другом, и бросила на меня быстрый взгляд.

— Это не то. Вы хотели сказать...

— ...что американская миссис Мейнелл ведет жизнь дикарки, и притом довольно успешно, — непринужденно произнес я.

— О! — протянула она, но я мог бы поклясться, что вид у нее был разочарованный.

Слова эти — «моя жена, моя подруга» — звучали в моей душе весь день и еще много дней. Но никогда не звучали они так настойчиво, как в тот вечер, когда я, сидя у очага, наблюдал, как Мод снимает мох с углей, раздувает огонь и готовит ужин. Верно, крепка была моя связь с моим первобытным предком, если эти древние слова, прозвучавшие впервые в глубине веков, так захватили и взволновали меня. А они звучали во мне все громче и громче, и, засыпая, я повторял их про себя.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Да, от шкур будет пахнуть, — сказал я, — зато они сохнут и в них тепло и укроют вас от дождя и снега.

Мы стояли и рассматривали крышу из котиковых шкур, которая наконец была готова.

— Она неказиста, но своей цели послужит, а это главное, — прошептал я, жадая услышать похвалу из уст Мод.

Она захопала в ладоши и объявила, что страшно довольна.

— Но ведь внутри совсем темно, — добавила она секунду спустя и непольно передернула плечами.

— Почему же вы не предложили сделать окно, когда мы складывали стены? — сказал я. — Хижина строилась для вас, и вы могли бы подумать о том, что вам нужен свет.

— Но я как-то не привыкла задумываться над тем, что кажется очевидным, — засмеялась она в ответ. — А кроме того, в стене ведь можно пробить дыру в любое время.

— Совершенно верно. Вот об этом я не подумал, — отозвался я, грубокомысленно покаявая головой. — Ну, а вы позаботились уже сделать оконные стекла? Позвоните в магазин — Рэд-44-51, если не ошибюсь, — и скажите, какой сорт и размер вам нужен.

— Это значит?.. — начала она.

— Это значит, что окна не будет.

Темно и неприятно было в этой хижине. В цивилизованных жилищных такое сооружение могло бы послужить разве лишь свинным хлевом, но нам, познавшим все тяготы скитаний на шпошке, оно казалось весьма уютным пристанищем. Отправив в вытопленном котиде при свете пенкового фитиля, плававшего в вытопленном котиде жир, мы занялись заготовлением мяса на зиму и постройкой второй хижины. Охота казалась нам теперь простым делом. С утра мы выезжали на шпошке, а к полудню возвращались с грузом вытопленных туш. Затем, пока я трудился над постройкой хижины, Мод вытапливала жир и поддерживала огонь в очаге, над которым

коптилось мясо. Я слышал о том, как коптят говядину в центральных штатах, и мы делали так же: нарезали мясо котиков длинными тонкими ломтиками, подвешивали их над костром, и они превосходно коптились.

Складывать вторую хижину было легче, так как я пристранивал ее к первой и для нее требовалось только три стены. Но и на это надо было употребить много упорного, тяжелого труда. Мы с Мод работали весь день дотемна, не щадя сил, а с наступлением ночи еле добирались до своих постелей и засыпали как убитые. И все же Мод уверила меня, что никогда в жизни не чувствовала себя такой здоровой и сильной. Про себя я мог сказать то же самое, но Мод была хрупкая, как цветок, и я все время боялся, что ее здоровье не выдержит такого напряжения. Сколько раз видел я, как она в полном изнеможении ложилась навзничь на песок, раскинув руки, чтобы лучше отдохнуть, а потом вскакивала и трудилась с прежним упорством, и не переставала удивляться, откуда только берутся у нее силы.

— Ну, нам еще надоест отдыхать зимой, — отвечала она на все мои уговоры поберечь себя. — Да мы будем изнывать от безделья и радоваться любой работе!

В тот вечер, когда и над моей хижинкой появилась крыша, мы вторично отпраздновали новоселье. Третий день яростно бушевал шторм; он шел с юго-востока, постепенно перемещаясь к северо-западу, и сейчас дул на нас прямо с моря. Прибой грохотал на отлогом берегу внешней бухты, и даже в нашем маленьком глубоком заливе чике гуляли изрядные волны. Скалистый хребет острова не защищал нас от ветра, который так ревел и завывал вокруг хижинки, что я опасался за ее стены. Крыша, натянутая, казалось мне, туго, как барабан, прогибалась и ходила ходуном при каждом порыве ветра; в стенах, плотно, как полагала Мод, проконопаченных мхом, открылись бесчисленные щели. Но внутри ярко горела плюшка с котиковым жиром, и нам было тепло и уютно.

Это был удивительно приятный вечер, и мы с Мод единогласно решили, что ни одно из наших светских мероприятий на Острове Усильи еще не проходило столь успешно. На душе у нас было спокойно. Мы не только примирились с мыслью о предстоящей нам суровой зиме, но и подготовились к ней. Котики могли теперь в любой день отправляться в свое таинственное путешествие на юг — что

нам до того! Да и бури нас не страшили. Мы не сомневались, что нам будет сухо и тепло под нашим кровом, а у нас к тому же имелись еще роскошные, мягкие тюфики, изготовленные из мха. Это было приобретение Мод, и она сама ревностно собирала для них мох. Мне предстояло сегодня впервые за много ночей спать на тюфике, и я знал, что сон мой будет еще слаще оттого, что тюфик этот сделан руками Мод.

Направляясь к себе в хижину, Мод обернулась ко мне и неожиданно произнесла следующие загадочные слова:

— Что-то должно произойти! Вернее, уже происходит. Я чувствую, что-то приближается сюда, к нам. Вот в эту самую минуту, я не знаю, что это, но оно идет сюда.

— Хорошее или плохое? — спросил я.

Она покачала головой.

— Не знаю, но оно где-то там.

И она указала в ту сторону, откуда ветер рвался к нам с моря.

— Там море и шторм, — рассмеялся я, — и не позавидуешь тому, что подумает высадиться на этот берег в такую ночь.

— Вы не боитесь? — спросил я, провожая ее до двери.

— Вместо ответа она смело и прямо посмотрела мне в глаза.

— А как вы себя чувствуете? Вполне хорошо?

— Никогда не чувствовала себя лучше, — отвечала она.

Мы поговорили еще немного, и она ушла.

— Спокойной ночи, Мод! — крикнул я ей вслед.

— Спокойной ночи, Хэмфри! — откликнулась она.

Не стовариваясь, мы назвали друг друга по имени, и это вышло совсем просто и естественно. Я знал, что в эту минуту я мог бы обвинить ее и привлечь к себе. В привычной для нас обоих обстановке я бы, несомненно, так и поступил. Но здесь наши отношения не могли перейти известной грани, и я остался один в своей маленькой хижине, согретый сознанием, что между мною и Мод возникли какие-то новые узлы, какое-то новое молчаливое взаимопонимание.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мое пробуждение сопровождалось странным гнетущим ощущением беспокойства. Словно мне чего-то недоставало, словно исчезло что-то привычное. Но это ощущение скоро прошло, и я понял, что ничто не изменилось, — не было только ветра. Когда я засыпал, нервы у меня были напряжены, как бывает всегда при длительном воздействии на них звука или движения, и, пробудясь, я в первое мгновение все еще находился в этом состоянии напряжения, стараясь противостоять силе, которая уже перестала действовать.

Впервые за долгие месяцы я провел ночь под кровлей, и мне хотелось понежиться еще под сухими одеждами, не ощущая на лице тумана, ни морских брызг. Я лежал, размышляя над тем, как странно действовало на меня прекращение ветра, и испытывал блаженство от сознания, что я покоюсь на тыфяке, сделанном руками Мод. Одевшись и выйдя наружу, я услышал шум прибоя, который все еще бился о берег и свидетельствовал о недавно прошедшем шторме. День был яркий и солнечный. Я изрядно заспался и теперь с внезапным приливом энергии шагнул за порог. Я был исполнен решимости наверстать упущенное время, как и подобало обитателю Острова Усилий.

Но, выйдя из хижин, я остановился как вкопанный. Я не мог поверить своим глазам: то, что я увидел, ошеломило меня. На берегу, в каких-нибудь пятидесяти футах от хижин, уткнувшись носом в песок, лежал лишенный матч черный корпус судна. Мачты и гик, перекутавшись с вантами и разодранными парусами, свисали с его борта. Я был поражен и глядел во все глаза. Вот он, камбуз, который мы сами построили, а вот и знакомый уступ юта и невысокая палуба рубки, едва возвышающаяся над бортом. Это был «Призрак».

Какой каприз судьбы занес его именно сюда, в этот крохотный уголок земли? Что за чудовищное совпадение? Я отпрянул на неприступную каменную стену за моей спиной, и безысходное отчаяние охватило меня. Бежать было некуда, абсолютно некуда. Я

подумал о Мод, спавшей в хижине, построенной нашими руками, и вспомнил, как она сказала: «Спокойной ночи, Хэмфри», и слова этой жена, моя подруга» вновь зазвенели в моем мозгу, но теперь — иначе! — они звучали победительным звоном. У меня потемнело в глазах. Быть может, это продолжалось лишь долю секунды — не знаю, когда я очнулся, передо мною по-прежнему чернел корпус шхуны; но раскочетый бушприт торчал над песчаным берегом, а обломанные части рангоута со скрипом терлись о борт при каждом всплеске волны. Я понял, что надо что-то предпринять. Надо было немедленно что-то предпринять!

Изначально меня поразило, что на шхуне незаметно никаких признаков жизни. Это было странно. Видимо, команда, измученная борьбой со штормом и перенесенным кораблекрушением, все еще спит. У меня мелькнула мысль, что мы с Мод можем спастись, если вместе сесть на шлюпку и обогнуть мыс, прежде чем на шхуне кто-нибудь проснется. Надо разбудить Мод и сейчас двинуться в путь. Я уже готов был постучаться к ней, но тут же вспомнил, как ничтожно мал наш островок. Нам негде будет укрыться на нем. Нет, у нас не было выбора — только безбрежный, суровый океан. Я подумал о наших уютных маленьких хижинах, о наших запасах мяса и жира, мха и провианта и понял, что мы не выдержим путешествие по океану зимой и бурную штормовую погоду.

В неслыхательности, с поднятой рукой, я застыл у двери Мод. Нет, это невозможно, совершенно невозможно! Безумная мысль пронеслась в моем мозгу — ворваться к Мод и убить ее во сне. И сейчас же возникла другая: на шхуне все спит, что мешает мне проникнуть туда — прямо в каюту к Волку Ларсену — и убить его? А там... Там видно будет. Главное — убрать его с дороги, после чего можно будет подумывать и об остальном. Все равно, что бы ни случилось потом, хуже, чем сейчас, не будет.

Нож висел у меня на поясе. Я вернулся в хижину за дробовиком, проверил, заряжен ли он, и направился к шхуне. Не без труда, промокнув по пояс, взобрался я на борт. Люк матросского кубрика был открыт. Я прислушался, но снизу не доносилось ни звука — я не услышал даже дыхания спящих людей. Неожиданная мысль поразила меня: неужели команда бросила корабль? Я снова напряженно прислушался. Нет, ни звука. Я начал осторожно спускаться по тра-

пу. Кубрик был пуст, и в нем стоял затхлый запах покинутого жилища. Крутом в беспорядке валялась рваная одежда, старые резиновые сапоги, дырявые клеенчатые куртки — весь тот недородный хлам, который скопился в кубриках за долгое плавание.

Я поднялся на палубу, не сомневаясь больше в том, что команда покинула шхуну второпях. Надежда вновь ожила в моей груди, и я уже спокойнее огляделся крутом. Я заметил, что на борту нет ни одной шлопки. В кубрике охотников моим глазам предстала та же картина, что и у матросов. Охотники, по-видимому, собирали свои вещи в такой же спешке. «Призрак» был брошен. Теперь он принадлежал Мод и мне. Я подумал о судовых запасах, о кладовой под кают-компанией, и у меня явилась мысль сделать Мод сюрприз — раздобыть что-нибудь вкусное к завтраку.

После пережитого волнения я ощутил вдруг необычайный прилив сил, а при мысли о том, что страшное дело, которое привело меня сюда, стало теперь ненужным, развеселился, как мальчишка. Перепрыгивая через ступеньку, я поднялся по трапу, думая только о том, что нужно успеть приготовить завтрак, пока Мод спит, если я хочу, чтобы мой сюрприз удался на славу. Огибая камбуз, я с удовольствием вспомнил о замечательной кухонной посуде, которую я там найду. Я взбежал на ют и увидел... Волка Ларсена. От неожиданности я пробежал с разгона еще несколько шагов, прохоча башмаками, прежде чем смог остановиться. Ларсен стоял на трапе кают-компаний, — над дверцей возвышались только его голова и плечи, — и в упор смотрел на меня. Обими руками он упирался в полуоткрытую дверцу и стоял совершенно неподвижно. Стоял и смотрел на меня.

Я задрожал. Снова, как прежде, томительно засосало под ложечкой. Я ухватился рукой за край рубки, ища опоры. Губы у меня сразу пересохли, и я несколько раз провел по ним языком. Я не сводил глаз с Волка Ларсена, и оба мы не произносили ни слова. Что-то зловещее было в его молчании и в этой полной неподвижности. Весь мой прежний страх перед ним вернулся ко мне с удвоенной силой. И так мы стояли и смотрели друг на друга.

Я чувствовал, что надо действовать, но прежняя беспомощность овладела мной, и я ждал, что сделает он. Секунды летели, и вдруг все происходящее напомнило мне о том, как я, подойдя к гренасто-

му секучу, позавыл от страха, что должен убить его, и только потом инстинкт, как бы обратить его в бегство. Но ведь и сюда я пришел не в том, чтобы ждаль, что предпримет Волк Ларсен, а действовать.

Я извел оба курка дустволки и вскинул ее к плечу. Если б он попытался спуститься вниз, если бы он только шелохнулся, я, без сомнения, застрелил бы его. Но он стоял совершенно неподвижно и смотрел на меня. Дрожащими руками сжимая дустволку и целясь в него, я успел заметить, как осунулось его лицо. Какие-то тяжелые потресения оставили на нем свой след. Щеки ввали, на лбу застыли морщины, а глаза производили странное впечатление. Казалось, его глазные нервы и мышцы были не в порядке и глаза смотрели напряженно и слегка косили. И выражение их было тоже какое-то странное.

Я глядел на него, и мозг мой лихорадочно работал. Тысячи мыслей пронеслись у меня в голове, но я не мог нажать на спусковой крючок. Я опустил дустволку и двинулся к углу рубки, стараясь собраться с духом и снова — с более близкого расстояния — попытаться выстрелить в него. Я вскинул дустволку к плечу. Я находился теперь в каких-нибудь двух шагах от Волка Ларсена. Ему не было спасения. Я больше не колебался. Промаяхнувшись я не мог, как бы плохо я ни стрелял. Но я не мог заставить себя спустить курок.

— Ну? — неторопливо промолвил он.

Лицетно пытался я нажать на спуск, тщетно пытался что-нибудь сделать.

— Почему вы не стреляете? — спросил он.

Я откашлялся, но не смог выговорить ни слова.

— Хэмп, — медленно произнес Ларсен, — ничего у вас не выйдет! Не потому, чтобы вы боялись, но вы бессильны. Ваша насквозь религиозная мораль сильнее вас. Вы — раб предрасудков, которыми манипулируют люди вашего круга и ваши книги. Вам вбивали их в голову чуть ли не с колыбели, и вопреки всей вашей философии и моим урокам они не позволяют вам убить безоружного человека, который не оказывает вам сопротивления.

— Знано, — хрипло отозвался я.

— А мне, — и это вы тоже знаете, — убить безоружного так же просто, как выкурить сигару, — продолжал он. — Вы знаете меня и знаете, чего я стою, если подходить ко мне с вашей меркой. Вы

называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем, Калибаном. Но вы — жалкая марионетка, механически повторяющая чужие слова, и вы не можете убить меня, как убили бы змею или акулу, не можете только потому, что у меня есть руки и ноги и тело мое имеет некоторое сходство с вашим. Эх! Я ожидал от вас большего, Хэмп!

Он поднялся по трапу и подошел ко мне.

— Опустите оружие. Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? Как стоит «Призрак»? Почему вы так вымокли? Где Мод?.. Виноват, мисс Брустер... Или, быть может, следует спросить — где миссис Ван-Вейден?

Я потянулся от него, чуть не плача от своего бессилия, оттого что не мог застрелить его, но все же был не настолько глуп, чтобы опустить оружие. Мне отчаянно хотелось, чтобы он сделал попытку напасть на меня — попытался ударить меня или схватить за горло, — тогда я нашел бы в себе силы выстрелить в него.

— Это Остров Усилий, — ответил я на его вопрос.

— Никогда не слышал о таком острове.

— По крайней мере мы так называем его.

— Мы? — переспросил он. — Кто это мы?

— Мисс Брустер и я. А «Призрак», как вы сами видите, лежит, зарывшись носом в песок.

— Здесь есть котики, — сказал он. — Они разбудили меня своим ревом, а то я бы еще спал. Я слышал их и вчера, когда нас прибило сюда. Я сразу понял тогда, что попал на подветренный берег. Здесь лежбище — как раз то, что я ищу уже много лет. Спасибо моему братцу, благодаря ему я наткнулся на это богатство. Это же клад! Каковы координаты острова?

— Не имею ни малейшего представления, — ответил я. — Но вы сами должны знать их достаточно точно. Какие координаты вы определяли в последний раз?

Он как-то странно улыбнулся и ничего не ответил.

— А где же команда? — спросил я. — Как это случилось, что вы остались один?

Я ожидал, что он отклонит и этот вопрос, но, к моему удивлению, он сразу ответил:

— Мой брат поймал меня меньше чем через двое суток, впрочем, не по моей вине. Взял меня на абордаж, когда на палубе не было

ничего, кроме вахтенных. Охотники тут же предали меня. Он предположил им большую долю в доходах по окончании охоты, чем они имели на «Призраке». Я слышал, как он предлагал им это — при мне, без малейшего стеснения. Словом, вся команда перешла к нему, чего и следовало ожидать. В один миг спустились шлюпки и махнули на борт, а я остался на своей шхуне один, как на необитаемом острове. На этот раз Смерть Ларсен взял верх, ну, да это — дело семейное.

— Но как же вы потеряли матчы?

— Подойдите и осмотрите вон те таплены, — сказал он, указывая туда, где должны были находиться гребцы.

— Перерезаны ножом! — воскликнул я.

— Но не до конца, — усмехнулся он. — Тут тонкая работа! Посмотрите-ка внимательно.

Я осмотрел таплены еще раз. Они были надрезаны так, чтобы дергать ванты лишь до первого сильного напряжения.

— Это дело рук кока! — со смехом сказал Волк Ларсен. — Знаю инерника, хотя и не накрыл его. Все-таки ему удалось немного поинтересоваться со мной.

— Молодец Магридж! — воскликнул я.

— Примерно то же самое сказал и я, когда матчы полетели за борт, но, разумеется, мне было не так весело, как вам.

— Что же вы предпринимали, когда все это происходило? — спросил я.

— Все, что от меня зависело, можете быть уверены. Но при сложившихся обстоятельствах — не очень-то много...

Я снова стал рассматривать работу Томаса Магриджа.

— Я, пожалуй, присяду, погреюсь на солнышке, — услышал я голос Волка Ларсена.

Едва уловившая нотка физической слабости прозвучала в этих словах, и это было так странно, что я быстро обернулся к нему. Он нервно проводил рукой по лицу, словно сметая с него паутину. Я был озадачен. Все это так мало вязалось с его обликом.

— Как ваши головные боли? — спросил я.

— Мучают по временам, — отвечал он. — Кажется, и сейчас начинается.

Он пригнул на палубу. Повернувшись на бок, он подложил руку под голову, а другой рукой прикрыл глаза от солнца. Я стоял и с недоумением смотрел на него.

— Вот вам удобный случай, Хэмп! — сказал он.

— Не понимаю, — солгал я, хотя прекрасно понял, что он хотел сказать.

— Ну ладно, — тихо, словно сквозь дремоту, проговорил он. — Я ведь сейчас в ваших руках, что вам, собственно, и нужно.

— Ничего подобного, — возразил я. — Мне нужно, чтобы вы были не в моих руках, а за тысячу миль отсюда.

Ларсен усмехнулся и больше не прибавил ни слова. Он даже не шелохнулся, когда я прошел мимо него и спустился в кают-компанию. Подняв крышку люка, я остановился в нерешительности, глядя в глубь темной кладовой. Я колебался — спуститься ли? А что если Ларсен только притворяется? Попадешься здесь, как крыса в ловушку! Я тихонько поднялся по трапу и выглянул на палубу. Ларсен лежал все в том же положении, в каком я его оставил. Я снова спустился в кают-компанию, но, прежде чем прыгнуть в кладовую, сбросил туда крышку люка. По крайней мере ловушка не захлопнется. Но это была излишняя предосторожность. Захватив с собой джема, галет, мясных консервов — словом, все, что можно было сразу унести, — я выбрался назад в кают-компанию и закрыл за собою люк.

Выйдя на палубу, я увидел, что Волк Ларсен так и не пошевелился. Внезапно меня озарила новая мысль. Я прокрался в каюту и завладел его револьверами. Другого оружия я нигде не нашел, хотя тщательно обшарил и остальные три каюты и спустился еще раз в кубрик охотников и в матросский кубрик. Я даже забрал из камбуза все кухонные ножи. Потом я вспомнил о большом складном ноже, который капитан всегда носил при себе. Я подошел к Ларсену и заговорил с ним — сперва вытологося, потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я осторожно вытащил нож у него из кармана, после чего вздохнул с облегчением. У него не оставалось теперь никакого оружия, и он не мог напасть на меня с расстояния, я же был хорошо вооружен и сумел бы оказать ему сопротивление, если бы он попытался схватить меня за горло своими страшными ручищами.

Присоединив к моей добыче кофейник и сковороду и захватив из буфета кают-компания кое-какую посуду, я оставил Волка Ларсена на залитой солнцем палубе и спустился на берег.

Мод еще спала. Кухню на зиму мы не успели построить, и я по-

инесши разжечь костер и принялся готовить завтрак. Дело у меня подходило к концу, когда я услышал, что Мод встала и ходит по хижине, занимаясь своим туалетом. Когда же она появилась на пороге, у меня уже все было готово, и я наливал кофе в чашки.

— Это нечестно! — приветствовала она меня. — Мы же договорились, что страпать буду я...

— Один раз не в счет, — оправдывался я.

— Но обещайте, что это не повторится! — улынулась она. — Конечно, если вам не надоела моя жалкая страпня.

К моему удовольствию. Мод ни разу не взглянула на берег, а я так удачно отвлекал ее внимание своей болтовней, что она машинально ела сушеный картофель, который я размочил и поджарил на сковороде, прихлебывая кофе из фарфоровой чашки и намазывала джемом галеты. Но долго это продолжаться не могло. Я увидел, как на лице ее внезапно образовалось удивление. Фарфоровая тарелка, в которой она ела, бросилась ей в глаза. Она окинула взглядом все, что было приготовлено к завтраку, глаза ее перебежали с предмета на предмет. Потом она посмотрела на меня и медленно обернулась к берегу.

— Хэмпфри! — с трудом произнесла она.

Невыразимый ужас снова, как прежде, отразился в ее глазах.

— Неужели... он?... — упавшим голосом проговорила она.

Я кивнул головой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Весь день мы ждали, что Волк Ларсен спустится на берег. Это были тревожные, мучительные часы. Мы с Мод поминутно бросали взгляды в сторону «Призрака». Но Волка Ларсена не было видно. Он даже ни разу не показался на палубе.

— Верно, у него опять приступ головной боли, — сказал я. — Когда я уходил оттуда, он лежал на юте. Он может пролежать так всю ночь. Поиду взглянуть.

Она умоляюще посмотрела на меня.

— Не бойтесь ничего, — заверил я ее. — Я возьму с собой револьверы. Я ведь говорил вам, что забрал все оружие, какое только было на борту.

— А его руки! Его страшные, чудовищные руки! О Хэмфри, — воскликнула она, — я так боюсь его! Не ходите, пожалуйста, не ходите!

Она с мольбой положила свою руку на мою, и сердце у меня забилось. Думаю, что все мои чувства можно было в этот миг прочесть в моих глазах. Милая, любимая моя! Как чисто по-женски утробивала она меня и льнула ко мне!.. Она была для меня солнечным лучом и живой розой, источником, из которого я черпал мужество и силы. Неудержимое желание обнять ее, — как я уже сделал однажды посреди стада котиков, — охватило меня, но я сдержался.

— Я не буду рисковать, — сказал я. — Только взгляну на палубу и посмотрю, что он там делает.

Она взволнованно сжала мою руку и отпустила меня.

Но на палубе, где я оставил Волка Ларсена, его не оказалось. Он, очевидно, спустился к себе в каюту. В эту ночь мы с Мод установили дежурства, так как нельзя было предвидеть, что может выкинуть Волк Ларсен. Он был способен на все.

Мы прождали день и другой, но Ларсен не показывался.

— Эти головные боли... припадки... — сказала Мод на четвертый день.

— Быть может, он болен, тяжело болен. Быть может, умер. Она ждала от меня ответа, но я молчал, и она добавила:

— Или умирает...

— Тем лучше, — сказал я.

— Но подумайте, Хэмфри. Ведь он тоже человек. И умирает совсем один.

— Очень возможно... — проворчал я.

— Да, возможно, — продолжила она. — Конечно, мы ничего не знаем наверняка. Но если он действительно умирает, ужасно бросить его так. Я бы никогда этого не простила себе. Мы должны что-то сделать.

— Да, возможно, — повторил я. Я ждал, улыбаясь про себя, и думал, как это по-женски — проявлять беспокойство даже о Волке Ларсене! Куда девалось ее беспокойство за меня! А ведь еще недавно она так испугалась, когда я хотел только взглянуть на палубу.

Мод разгадала смысл моего молчания — она была достаточно умна и чутка. А прямота ее равнялась ее уму.

— Вы должны подняться на борт, Хэмфри, и узнать, в чем там дело, — сказала она. — А если вам хочется посмеяться надо мной, что вы имеете на это право. Я заранее прошу вас.

Я послушно встал и направился к берегу.

Только будьте осторожны! — крикнула она мне вслед.

Я помахал ей рукой с полубака и соскочил на палубу. Подойдя к трапу в кают-компанию, я окликнул Волка Ларсена. Он ответил мне. Когда он начал подниматься по трапу, я взял курок револьвера, и все время, пока мы разговаривали, открыто держал револьвер в руке, но Ларсен не обращал на это никакого внимания. Внешне он не изменился за эти дни, но был мрачен и молчалив. Вряд ли можно назвать беседой те несколько слов, которыми мы обменялись. Я не спросил его, почему он не сходит на берег, и он не спросил, почему я не показывался на шхуне. Он сказал, что головная боль у него прошла, и я, не вступая в дальнейшие разговоры, ушел.

Мод выслушала мое сообщение и облегченно вздохнула, а когда под камбузом показался дымок, это, видимо, окончательно ее успокоило. Дымок вылся над камбузом и последующие дни, а порой и сам Волк Ларсен ненадолго появлялся на юте. Но это было все. Он не делал попыток спуститься на берег, — нам это было известно, так

как мы следили за ним и продолжали дежурить по ночам. Мы ждали, что он что-нибудь предпримет, откроет, так сказать, свою игру. Его бездействие сбивало нас с толку и вызывало тревогу.

Так прошла неделя. Все наши мысли были теперь сосредоточены на Волке Ларсене. Его присутствие угнетало нас и мешало нам заниматься нашими обычными делами.

Но к концу недели дымок перестал виться над камбузом, и Волк Ларсен больше не появлялся на юте. Я видел, что Мод снова начинает беспокоиться, но из робости, а может быть, и из гордости не повторяет своей просьбы. А в чем, в сущности, мог я упрекнуть ее? Она была женщиной и к тому же глубоко альтруистической натурой. Признаться, мне самому было как-то не по себе, когда я думал о том, что этот человек, которого я пытался убить, быть может, умирает здесь, возле нас, брошенный всеми. Он оказался прав. Нравственные правила, привитые мне в моем кругу, были сильнее меня. То, что у него такие же руки и ноги, как у меня, и тело имеет некоторое сходство с моим, накладывало на меня обязательства, которыми я не мог пренебречь.

Поэтому я не стал ждать, когда Мод вторично пошлет меня на шхуну. «У нас осталось мало ступенчатого молока и джема, — заявил я, — надо подняться на борт». Я видел, что Мод колеблется. Она даже пробормотала, что все это не так уж нам необходимо и мне незачем ходить туда. Однако подобно тому, как раньше она сумела разгадать, что таится за моим молчанием, так и теперь она сразу поняла истинный смысл моих слов, поняла, что я иду туда не за молоком и джемом, а ради нее, — иду, чтобы извратить ее от беспокойства, которое она не сумела от меня скрыть.

Поднявшись на судно, я снял башмаки и в одних носках бесшумно прокрался на корму. На этот раз я не стал окликать Волка Ларсена. Осторожно спустившись по трапу, я обнаружил, что в кают-компании никого нет. Дверь в каюту капитана была закрыта. Я уже хотел было постучать, но передумал, решив сперва заняться тем, что якобы и привело меня сюда. Стараясь поменьше шуметь, я поднял крышку люка и отставил ее в сторону. Товары судовой лавки находились в той же кладовой, и мне захотелось заодно запастись и бельем.

Когда я выбрался из кладовой, в каюте Волка Ларсена раздался шум. Я замер и прислушался. Звякнула дверная ручка. Я инстин-

тивно отпрянул в сторону. Притаившись за столом, я выхватил револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и показался Волк Ларсен. Некогда не видел я такого отчаяния, какое было написано на его лице — на лице сильного, неукротимого Волка Ларсена. Он стоял, как женщина, и потрясал сжатými кулаками над головой. Потом провел ладонью по глазам, словно сметая с них невидимую пелену.

— Господи, господи! — хрипло простонал он и в беспредельном отчаянии снова потряс кулаками.

Это было страшно. Я задрожал, по спине у меня пробежали мурашки, и холодный пот выступил на лбу. Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа.

Но огромным усилием воли Волк Ларсен взял себя в руки. Поистине это стоило ему колоссальных усилий. Все тело его сотрясало от напряжения. Казалось, его вот-вот хватит удар. Лицо его страшно искажилось — видно было, как он старается овладеть собой. Потом силы снова оставили его. Вновь сжатые кулаки поднялись над головой, он застонал, судорожно вздохнул раз, другой, и из груди его вырвались рыдания. Наконец ему удалось овладеть собой. Я опять увидел прежнего Волка Ларсена, хотя какая-то слабость и нерешительность все еще проскальзывали в его движениях. Энергично, как всегда, он шагнул к трапу, но все же в его походке чувствовалась эта слабость и нерешительность.

Признаться, тут уж я испугался — незакрытый люк находился все раз на его пути и выдавал мое присутствие. Но вместе с тем мне стало досадно, что он может поймать меня в такой трусливой позе — скрючившись позади стола, — и я решил, пока не поздно, появиться перед ним, что тут же и сделал, бессознательно приняв вызывающую позу. Но Волк Ларсен не замечал ни меня, ни открытого люка. Прежде чем я успел понять, в чем дело, и что-либо предпринять, он уже занес ногу над люком и готов был ступить в пустоту. Однако, давит под ногой твердой опоры, он мгновенно преобразился. Да, он был уже прежний Волк Ларсен. Вторая нога его еще не успела опуститься от пола, как он одним могучим прыжком перенес свое тело над люком. Широко раскинув руки, он плашмя — грудью и животом — упал на пол по ту сторону люка и тут же,

подтянув ноги, откатился в сторону, прямо в сложенные мною около крышки люка продукты и белье.

Я увидел по его лицу, что он все понял. Но прежде, чем я успел что-нибудь сообщить, он уже навалился на люк крышки. Тут наконец понял все и я. Он думал, что поймал меня в кладовой. Он был слеп — слеп, — как летучая мышь! Я следил за ним, застав дыхание, страшаясь, как бы он не услышал меня. Он быстро подошел к своей каюте. Я видел, что он не сразу нащупал дверную ручку. Надо было пользоваться слухом, и я быстро, на цыпочках, проскользнул через каюткомпанию и поднялся по трапу. Ларсен вернулся, таща за собой тяжелый морской сундук, и навалился на крышку люка. Не удовлетвовавшись этим, он приволок второй сундук и взгромоздил его на первый. Затем подобрал с пола мой джем и белье и положил на стол. Когда он направился к трапу, я отступил в сторону и тихонько перекатился через палубу рубки.

Ларсен остановился на трапе, опираясь руками о раздвижную дверь. Он стоял неподвижно и пристально, не мигая, смотрел куда-то в одну точку. Я находился прямо перед ним, футах в пяти, но больше. Мне стало жутко. Я чувствовал себя каким-то призраком невидимкой. Я помахал рукой, но не привлек его внимания. Однако, когда тень от моей руки упала на его лицо, я сразу заметил, что он это почувствовал. Лицо его напряглось; он явно пытался понять и проанализировать неожиданно возникшее ощущение. Он понимал, что это какое-то воздействие извне, какое-то изменение в окружающей среде, воспринимаемое его чувствами. Я замер с поднятой рукой; тень остановилась. Ларсен начал медленно поворачивать голову то в одну сторону, то в другую, наклонять и поднимать ее, заставляя тень двигаться по его лицу и проверяя свои ощущения.

Я следил за ним и был, в свою очередь, поглощен желанием выяснить, каким образом удается ему ощутить такую невесомую вещь, как тень. Если бы у него были повреждены только глазные яблоки или если бы его зрительные нервы были поражены не полностью, все объяснилось бы просто. Но он явно был слеп. Значит, он ощущал разницу в температуре, когда тень падала на его лицо. Или — почему знать — это было пресловутое шестое чувство, сообщавшее ему о присутствии постороннего предмета?

Отказавшись, как видно, от попыток определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошел на бак поразительно уверенно и быстро. И все же было заметно, что идет слепой. Теперь-то я это ясно видел.

Он нашел на палубе мои башмаки и унес их с собою в камбуз. Мне было и смешно и досадно. Я еще остался посмотреть, как он разводит огонь и варит себе пищу. Потом снова прокрадываясь в каюткомпанию, забрал джем и белье, проскользнул мимо камбуза, спустился на борт и босиком отправился к Мод — дать отчет о своей вылазке.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Такое несчастье, что «Призрака» потерял мячты. А то мы могли бы уползти на нем отсюда. Как вы думаете, Хэмфри?

— Надо подумать, надо подумать! — вскричал я и зашагал взад и вперед.

Глаза Мод расширились, она с надеждой следила за мной. Она так верила в меня! Мысль об этом придавала мне силы. Я вспомнил слова Мишле: «Для мужины женщина то же, чем была Земля для своего легендарного сына: стоило ему пасть ниц и прикоснуться губами к ее груди, как силы возвращались к нему». Только теперь по-настоящему понял я глубокий смысл этих слов. Нет, мало сказать «понял» — я ощутил это всем своим существом! Мод для меня была тем, о чем говорил Мишле: неисчерпаемым источником силы и мужества. Взглянуть на нее, подумать о ней было для меня достаточно, чтобы почувствовать новый прилив сил.

— Надо попытаться, надо попытаться, — рассуждал я вслух. — То, что делали другие, могу сделать и я. А если даже никто этого раньше не делал, все равно я сделаю.

— Что именно? Ради бога, не томите меня, — потребовала объяснения Мод. — Что вы можете сделать?

— Не я, а мы, — поправился я. — Как что? Ясно — установить на «Призраке» мячты и уползти отсюда.

— Хэмфри! — воскликнула она.

Я был так горд своим замыслом, словно уже привел его в исполнение.

— Но как же это осуществить? — спросила она.

— Пока не знаю, — сказал я. — Знаю только одно — я сейчас способен совершить все, что захочу.

Я горделиво улыбнулся ей, чрезмерно горделиво, должно быть, потому что она опустила глаза и некоторое время молчала.

— Но вы забываете, что существует еще капитан Ларсен, — ска-

зала она.

— Слестой и беспомощный! — не задумываясь, отвечал я, отметаив от себя сторону, как нечто совсем несущественное.

— А его страшные руки! А как он прыгнул через люк — вы же сами рассказывали!

— Но я рассказывал еще и о том, как мне удалось выбраться из этой компании и ударить от него, — весело возразил я.

— Босиком, без башмаков!

— Ну да, башмакам не удалось ударить от него без помощи моих ног!

Мы рассмеялись, а потом стали уже всерьез обсуждать план установки мячты на «Призраке» и возвращения в цивилизованный мир. У меня еще со школьной скамьи сохранились кое-какие, правдивые, довольно смутные, познания по части физики, а за последние месяцы я приобрел некоторый практический опыт в использовании механических приспособлений для подъема тяжестей. Однако когда мы подошли к «Призраку», чтобы основательно осмотреть его, то увидели этих огромных мячт, покачивавшихся на волнах, признавая, чуть не поверг меня в отчаяние. С чего начать? Если бы дерзнуть, хоть одна мячта, чтобы мы могли прикрепить к ней блоки! Как ведь нет! У меня было такое ощущение, словно я задумал поднять сам себя за волосы. Я понимал законы рычагов, но где было взять точную опору?

Грот-мячта была длиной футов в шестьдесят — шестьдесят пять и у основания, там, где она обомлглась, имела пятнадцатый дюймовый диаметр. Веса она, по моим примерным подсчетам, никак не менее трех тысяч фунтов. Фок-мячта была еще толще и весила верных три с половиной тысячи фунтов. Как же подступиться к этому делу?

Мод безмолвно стояла возле меня, а я уже разрабатывал в уме приспособление, которое моряки называют «временной стрелой». Но хотя стрела давно известна морякам, я изобрел ее заново на примере Уеллий. Связав концы двух стенок, подняв и укрепив их на наиболее наподобие переворотной буквы «V» и привязав к ним блок, я мог получить необходимую мне точку опоры. А к первому блоку можно будет, если потребуетея, присоединить и второй. Кроме того, в нашем распоряжении был еще брашпиль!

Мод видела, что я уже нашел решение, и с торжачим одобрением взглянула на меня.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она.

— Обрубить снасти! — ответил я, указывая на перепутавшиеся снасти, висевшие за бортом.

Мне самому понравились эти слова — такие звучные и решительные. «Обрубить снасти!» Ну кто бы мог еще полгода назад услышать такую подлинно матросскую фразу из уст Хэмфри Ван-Вейдена!

Вероятно, и в голосе моем и в позе было нечто мелодраматическое, так как Мод улыбнулась. Она мгновенно подмечала все нежное и смешное, безошибочно улавливая малейший оттенок фальши, преувеличения или бахвальства. Это находило отражение и в ее творчестве и придавало ему особую ценность. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда заставит себя слушать. И она умела это делать. Ее способность подмечать смешное была не чем иным, как свойственным всякому художнику чувством меры.

— Я припомню это выражение, оно попало к моему в кинта, — с улыбкой обронила она.

Но чувство меры достаточно развито и у меня, и я сконфузилась. У торделового повелителя стихий вид в эту минуту был, вероятно, самый жалкий.

Мод с живостью протянула мне руку.

— Не обижайтесь! — сказала она.

— Нет, вы правы, — не без усилия промолвил я. — Это хороший урок.

Слишком много во мне мальчишеского. Но это все пустяки. А только нам придется все же обрубить снасти. Если вы сидите вместе со мной в шлюпку, мы подойдем к шхуне и попытаемся распутать этот клубок.

— «В зубы нож — и марсовые лезут снасти обрубить», — процитировала Мод, и до конца дня мы весело трудились.

Ее задача заключалась в том, чтобы удерживать шлюпку на месте, пока я возился с перепутавшимися снастями. И что там творилось! Фалы, ванты, шкоты, ниралы, лсера, штаги — все это полоскалось в воде, и волны все больше и больше переплелись и перепутывали их. Я старался обрубить не больше, чем было не-

обходимо, и мне приходилось то протаскивать длинные концы веревки пиками и мачтами, то отвязывать фалы и ванты и укладывать их бухтой на дне лодки, то, наоборот, разматывать их, чтобы прикрепить сквозь обнаружившийся узел. От этой работы я скоро пришел до нитки.

Паруса тоже пришлось кое-где разрезать; я с великим трудом справился с тяжелой намокнувшей парусиной, но все же до наступления ночи сумел вытащить все паруса из воды и разложить их на берегу для просушки. Когда пришло время кончать работу и идти спать, мы с Мод уже совершенно выбились из сил, но успели сделать немало, хотя с виду это и не было заметно.

На следующее утро мы спустились в трюм шхуны, чтобы очистить стелсы от шпоров мачт. Мод очень ловко принялась помогать мне. Но лишь только взялись мы за дело, как на стук моего топора появился Волк Ларсен.

— Эй там, в трюме! — долетело к нам с палубы через открытый люк.

При звуке этого голоса Мод инстинктивно придвинулась ко мне, как бы шла защитой, и, пока мы с Ларсеном переговаривались, она стояла рядом, держа Меня за руку.

— Эй там, на палубе! — крикнул я в ответ. — Доброе утро!

— Что вы делаете в трюме? — спросил Волк Ларсен. — Хотите попить мою шхуну?

— Напротив, хочу привести ее в порядок, — отвечал я.

— Какого дьявола вы там приводите в порядок? — озадаченно спросил он.

— Подготавливаю кое-что для установки мачт, — пояснил я как ни в чем не бывало, словно поставить мачты было для меня естественным.

— Похоже, что вы и впрямь твердо стали на ноги, Хэмпи! — услышали мы его голос, после чего он некоторое время молчал. — Но поспешайте, Хэмп, — окликнул он меня снова. — Вы не можете этого сделать.

— Почему же не могу? — возразил я. — Не только могу, но уже делал.

— Но это моя шхуна, моя частная собственность. Что, если я не разрешу вам?

— Вы забываете, — возразил я, — что вы теперь уже не самый большой кусок закуски. Это было раньше, тогда вы могли, по вашему выражению, сожрать меня. Но за последнее время вы сократились в размерах, и сейчас я могу сожрать вас. Закуска перестоялась.

Он рассмеялся резким, неприятным смехом.

— Довко вы обратили против меня мою философию! Но смотрите, не ошибитесь, недооценив меня. Предупреждаю вас для вашего же блага!

— С каких это пор вы стали филантропом? — осведомился я. — Сопласитесь, что, предупредая меня для моего же блага, вы проявляете непоследовательность.

Он будто и не заметил моего сарказма и сказал:

— А если я возьму да захопну лок? Сейчас вы уж меня не проведете, как в тот раз, в кладовой.

— Волк Ларсен, — решительно сказал я, впервые называя его так, как привык называть за глаза. — Я не способен застрелить человека, если он беспомощен и не оказывает сопротивления. Вы сами убедили меня в этом — к нашему взаимному удовлетворению. Но предупредая вас, и не столько для вашего блага, сколько для своего собственного, что при первой вашей попытке чем-нибудь повредить мне я застрелю вас. Я и сейчас могу сделать это. А теперь, если вам так хочется, можете попробовать закрыть лок.

— Так или иначе, я запрещаю вам, решительно запрещаю хозяйничать на моей шкуре!

— Да что с вами! — укорил я его. — Вы все твердите, что это ваш корабль, так, словно это дает вам какие-то моральные права. Однако вы никогда не считались с правами других. Почему же вы думаете, что я буду считаться с вашими?

Я подошел к люку, чтобы увидеть его лицо. Это было совсем не то лицо, которое я видел в последний раз, когда тайне наблюдал за ним: сейчас оно было лишено всякого выражения, и вызываемое им неприятное ощущение еще усиливалось устремленным в одну точку взглядом широко открытых, немигающих глаз.

— И даже жалкий червь, как Хэмп, его корит с презрением!... — как смешливо произнес он, но лицо его оставалось бесстрастным. — Как поживаете, мисс Брустер? — помогая, неожиданно протворил он, Я вздрогнул. Мод не издавала ни звука, даже не шевельнулась.

Нужели у него еще сохранились остатки зрения? Или оно снова возвращалось к нему?

— Здравствуйте, капитан Ларсен, — ответила Мод. — Как вы узнали, что я здесь?

— Успышал ваше дыхание. А Хэмп делает успехи, как вы считаете?

— Не могу судить, — промолвила она, улыбнувшись мне, — я никогда не знала его другим.

— Жаль, что вы не видели его раньше!

— Я принимал лекарство под названием «Волк Ларсен», и в довольно больших дозах, — пробормотал я. — До и после еды.

— Я еще раз повторю, Хэмп, — угрожающе проговорил он, — оставьте мою шкуру в покое!

— Да разве вам самому не хочется вернуться отсюда? — удивленно спросил я.

— Нет, — ответил он, — я хочу умереть здесь.

— Ну, а мы не хотим! — решительно заявил я и снова застучал топотом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

На другой день, расчистив стены и подготовив все необходимое, мы принялись втаскивать на борт обе стены, из которых я намеревался соорудить временную стрелу. Грот-стеньга имела в длину более тридцати футов, фор-стеньга была немного короче. Заданная предосторожность не была принята. Взяв хитрой конец тяжелых талей на брашпиль, а другим концом прикрепив их к основанию грот-стеньги, я начал вращать рукоятку брашпиля. Мод следила за тем, чтобы трос ровно ложился на барабан, а сходящий конец укладывала в бухту.

Нас поразило, с какой легкостью пошла вверх стена. Брашпиль был усовершенствованной системы и давал огромный выигрыш в силе. Но, разумеется, вытравывая в силе, мы теряли в расстоянии. Во сколько раз брашпиль увеличивал мои силы, во столько же раз увеличивалась и длина троса, который я должен был выбрать. Тали медленно ползли через борт, и чем выше поднималась из воды стеньга, тем труднее становилось вертеть рукоятку.

Но когда шпор стеньги поравнялся с планширом, дело застыло.

— Как я об этом не подумал! — вырвалось у меня. — Теперь придется начинать все сызнова.

— А почему не прикрепит тали поближе к середине стеньги? — спросила Мод.

— С этого мне и следовало начать! — сказал я, крайне недовольный собой.

Потравив тали, я спустил стеньгу обратно. Потом прикрепил тали примерно на расстоянии трети ее длины от шпора. Проработав час, с небольшими перерывами на отдых, я снова поднял стеньгу, но она опять застряла на полдороге. Шпор стеньги на восемь футов торчал над планширом, но вытащить ее всю на борт по-прежнему было невозможно. Я сел и стал размышлять над этой задачей. Впрочем, довольно скоро я с торжествующим видом вскочил на ноги.

— Знаю теперь, что делать! — воскликнул я. — Надо было прикрепить тали у центра тяжести. Ну ничего! Это послужит нам наукой, когда мы будем поднимать на борт все остальное.

Снова пришлось спустить стеньгу в воду и начать все сначала. Но на этот раз я неправильно рассчитал положение центра тяжести, и когда стал тянуть наверх, вместо шпора стеньги пошла ее верхушка. Мод была в отчаянии, но я засмеялся и сказал, что сойдет и так. Показав ей, как держать рукоятку и как по команде потравить тали, я ухватился обеими руками за стеньгу и попытался перевалить ее через борт. Мне показалось, что цель уже достигнута, и я велел Мод травить, но тут стеньга вдруг перевесилась и — как ни старался я ее удерживать — свалилась за борт. Тогда я снова взялся за рукоятку и вернул стеньгу в прежнее положение. У меня появилась новая мысль. Я вспомнил о хватталах — небольшом подъемном приспособлении с двухкивным и однокивным блоками.

В ту минуту, когда я уже наладил хват-тали, на полуке у пропноголового борта появился Волк Ларсен. Мы поздоровались и больше не обменялись ни словом. Он не мог видеть, что мы делаем, но, усевшись в стороне, на слух следил за ходом работы.

Еще раз напомнив Мод, чтобы она потравила трос брашпилем, как только я подам команду, я взялся за хват-тали и принялся тянуть. Стеньга начала медленно наклоняться и скоро легла, покачиваясь, поперец планшира. И тут, к своему удивлению, я обнаружил, что принять незачем, в сущности, требовалось совершенно обратное. Накрепив хват-тали, я перешел к брашпилю и начал вытягивать стеньгу дюйм за дюймом, пока она вся не перевалилась через планшир и не упала на палубу.

Я посмотрел на часы. Был уже полдень. У меня ломило спину, и я чувствовал себя смертельно усталым и голодным. И за целое утро нам удалось поднять на палубу одну только стеньгу.

Только тут я по-настоящему понял, как огромна предстоявшая нам работа. Зато я уже кое-чему научился. После обеда дело будет лучше спориться, решил я. И не ошибся.

В час дня, отдохнув и основательно подкрепившись, мы вернулись на шхуну. Меньше чем через час грот-стеньга уже лежала на палубе, и я взялся за сооружение стрелы. Связав верхушки обеих

стены так, что более длинная выступала несколько дальше, я прикрепил в месте соединения двухкивный блок гафель-тарделя. В соединении с однокивным блоком и самим гафель-тарделем это дало мне подъемные тали. Чтобы шпоры стрелы не разъехались в стороны, я прибил к палубе толстые планки. Когда все было готово, я привязал к вершине стрелы трос и взял его на брашпиль. Я все больше и больше проникался верой в этот брашпиль — ведь благодаря ему мои силы неизмеримо возросли. Как уже повелось. Мол следил за тросом, а я вертел рукоятку. Стрела поднималась.

Но тут я обнаружил, что забыл закрепить стрелу оттяжками. Пришлось взбираться на вершину стрелы, что я и продолжал делать. Наконец оттяжки были прикреплены и стрела расчалена к носу, к корме и к бортам. Начинало смеркаться. Волк Ларсен, который все время сидел в отдалении и в полном молчании прислушивался к нашей работе, ушел в камбуз и занялся приготовлением ужина. У меня так разломилось поясницу, что я не мог ни согнуться, ни разогнуться, но зато с гордостью смотрел на дело своих рук. Результаты были налицо. Как ребенок, получивший новую игрушку, я стоял от нетерпения — мне до смерти хотелось поднять что-нибудь своей стрелой.

— Жаль, что темнеет, — сказал я. — Уж очень хочется поглядеть, как она будет действовать.

— Не будьте таким ненасытным, Хэмфри! — пожурила меня Мол. — Не забудьте, завтра опять предстоит работа. А ведь вы еле стоите на ногах.

— А вы? — с участием спросил я. — Вы, должно быть, страшно устали. Мол! Как вы работали! Это же поистине геройство. Я горжусь вами.

— А я вами и подавно. И с большим основанием, — отозвалась она и посмотрела мне прямо в глаза. Сердце у меня сладко защемило — ее глаза так ласково лучились, и я уловил в них какое-то новое выражение. Я не понял его, но необъяснимый восторг охватил меня. Мол опустила глаза. А когда она снова подняла их — они смеялись. — Если б только наши знакомые могли видеть нас сейчас! — сказала она.

— Посмотрите, на что мы стали похожи! Вы когда-нибудь задумывались над этим?

— О да, и не раз, я же вижу вас перед собой, — отвечал я, думая о том, что мог означать этот огонек в ее глазах и почему она так внезапно перевела разговор на другую тему.

— Помилуйте! — воскликнула она. — На что ж я похожа?

— Боюсь, что на огородное пугало, — сказал я. — Посмотрите только на свою юбку: подол в грязи, повсюду дыры! А блузка-то вся в пятнах! Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сказать, что вы готовили пищу над костром и вытапывали котиковый жир. А готовной убор один чего стоит! И это та самая женщина, которая писала «Вынужденный поцелуй»!

Она сделала мне глубокий, церемонный реверанс и начала, в свою очередь:

— Что касается вас, сэр...

Минут пять мы поддразнивали друг друга, но под этими шуточками чувствовалось что-то другое, серьезное, и я невольно связывал это с новым выражением, промелькнувшим в глазах Мол. Что это было? Неужели наши глаза говорили помимо воли? Я знал, что мои глаза уже выдавали меня не раз, хотя я и приказывал им молчать. Неужели Мол все же прочла в них призыв? И неужели ее глаза отозвались на него? Что значил этот теплый мерцающий огонек и то неуловимое, что я почувствовал в них и что нельзя определить словами? Но нет, это было невозможно! этого не могло быть! Я ведь не был искушен в толковании красноречивых взглядов, я — Хэмфри Ван-Вейден, книголюб и затворник, влюбившийся неожиданно-неожиданно. И для меня любить и ждать, стараться заслужить любовь было уже блаженством.

Мы сошли на берег, продолжая подшучивать друг над другом, а я все думал свою думу, пока очередные дела не отвлекли меня.

— Какая, право, досада! Работаетесь целый день не покладая рук, а потом нельзя даже спокойно поспать ночью! — посоветовал я после ужина.

— Но ведь он же слеп. Какая опасность может нам грозить?

— Я боюсь его и не верю ему. А теперь, когда он ослеп, — и помимо, беспомощность только сильнее озлобляет его. Впрочем, я знаю, что надо делать, завтра с утра завезу небольшой якорь и стану плавить с берега. Вечером мы будем возвращаться на шлюпке домой,

а мистера Ларсена оставить пленником на шхуне. Сегодня уж отде-
журим еще одну ночь — в последний раз всегда как-то легче.

Наутро мы поднялись спозаранок, и, когда рассвело, наш за-
втрак уж подошел к концу.

— Ой, Хэмфри! — с отчаянием воскликнула вдруг Мод.

Я взглянул на нее. Она смотрела на «Призрака». Потрясен тула
же, я не заметил ничего необычного. Мод перевела глаза на меня, и
я ответил ей недоумевающим взглядом.

— Стрела... — дрожащим голосом проговорила Мод.

О стреле-то я и позабыл! Я взглянул снова — и не увидел ее на
прежнем месте.

— Если только он... — свирепно пробормотал я.

Она успокаивающе коснулась моей руки.

— Вам придется начать сызнова.

— О, не беспокойтесь, я, конечно, бешусь, понапрасну! Я ведь
и мухи не обижу, — с торжеством улыбнулся я. — И хуже всего то, что
он это знает. Вы правы, если он уничтожил стрелу, я ничего ему не
сделано и начну все сызнова.

— Но теперь уж я буду дежурить на шхуне, — вырвалось у меня
минуту спустя, — и если только он еще раз попытается что-нибудь
сделать...

— Но я боюсь осваиваться одна ночью на берегу! — очнувшись от
своих безрадостных мыслей, услышал я голос Мод. — Если б можно
было уговорить его помочь нам... Мы могли бы тогда тоже жить на
шхуне — ведь это куда удобнее.

— Так оно и будет, — довольно свирепно заявил я, вне себя от того,
что моя драгоценная стрела уничтожена. — Я хочу сказать, что мы с
вами будем жить на шхуне, а понравится это Ларсену или нет, мне
все равно.

Успокоившись, я рассмеялся:

— Ведь это же сущее ребячество с его стороны. И глупо, конечно,
что я злось.

Но, когда мы взобрались на борт шхуны и увидели учиненный
Волком Ларсеном разгром, сердце у меня заняло. Стрела исчезла
бесследно. Правая и левая оттяжки были перерублены, гафель-тар-
дели разрезаны на куски. Ларсен знал, что я не умею сплескивать
концы. Недоброе предчувствие охватило меня. Я бросился к браш-

пину. Да, он был выведен из строя. Волк Ларсен сломал его. Мы с
Мод обменялись унылым взглядом. Потом я побежал к борту. Ос-
павожженные мною от обрывков снастей маты, гики и гафели ис-
чезли. Ларсен надувал удерживавшие их тросы и отвязал их, чтобы
течение унесло весь рантут в море.

Слезы стояли на глазах у Мод, и я понял, что она плачет от опор-
чения за меня. Я и сам готов был заплакать. Прощай мечта об оснаще-
нии «Призрака»! Волк Ларсен потрундился на славу! Я сел на комингс
пока и, подперев голову руками, предавался черной меланхолии.

— Он заслуживает смерти! — воскликнул я. — Но, да простит мне
бог, у меня не хватит мужества стать его палачом!

Мод подошла ко мне и, погладив меня по голове, словно ребен-
ка, сказала:

— Успокойтесь, успокойтесь! Все будет хорошо. Мы возьмись за
привное дело и своего добьемся.

Я вспомнил Мише и прижался к Мод головой. И в самом деле,
через минуту силы вернулись ко мне. Эта женщина была для меня
несказанным источником силы. В конце концов стоит ли прида-
вать значение тому, что произошло? Простая задержка, отсрочка.
Остаток не мог унести маты далеко, а ветра не было. Придется толь-
ко еще повозиться, чтобы найти их и отбуксировать обратно. Но это
было для нас уроком. Теперь я знал, чего ожидать от Волка Ларсена.
А ведь он мог нанести нам еще больший урон, уничтожив нашу ра-
боту, когда она была бы ближе к концу.

— Вон он идет! — шепнула мне Мод.

Я поднял голову. Волк Ларсен медленно шел по юту вдоль ле-
вого борта.

— Не обращайтесь на него внимания! — шепнул я. — Он вышел по-
смотреть, как все это на нас действовало. Делайте вид, будто ни-
чего не произошло. Откажем ему хоть в этом удовольствия! Сними-
те туфли и возьмите их в руки.

И вот у нас началась игра в жмурки со слепым. Когда он пошел к
нам вдоль левого борта, мы проскользнули у правого и стали наблю-
дать за ним с юта: он повернул и пошел следом за нами на корму.

Но он все же обнаружил наше присутствие, потому что уверен-
но произнес: «Доброе утро!» — и стал ждать ответа. Затем он напра-
вился на корму, а мы перебрались на нос.

— Да ведь я же знаю, что вы на борту! — крикнул он, и я видел, как он напряженно прислушивается.

Он напомнил мне огромного филина, который, испустив свой зловещий крик, слушает, не зашевелился ли испугнутая добыча. Но мы не шевелились и двигались только тогда, когда двигался он. Так мы и бегали по палубе, взявшись за руки, — словно двое детей, за которыми гонится великан-людоед, — пока Волк Ларсен, явно развешенно переплывавшись, обуваясь и перелезая через борт в шлюпку. И, глядя в ясные карие глаза Мод, я забыл все причиненное нам зло и знал одно: что я люблю ее и что с нею найду в себе силы пробиться обратно в мир.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Два дня мы с Мод бороздили на шлюпке море, обьезжая остров и поисках пропавшего рантоута. Только на третий день мы нашли его — весь целиком и даже нашу стрелу. Но, увы, в самом опасном месте — там, где волны с бешеным ревом разбивались о суровый западный мыс. И как же мы работали! Уже смеркалось, когда мы, совершенно обессиленные, причалили к нашей бухточке, таща на буксире гротмачту. Стоял мертвый штиль, и нам пришлось грести весь долгий путь.

Еще день изнурительной и опасной работы — и к грот-мачте прибавились обе стены. На третий день я, доведенный до отчаяния такой провололочкой, связал вместе фок-мачту, оба гика и оба гафеля шлюпочные плота. Ветер был попутный, и я надеялся отбуксировать груз под парусом. Но вскоре ветер повернул, а затем и вовсе стих, и мы шли на веслах со скоростью черепахи. Поневолге можно было нагнать духом: я что было мочи налетал на весла, но шлюпка почти не двигалась с места из-за тяжелого груза за кормой.

Спустилась ночь, и, в довершение всех бед, подул ветер с берега. Мы уже не только не продвигались вперед, но нас стало сносить в открытое море. Я греб из последних сил, пока не выдохся. Бедняжка Мод, которая тоже выбивалась из сил, стараясь мне помочь и не слушая моих уговоров, в изнеможении прилетела на корму. Я больше не мог трести. Натруженные, распухшие руки уже не держали весла. Плечи ломило, и, хотя в полдень я основательно поел, после такой работы у меня голова кружилась от голода.

Я убрал весла и нагнулся над буксирным тросом. Но Мод схватила меня за руку.

— Что вы задумали? — спросила она с тревогой.

— Отдать буксир, — ответил я, отвязывая трос.

Ее пальцы сжали мою руку.

— Нет, нет, не надо! — воскликнула она.

— Да ведь мы все равно ничего не можем сделать! — сказал я. — Уже ночь, и нас относит от берега.

— Но подумайте, Хэмфри! Если мы не уплывем на «Призраке», нам на долгие годы, быть может, на всю жизнь, придется остаться на этом острове.

Раз его до сих пор не открыли, значит, может быть, никогда и не откроют.

— Вы забыли о лодке, которую мы нашли на берегу, — напомнил я. — Это промысловая шлюпка, — отвечала она, — и вы, конечно, понимаете, Хэмфри, что если б люди с нее спаслись, они вернулись бы, чтобы составить себе состояние на этом лежбище. Они потопили, вы сами это знаете.

Я молчал, все еще колеблясь.

— А кроме того, — запинаясь, добавила она, — это был ваш план, и я хочу, чтобы вам удалось его осуществить.

Это придало мне решимости. То, что она сказала, было очень лестно для меня, но из великодушия я все еще упрямился.

— Лучше уж прожить несколько лет на этом острове, чем потопнуть в океане этой ночью или завтра, — сказал я. — Мы не подогрели к плаванню в открытом море. У нас нет ни пищи, ни одежды, ни одежды — ничего! Да вы и одной ночи не выдержите без одежды. Я знаю ваши силы. Вы и так уже дрожите.

— Это нервы, — ответила она. — Я боюсь, что вы не послушаетесь меня и отвяжете манты.

— О, пожалуйте, прошу вас, Хэмфри, не надо! — взмолилась она через минуту.

Это решило дело. Она знала, какую власть имеют надо мной эти слова. Мы мучительно дрогли всю ночь. Порой я начинал дремать, но холода был так жесток, что я тут же просыпался. Как Мад мог это вынести, было выше моего понимания. Я так устал, что у меня уже не хватало сил двинуться, чтобы хоть немного согреться, но все же время от времени я растирал Мад руки и ноги, стараясь возбудить в них кровообращение. Под утро у нее начались судороги от холода. Я снова принялся растирать ей руки и ноги; судороги прошли, но я увидел, что она совсем очохла. Я испугался. Посадив ее на весла, я заставил ее грести, но она так ослабела, что после каждого взмаха веслами едва не теряла сознание.

Забрезжило, и в предрачевенной дымке мы долго искали глазами наш остров. Наконец, мы увидели его — крошечное темное пятнышко, милая в пятнадцати от нас, на самом горизонте. Я осмотрел море и бингохсь. Вдали, на юго-западе, я заметил на воде темную полосу, она явно принадлежала к нам.

— Попутный ветер! — закричал я хрипло, и мой голос показался мне чужим.

Мад хотела что-то сказать и не могла вымолвить ни слова. Губы ее посинели от холода, глаза ввалились, но как мужественно смотрели на меня эти ясные карие глаза! Как жалобно и все же мужественно!

Снова принялся я растирать ей руки, поднимать и опускать их, пока она не почувствовала, что может двинуть ими. Потом я заставил ее встать и сделать несколько шагов между средней банкой и кормой, хотя она, верно, упала бы, если бы я не поддерживал ее. Я потянул ее даже попрыгать.

— Ах вы, храбрый маленькая женщина! — сказал я, увидев, что она все снова оживает. — Знаете ли вы, какая вы храбрая?

— Никогда я не была храброй, — промолвила она, — пока не узнала вас. Это вы сделали меня храброй!

— Ну, и я не был храбр, пока не узнал вас, — сказал я.

Она бросила на меня быстрый «взгляд», и я снова уловил этот тонкий трепетный огонек в ее глазах... и еще что-то. Но это длилось всего одно мгновение. Мад улыбнулась.

— Вас-то просто обстоятельства изменили, — сказала она.

Но я знал, что это не так, и, быть может, она сама это понимала. Тут налетел ветер, попутный и свежий, и скоро шлюпка уже принадлежала себе дорогу по высокой волне прямо к острову.

После полудня мы миновали юго-западный мыс. Теперь уже не было голода мучил нас — мы изнемогали от жажды. Губы у нас пересохли и потрескались, и мы тщетно пытались смочить их языком. А потом ветер начал спадать и к ночи стих совсем. Я снова сел на весла, но едва мог грести. В два часа утра нос шлюпки врезался в прибрежный песок нашей маленькой бухточкой, и я, шатаясь, выбрался на берег и привязал шлюпку. Мад не стояла на ногах от усталости. Я хотел помочь ей, но у меня не хватило сил. Я упал вместе с нею на песок, и когда отдышался, взял ее под мышки и волоком потащил к хижине.

На следующий день мы не работали. Мы проспали до трех часов дня, по крайней мере я. Когда я проснулся, Мод уже страдала обездвиженностью. Ее способность быстро восстанавливать силы была поразительна. Это хрупкое, как стебелек цветка, тело обладало изумительной выносливостью. Как ни мало было у нее сил, она цепко держалась за жизнь.

— Вы ведь знаете, что я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья, — сказала она, когда мы, пообедав, сидели у костра, наслаждаясь покоем. — Я никогда не отличалась крепким здоровьем. Врачи рекомендовали мне путешествие по морю, ну я и выбрала самое продолжительное.

— Не знали вы, что выбирали! — рассмеялся я.

— Что ж, это очень изменило меня и, надеюсь, — к лучшему, — заявила она. — Я теперь стала крепче, сильнее. И, во всяком случае, больше знаю жизнь.

Короткий осенний день быстро шел на убыль. Мы разговаривали о страшной, необъяснимой слепоте, поразившей Волка Ларсена. Я сказал, что, видимо, дело его плохое, если он заявил, что хочет остаться и умереть на Острове Усугий. Когда такой сильный, так любящий жизнь человек готовится к смерти, ясно, что тут кроется нечто большее, чем слепота. А эти ужасные головные боли! Потолковав, мы решили, что он, очевидно, страдает какой-то болезнью мозговых сосудов и во время приступов испытывает нечеловеческую боль.

Я заметил, что, чем больше говорили мы о тяжелом состоянии Волка Ларсена, тем сильнее прорывалось у Мод сострадание к нему, но это было так трогательно и так по-женски, что лишь сильнее привлекало меня к ней. К тому же всякая фальшивая сентиментальность была ей совершенно чужда. Мод вполне соглашалась со мной, что нам необходимо применить к Волку Ларсену самые суровые меры, если мы хотим удержать с этого острова, и только мысль о том, что я могу оказаться вынужденным лишить его жизни, чтобы спасти свою (она сказала «нашу») жизнь, пугала ее.

На следующий день мы позавтракали на расвете и сразу же принялись за работу. В носовом трюме, где хранился судовый инвентарь, я нашел верп и цепой больших усугий вытаскил его на палубу и спустил в шлюпку. Сложив бухтой на корме шлюпки длинный

трос, я завез якорь подальше от берега и бросил его. Ветра не было, стоял высокий прилив, и шхуна была на плаву. Отдав швартовы, я начал верповать вручную, так как брашпиль был испорчен. Скоро шхуна подошла почти к самому верпу. Он, конечно, был слишком мал, чтобы удерживать судно даже при легком бризе, поэтому я отдал большой якорь правого борта, дав побольше слабину. После обеда я начал восстанавливать брашпиль.

Целых три дня провозился я с этим брашпилем, хотя любой механик, вероятно, исправил бы его за три часа. Но я в этом ровно ничего не смыслил, и мне приходилось овладевать знаниями, которые являются азбукой для специалиста: да к тому же я должен был еще учиться пользоваться инструментами. Однако к концу третьего дня брашпиль с трехом пополам начал действовать. Он работал далеко не так хорошо, как до поломки, но все же делал свое дело, без него моя задача была бы невыполнима.

Подняв ушло у меня на то, чтобы поднять на борт обе стенки, поставить стрелу и закрепить ее оттяжками, как и в первый раз. В эту ночь я улегся спать прямо на палубе около стрелы. Мод отказалась почевать одна на берегу и устроилась в матросском кубрике. Днем Волк Ларсен опять сидел на палубе, прислушиваясь к тому, что мы делаем, и беседовал с нами на посторонние темы. Никто из нас ни словом не обмолвился о произведенных им разрушениях, и он больше не требовал, чтобы я оставил его шхуну в покое. Но и по-прежнему боялся его — слепоты, беспомощного и все время истерично прислушивающегося. Работая, я старался держаться подальше, чтобы он не мог вцепиться в меня своей мертвой хваткой.

В эту ночь, заснув возле нашей драконовой стрелы, я очнулся от звука шагов. Была звездная ночь, и я увидел темную фигуру Волка Ларсена, движущуюся по палубе. Я вылез из-под одеяла и неслышно подкрался к нему. Вооружившись плотничным скобелем, я вылез из ящика с инструментами, он собирался перерезать им тросы фиделардги, которыми я снова оснастил стрелу. Нацупав веревки, он убедился, что я оставил их ненапрянутыми. Тут скобелем ничего нельзя было сделать, и он натянул гафель-гардели и закрепил их. Он уже готов был перепилить их скобелем, когда я произнес негромко:

— На вашем месте я бы не стал этого делать.

Он устыдился, как я взвел курок револьвера, и засмеялся.

— Хэлло, Хэмп! — сказал он. — Я ведь все время знал, что вы здесь. Моих ушей вы не обманете.

— Лжете, Волк Ларсен, — сказал я, не повышая голоса. — Но у меня руки чешутся пристрелить вас, так что делайте свое дело, режьте.

— У вас всегда есть эта возможность, — насмешливо сказал он.

— Делайте свое дело! — угрожающе повторил я.

— Предпочитано доставить вам разочарование, — со смехом проворкотал он, повернувшись на каблучках и ушел на корму.

Наутро я рассказал Мод об этом ночном происшествии, и она заявила:

— Что-то нужно предпринять, Хэмфри! Оставаясь на свободе, он может сделать все что угодно. Он способен затопить шхуну, поджечь ее. Известно, что он выкинет. Его нужно посадить под замок.

— Но как? — спросил я, беспомощно пожав плечами. — Подойти к нему близко я не решаюсь и в то же время не могу заставить себя выстрелить в него, пока его сопротивление остается пассивным. И он это знает.

— Должен же быть какой-то способ, — возразила Мод. — Дайте мне подумать.

— Способ есть, — мрачно заявил я.

Она с надеждой поглядела на меня.

Я поднял охотничью дубинку.

— Убить его она не убоет, — сказал я, — а прежде чем он придет к себе, я успею связать его по рукам и ногам.

Но Мод с содроганием покачала головой.

— Нет, только не это! Нужно найти какой-нибудь менее зверский способ. Подождем еще.

Ждать нам пришлось недолго — дело решилось само собой. Утром после нескольких неудачных попыток я наконец определил центр тяжести фок-мачты и закрепил несколько выше его подъемные тали. Мод направила трос на брашпиль и складывала в бухту сбегавший конец. Будь брашпиль в исправности, наша задача была бы несложной, а так мне приходилось со всей силой налетать на рукоятку, чтобы поднять мачту хотя бы на один дюйм. То и дело я присаживался отдохнуть. По правде говоря, я больше отдыхал, чем работал. Когда, невзирая на все мои усилия, рукоятка не подавалась,

Мод, держа конец одной рукой, ухитрялась еще помогать мне, налегая на рукоятку своим хрупким телом.

Через час оба блока сошлись у вершины стрелы. Дальше поднимать было некуда, а мачта все еще не перевалилась через борт. Изумлением своим она легла на планшир левого борта. В то время как перхушка ее нависала над водой далеко за правым бортом. Стрела оказалась коротка, и вся моя работа свелась к нулю. Но я уже не приходил в отчаяние, как прежде. Я начал обретать все большую веру в себя и в потенциальную силу брашпиля, стрел и подъемных талей. Способ поднять мачту, несомненно, существовал, и мне оставалось только найти его.

Пока я размышлял над этой задачей, на кот вышел Волк Ларсен. Нам сразу бросилось в глаза, что с ним творится что-то неладное. Во всех его движениях еще сильнее чувствовалась какая-то нерешительность, раслабленность. Проходя вдоль рубки, он несколько раз споткнулся, а поравнявшись с краем юта, сильно пошатнувшись, поднял руку уже знакомым мне жестом, — словно смахивая паутину с лица, — и вдруг замерел по ступенькам вниз. Широко расставив руки и поисках опоры, он, шатаясь, пошел по палубе и остановился, покачиваясь из стороны в сторону, у люка кубрика охотников. Потом почти у него подкосились, и он рухнул на палубу.

— Припадок! — шепнул я Мод.

Она кивнула мне, и я снова прочел сострадание в ее взгляде.

Мы подошли к Волку Ларсену. Он, казалось, был без памяти и даже судорожно, прерывисто. Мод сейчас же взялась за дело и приняла его голову, чтобы предотвратить прилив крови, и посадила меня в каяку за полушкой. Я прихватил и одеяла, и мы посерьезнее устроили больного поудобнее. Я нащупал его пульс. Он был ровный — не часто и не слишком слабо, словом, совершенно нормально. Это удивило меня и показало мне подозрительным.

— А что, если он притворяется? — спросил я, не выпуская его руки. Мод покачала головой и посмотрела на меня с упреком. И в ту же секунду рука Волка Ларсена выскользнула из-под моих пальцев и упала в стальных тисках сдавила мое запястье. Я дико вскрикнул от неожиданности и испуга. Злорадная гримаса искажала его лицо, и больше я уже ничего не видел, — другой рукой он обхватил меня и притянул к себе.

Он отпустил мое запястье, но при этом так сдвинул меня, обхватив за спину, что я не мог шевельнуться. Свободной рукой он схватил меня за горло, и в это мгновение я испытал весь ужас и всю горечь ожидания смерти — смерти по собственной вине. Как мог я подойти так близко к его страшным ручьям? Вдруг я ощутил прикосновение других рук — Мод тщетно пыталась оторвать от моего горла душившую меня лапу. Поняв, что это бесполезно, она отчаянно закричала, и у меня похолодело сердце. Мне был знаком этот душераздирающий вопль, полный ужаса и отчаяния. Так кричали женщины, когда шел ко двору «Мартинес».

Лицо мое было прижато к груди Волка Ларсена, и я ничего не мог видеть, но слышал, как Мод побежала куда-то по палубе. Все произошло с молниеносной быстротой, но мне показалось, что протекла вечность. Сознание мое еще не успело померкнуть, когда я услышал, что Мод бегом возвращается обратно, и в то же мгновение почувствовал, как тело Волка Ларсена подало назад и обмякло. Дыхание с шумом вырывалось из его груди, на которую я налегал всей своей тяжестью. Раздался сдавленный стон: был ли то возглас бессилия, или его просто исторгло удущие — не знаю, но пальцы его, вцепившиеся мне в горло, разжались. Я плотнул воздух. Пальцы дрогнули и снова сдавили мне горло. Но даже его чудовищная сила воли уже не могла преодолеть упадка сил. Воля сдавала. Ларсен терял сознание.

Шаги Мод звучали у меня над самым ухом. Пальцы Ларсена в последний раз стиснули мое горло и разжались совсем. Я откатился в сторону. Лежа на спине, я хватал воздух ртом и моргал от солнечного света, бывшего мне прямо в лицо. Я отыскал глазами Мод: она была бледна, но внешне спокойна и смотрела на меня со смешанным выражением тревоги и облегчения. Я увидел у нее в руке тяжелую охотничью дубинку. Заметив мой взгляд, Мод выронила дубинку, словно она жгла ей руку, у меня же сердце исполнилось ликованием. Вот она — моя подруга, готовая биться вместе со мной и за меня, как билась бок о бок со своими мужчинами женщины каменного века! Условности, которыми она подчинилась всю жизнь, были забыты, и голос инстинкта, не заглушенный до конца изнеживающим влиянием цивилизации, властно заговорил в ней.

— Родная моя! — воскликнул я, с трудом поднимаясь на ноги.

В следующую секунду она была в моих объятиях и судорожно нежничала, прижав к моему плечу. Прижимая ее к себе, я смотрел на ее пышные каштановые волосы: они сверкали на солнце, словно драгоценные камни, и затмевали в моих глазах все сокровища земных царей. Я нагнулся и нежно поцеловал их, так нежно, что она и не заметила.

Но я тут же заставил себя трезво взглянуть на вещи.

Естественно, что Мод, как истаив женщина, после пережитой опасности пролила слезы облегчения в объятиях своего защитника, чья жизнь, в свою очередь, была под угрозой. Будь я ей отцом или братом, положение ничуть бы не изменилось. К тому же сейчас было не время и не место для любовных признаний, и я хотел прежде заслужить право говорить ей о своей любви. Поэтому я только нежно поцеловал еще раз ее волосы, чувствуя, что она высвобождается из моих объятий.

— Вот теперь припадок непритворный, — сказал я. — После одного из таких припадков он и потерял зрение. Сегодня он сперва притворился и, быть может, этим и вызвал приступ.

Мод уже начала поправлять ему подушку.

— Пойдите, — сказал я. — Сейчас он беспомощен — и таким должен оставаться и впредь. Теперь мы займем кают-компанию, а Волка Ларсена поместим в кубрике охотников.

Я взял его под мышки и потащил к трапу, а Мод по моей просьбе принесла веревку. Обвязав его веревкой под мышками, я спустил его по ступенькам в кубрик. У меня не хватало сил положить его на койку, но с помощью Мод мне удалось сперва приподнять верхнюю часть его туловища, а потом я закинул на койку и его ноги.

Но этим нельзя было ограничиться. Я вспомнил, что у Волка Ларсена в каюте хранятся наручники, которыми он пользовался вместе со старинных тяжелых судовых кандалов, когда ему нужно было наказывать провинившегося матроса. Мы разыскали эти наручники и сковали Ларсена по рукам и ногам. После этого, впервые за много дней, я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я испытал чувство необычайного облегчения — у меня словно гора с плеч свалилась. Я чувствовал также, что все пережитое нами нынче еще больше сблизило меня с Мод, и, направляясь вместе с ней к стреле, на которой теперь уже висела фок-мачта, мысленно спрашивал себя, ощущает ли Мод эту близость так, как я.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мы тут же пересобрались на шхуну и заняли свои прежние кайоты. Пилу мы теперь готовили себе в камбузе. Волк Ларсен попал в заточение как нельзя более вовремя. Последние дни в этих широтах стояло, как видно, бабье лето, и теперь оно внезапно пришло к концу, сменившись дождливой и бурной погодой. Но мы на шхуне чувствовали себя вполне уютно, а стрела с подвешенной к ней фок-мачтой придавала всему деловой вид и окрыляла нас надеждой на отплытие.

Теперь, когда нам удалось заковать Волка Ларсена в наручники, это оказалось уже ненужным. Второй припадок, подобно первому, вызвал серьезное нарушение жизненных функций. Мод обратила на это внимание, когда пошла под вечер накормить нашего пленника. Он был в сознании, и она заговорила с ним, но не добилась ответа. Он лежал на левом боку и, казалось, очень страдал от боли. Левое ухо его было прижато к подушке. Потом беспокойным движением он повернул голову вправо, и левое ухо его открылось. Только тут он услышал слова Мод, что-то ответил ей, а она бросилась ко мне рассказать о своем наблюдении.

Прижав подушку к левому уху Ларсена, я спросил его, слышит ли он меня, но ответа не получил. Убрал подушку, я повторил свой вопрос, и он тотчас ответил.

— А вы знаете, что вы отложили на правое ухо? — спросил я.

— Да, — отвечал он тихо, но твердо. — Хуже того, у меня поражена вся правая сторона тела. Она словно уснула. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.

— Опять притворяетесь? — сердито спросил я.

Он отрицательно покачал головой, и странная, кривая усмешка перекосила его рот. Усмешка была кривой потому, что двигалась только левая сторона рта, — правая оставалась совершенно неподвижной.

— Это был последний выход Волка на охоту, — сказал он. — У меня паралич, я больше не встану на ноги... О, поражена только та нога,

не обе, — добавил он, словно догадавшись, что я бросил подозрительный взгляд на его левую ногу, которую он в эту минуту согнул в колене, приподняв одеяло.

— Да, не повезло мне! — продолжал он. — Я хотел сперва раздеться с вами, Хэмп. Думал, что на это у меня еще хватит пороку.

— Но почему? — спросил я, охваченный ужасом и любопытством. Его жесткий рот опять покривился в усмешке, и он сказал:

— Да просто, чтобы чувствовать, что я живу и действую, чтобы до конца быть самым большим куском завадки и сожрать вас!.. Но умереть так...

Он пожал плечами, вернее хотел это сделать, — и двинул одним только левым плечом. Как и его усмешка, это движение получилось отрывисто однобоким.

— Но чем же вы сами объясняете то, что случилось с вами? Где исходитесь болезнью?

— В мозгу, — тотчас ответил он. — Это все от моих проклятых головных болей.

— Они были только симптомом болезни, — сказал я.

Он кивнул.

— Все это непонятно. Я ни разу в жизни не болел. Но вот какая-то дрянь завелась в мозгу. Рак или друтая какая-нибудь опухоль, но она пожирает и разрушает все, поражает нервные центры и поедает их — клетку за клеткой... судя по боли, которую я терплю.

— И двигательные центры поражены тоже, — заметил я.

— По-видимому. И все проклятые в том, что я обречен лежать вот так, в полном сознании, с неповрежденным умом, и отдавать концы один за другим, постепенно порывая всякую связь с миром. Я уже потерял зрение; слух и осязание покидают меня, и если так пойдет дальше, скоро я лишусь речи. И все равно буду пребывать здесь, на этой земле, живой, полный жажды действия, но бессильный.

— Когда вы говорите, что будете пребывать здесь, то подразумеваете, надо полагать, вашу душу, — сказал я.

— Чувствуй! — возмущился он. — Я подразумевало только, что высшие нервные центры еще не поражены болезнью. У меня сохранилась память, я могу мыслить и рассуждать. Когда это исчезнет, исчезну и я. Меня не будет. Душа?

Он насмешливо рассмеялся и лег левым ухом на подушку, давая понять, что не желает продолжать разговор.

Мы с Мод принялись за работу, подавленные страшной судьбой, постигшей этого человека. Насколько тяжелой была его участь, нам еще предстояло вскоре убедиться. Казалось, это было грозным возмездием за его дела. Мы были настроены торжественно и серьезно и перетоваривались друг с другом вполголоса.

— Можете снять наручники, — сказал нам Волк Ларсен вечером, когда мы стояли у его койки, обуждая, как нам с ним быть. — Это совершенно безопасно — я ведь паралитик. Теперь остается только ждать, пролежней.

Он опять криво усмехнулся, и глаза Мод расширились от ужаса; она невольно отвернулась.

— А вы знаете, что улыбка у вас кривая? — спросил я его, думая о том, что ей придется ухаживать за ним, и желая избавить ее от этого неприятного зрелища.

— В таком случае я перестану улыбаться, — хладнокровно заявил он. — Я и сам думал сегодня, что не все ладно. Правая щека словно окаменела. Да, уже три дня, как начали появляться эти признаки, — правая сторона временами как бы засыпала — то нога, то рука.

— Значит, улыбка у меня кривая? — спросил он, помогая. — Ну что ж, отныне прошу считать, что я улыбаюсь внутренне, — в душе, если вам угодно. в душе! Учите, что я и сейчас улыбаюсь.

И несколько минут он лежал молча, довольный своей мрачной выдумкой.

Характер его ничуть не изменился. Это был все тот же некротимый, страшный Волк Ларсен, заклинченный, как в темнице, в своей омертвевшей плоти, которая была когда-то такой великопленной и несокрушимой. Теперь она превратилась в оковы и замкнула его душу в молчание и мрак, отгородив его от мира, который был для него ареной столь бурной деятельности. Никогда больше не придется ему спрятать на все лады глагол «делать», «быть» — вот все, что ему осталось. А ведь именно так он и определял понятие «смерти» — «быть», то есть существовать, но вне движения; замшилять, но не исполнять; думать, рассуждать и в этом оставаться таким же живым, как вчера, но плоть — мертвым, безнадежно мертвым.

А мы с Мод, хоть я и снял с него наручники, никак не могли приныкнуть к его новому состоянию. Наше сознание отказывалось признать его. Для нас он оставался полным скрытых возможностей. Нам казалось, что в любую минуту он может вырваться из оков плоти, подниматься над ней и сотворить что-то ужасное. Столько напрягались мы от этого человека, что даже теперь ни на секунду не могли избавиться от внутреннего беспокойства.

Мне удалось разрешить задачу, вставшую передо мной, когда стрела оказалась слишком короткой. Изготовив новые хват-тали, я переставил нижний конец фок-мачты через планшир, а затем опустил мачту на палубу, после чего при помощи стрелы поднял на борт тротик. Он был длиной в сорок футов, и этого оказалось достаточно, чтобы поднять и установить мачту. При помощи вспомогательных талей, которые я прикрепил к стреле, я поднял гик почти в вертикальное положение, а потом упер его пяткой в палубу и закрепил толстыми колодами. Обыкновенный блок, который был у меня на стреле, я прикрепил к ноку гика. Таким образом, взяв ходовой коноц талей на брашпиль, я мог по желанию поднимать и опускать ноку гика, причем пятка его оставалась неподвижной, и при помощи оттяжек придавать ему наклон вправо или влево. К ноку гика я прикрепил также и подъемные тали, а когда все приспособление было закончено, поразился сам, как много оно мне дало.

Два дня ушло у меня на то, чтобы справиться с этим делом, и только на третий день утром я смог приподнять фок-мачту над палубой и приняться обтесывать ее нижний конец, чтобы придать ему нужную форму — соответственно ступе в трюме. Плотником я оказался и вовсе нискудышным. Я пилил, рубил и обтесывал неподвижное дерево, пока в конце концов оно не приобрело такой вид, словно его обгрызла какая-то гигантская крыса. Но того, что мне было нужно, я все же достиг.

— Голится, я уверен, что голится! — воскликнул я.

— Вы знаете, что доктор Джордан считает пробным камнем для истинной истины? — спросила Мод.

Я покачал головой и перестал извлекать залетевшие мне за ворот стружки.

— Пробным камнем является вопрос: «Можем ли мы заставить эту истину служить нам? Можем ли мы доверить ей свою жизнь?»

— Он ваш любимец, — заметил я.

— Когда я разрушила свой старый пантеон, выбросила из него Наполеона, Цезаря и еще кое-кого и принялась создавать себе новый, — серьезно промолвила она, — то первое место занял в нем доктор Джордан.

— Герой вполне современный!

— То, что он принадлежит современности, только делает его более великим, — сказала она. — Разве могут герои старого мира сравниться с нашими?

Я кивнул. У нас с Мод было так много общего, что между нами редко возникали споры. Мы с ней сходились в главном — в нашем мировоззрении, в отношении к жизни.

— Для двух критиков мы поразительно легко находим общий язык, — рассмеялся я.

— Для корабельного мастера и подмастерья — тоже, — пошутила она.

Мы не часто шутили и смеялись в те дни — слишком были поглощены нашим тяжелым, упорным трудом и пришибленными страстным зрением постепенного умирания Волка Ларсена.

У него повторился удар. Он потерял речь, вернее, начал терять ее. Теперь он владел ею лишь по временам. По его собственному выражению, у него, как на фондовой бирже, «телеграфный аппарат» был включен, то выключен. Когда «аппарат» был включен, Ларсен разговаривал, как обычно, только более медленно и как-то затрудненно. А потом речь внезапно покидала его, — порой прерывалась, чем он успевал закончить фразу, — и ему часами приходилось ждать, пока прерванный контакт не восстановится. Он жаловался на сильную головную боль и заранее придумал особую форму ссылки на случай, если совершенно лишится речи: один нажим пальцем обозначал «да», а два нажима — «нет». И сказал он нам об этом как раз вовремя, так как в тот же вечер окончательно потерял речь. С тех пор на наши вопросы он отвечал нажимом пальцев, а когда ему самому хотелось что-нибудь сказать, довольно разборчиво царил левой рукой на листке бумаги.

Наступила жестокая зима. Шторм следовал за штормом — со снегом, с дождем, с ледяной крупой. Котики отправились в свое дальнее путешествие на юг, и лежбище опустело. Я работал не покладая

рук. В любую непогоду, невзирая на ветер, который особенно мешал работе, я оставался на палубе с рассвета и до темна, и дело заметно шло на лад.

В свое время я допустил ошибку, когда установил стрелу, не прикрепив к ней оттяжки, и тогда мне пришлось взбираться на нее. Теперь я извлек из этого урок и заранее прикрепил снасти — штаги, шпелыгардель и дирик-фал — к верхушке фок-мачты. Но, как всегда, я потратил на эту работу больше времени, чем предполагал, — у меня ушло на нее целых два дня. А ведь еще столько дела было впереди! Паруса, например, в сущности, необходимо было изготовить много.

Пока я трудился над оснасткой фок-мачты, Мод сшивала паруса, причем в любую минуту с готовностью бросала свое занятие и спешила мне на помощь, если я не мог справиться один. Парусина была твердая и тяжелая, и Мод пользовалась настоящим матросским гардаманом и трехгранной парусной иглой. Руки у нее очень скоро покрылись волдырями, но она стойко продолжала свою работу, а ведь ей приходилось еще стирать и ухаживать за больными!

— Долгой суеверия! — сказал я в пятницу утром. — Будем ставить мачту сегодня!

Все подготовительные работы были закончены. Взяв тали гика на брашпиль, я поднял мачту так, что она отделилась от палубы. Затем, закрепив эти тали, я взял на брашпиль тали стрелы, прикрепленные к ноку гика, и несколькими поворотами рукоятки привел мачту в вертикальное положение над палубой.

Мод — как только я освободил ее от обязанности держать сходящий с барабана конец — захлопала в ладоши и закричала:

— Голитесь! Голитесь! Мы доверим ей свою жизнь! Но лицо ее тут же омрачилось.

— А ведь мачта не над отверстием, — сказала она. — Неужели вам придется опять начинать все сызнова?

Я снисходительно улыбнулся и, подправив одну из оттяжек гика и подтянув другую, подвел мачту к центру палубы. И все-таки она вела еще не точно над отверстием. Лицо Мод опять вытянулось, а я снова снисходительно улыбнулся и, маневрируя талими гика и стрелы, подтянул мачту прямо к отверстию в палубе. После этого

я подробно объяснил Мод, как опускать мачту, а сам спустился и трюм к стеньге, установленном на дне шхуны.

Я крикнул Мод, чтобы она начинала травить. Мачта пошла вниз легко и точно — прямо к четырехугольному отверстию стеньги. Однако при спуске она немного повернулась вокруг своей оси, и стороны четырехугольного шпора перестали совпадать со сторонами стеньги. Но я тут же сообщил, что надо сделать. Крикнув Мод, чтобы она перестала травить, я поднялся на палубу и стопорным узлом прикрепи к мачте хват-тали. Потом снова спустился в трюм, сказав Мод, чтобы она по моей команде тянула хват-тали. При свете фонаря я увидел, как мачта медленно поворачивается и стороны шпора становятся параллельно сторонам стеньги. Мод закрепила тали и вернулась к брашпиллю. Медленно опускаюсь, мачта проходила последние несколько дюймов, но тут снова начала поворачиваться. Однако Мод опять выправила ее хват-талими и продолжила травить брашпилем. Квадраты совпали, мачта вошла в стеньгу.

Я громко закричал, и Мод бросилась ко мне. При желтом свете фонаря мы жадно лобовались плодами своих трудов. Потом взглянули друг на друга, и руки наши невольно сцепились. Боюсь, что на глазах у нас выступили слезы радости.

— В конце концов это было не так уж трудно, — заметил я. — Вся трудность заключалась в подготовке.

— А все чудно — в осуществлении, — подхватила Мод. — Мне даже не верится, что эта огромная мачта поднята и стоит на своем месте, что вы вытянули ее из воды, пронесли по воздуху и опустили здесь, в ее гнездо. Труд титана!

— «И многое другое изобрели они», — весело начал я, но тут же умолк и втянул носом воздух.

Я бросил взгляд на фонарь. Нет, он не коптит. Я снова понохолил воздух.

— Что-то горит! — уверенно сказала Мод.

Мы оба бросились к трапу, но я обогнал ее и первым выскочил на палубу.

Из люка кубрика валил густой дым.

— Волк еще жив! — пробормотал я и прыгнул вниз.

В тесном помещении дым стоял плотной стеной, и я мог продвигаться только ощупью. Образ прежнего Волка Ларсена все еще

так действовал на мое воображение, что я бы, кажется, не удивился, если бы этот беспомощный великан вдруг схватил меня за горло и начал душить. Желание броситься обратно вверх по трапу чуть не победило во мне, но я тут же вспомнил о Мод. На мгновение я увидел ее перед собой — такой, какой только что видел в трюме при тусклом свете фонаря, — увидел ее карие глаза, в которых сверкали слезы радости, и понял, что не могу обратиться в бегство. Задыхаясь от дыма, я добрался до койки Волка Ларсена и нащупал его руку. Он лежал неподвижно, но слегка пошевелился, когда я прикоснулся к нему. Я ощупал его одеяло снаружи и изнутри, но ничего не обнаружил. Откуда же этот дым, который слепит меня, душит, заставляет кашлять и ловить воздух ртом? На мгновение я совсем потерял голову и, как безумный, заметался по кубрику. Налетев с размаху на стену, я пришел в себя и немного успокоился. Я сообщил, что если парализованный человек и мог устроить пожар, то только в непосредственной близости от себя.

Я вернулся к койке Волка Ларсена и столкнулся с Мод. Не знаю, сколько времени она пребывала в этом дыму.

— Ступайте наверх — решительно приказал я.

— Но, Хэмфри... — возразила было она каким-то чужим, сиплым голосом.

— Нет, уж, пожалуйста, прошу вас! — резко крикнул я.

Она послушно отошла от койки, но тут я испугался: а вдруг она не найдет выхода. Я бросился за ней — у трапа ее не было. Может быть, она уже поднялась? Я стоял в нерешительности и внезапно услышал ее слабый возглас:

— О Хэмфри, я заблудилась!

Я нашел Мод у задней переборки, по которой она беспомощно шаркала руками, и вытащил ее наверх. Чистый воздух показался мне нектаром. Мод была в полубоморочном состоянии, но я оставил ее на палубе, а сам опять кинулся вниз.

Источник дыма надо было искать возле Волка Ларсена — в этом я был убежден и потому направился прямо к его койке. Когда я снова стал ощущать одеяло, что-то горячее упало сверху мне на руку и обожгло ее. Я быстро отдернул руку, и мне все стало ясно. Сквозь щель в досках верхней койки Волк Ларсен поджег лежавший на ней пиджак, — для этого он еще достаточно владел левой рукой. Подо-

жженная снизу и лишенная доступа воздуха, волглая солома матраца медленно тлела.

Я стал стаскивать матрац с койки, и он распался у меня в руках на куски. Солома вспыхнула ярким пламенем. Я затушил остатки соломой, тлевшей на койке, и бросился на палубу плотнунуть свежего воздуха.

Притащив несколько ведер воды, я загасил тюфак, торевший на полу кубрика. Минут через десять дым почти рассеялся, и я позвонил Мод сойти вниз. Волк Ларсен лежал без сознания, но свежий воздух быстро привел его в чувство. Мы все еще хлопотали возле него, как вдруг он знаком попросил дать ему карандаш и бумагу.

«Прошу не мешать мне, — написал он. — Я улыбаюсь».

«Как видите, я все еще кусок закуска!» — приписал он немного погодя.

— Могу только радоваться, что кусок этот не слишком велик, — сказал я вслух.

«Благодарю, — написал он. — Но вы подумали о том, что, прежде чем исчезнуть совсем, он должен еще значительно уменьшиться?»

«А я еще здесь, Хэмп, — написал он в заключение. — И мысли у меня работают так ясно, как никогда. Ничто не отвлекает их. Полный сосредоточенности. Я весь здесь, даже мало сказать — здесь...»

Слова эти показали мне вестью из могильного мрака, ибо тело этого человека стало его усыпальницей. И где-то в этом страшном склепе все еще трепетал и жил его дух. И так предстояло ему жить и трепетать, пока не оборвется последняя нить, связывающая его с внешним миром. А там, кто знает, как долго суждено ему было еще жить и трепетать?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

«Кажется, левая сторона тоже отнимается, — написал Волк Ларсен на другое утро после своей попытки поджечь корабль. — Онемение усиливается. Едва шевелю рукой. И говорите теперь погромче. Судно последние концы».

— Вы чувствуете боль? — спросил я.

Мне пришлось повторить вопрос более громко, и только тогда он ответил: «Временами».

Его левая рука медленно, с трудом царапала по бумаге, и разобравшись его каракули было нелегко. Они напоминали ответы духов, которые преподносят вам на спиритических сеансах, где вы платите доллар за вход.

«Но я еще здесь, я еще весь здесь», — все медленнее и неразборчивее выводила его рука.

Карандаш выпал у него из пальцев, и пришлось вложить его снова.

«Когда боли нет, я наслаждаюсь тишиной и покоем. Никогда еще мои мысли не были так ясны. Я могу размышлять о жизни и смерти, как йог».

— И о бессмертии? — громко спросила Мод, наклоняясь к его уху. Три раза он безуспешно пытался нацарапать что-то, но карандаш вываливался из его руки. Напрасно пробовали мы вложить его обратно, — пальцы уже не могли удерживать карандаша. Тогда Мод сама прижала его пальцы к карандашу и держала так, пока его рука медленно, столь медленно, что на каждую букву уходила минута, вывела крупными буквами: «Ч-У-Ш-Ь».

Это было последнее слово Волка Ларсена, оставшегося неиспряженным скептиком до конца дней своих. «Чушь!» Пальцы перестали двигаться. Тело чуть дрогнуло и замерло. Мод выпустила его руку, отчего пальцы его слегка разжались и карандаш выпал.

— Вы слышите меня? — крикнул я, взяв его за руку и ожидая утвердительного нажима пальцев. Но они не двинулись. Рука была мертва.

— Он пошевелил губами, — сказала Мод.
Я повторил вопрос. Губы шевельнулись снова. Мод коснулась их кончиками пальцев, и я еще раз повторил вопрос.

— «Да», — объявила Мод.

Мы вопросительно посмотрели друг на друга.

— Какая от этого польза? — пробормотал я. — Что мы можем сказать ему?

— О, спросите его...

Она остановилась в нерешительности.

— Спросите его о чем-нибудь, на что он должен ответить «нет», — подсказал я. — Тогда мы будем знать наверняка.

— Вы хотите есть? — крикнула она.

Губы шевельнулись, и Мод объявила:

— «Да».

— Хотите мяса? — спросила она затем.

— «Нет», — прочла она по его губам.

— А бульона?

— Да, он хочет бульона, — тихо сказала она, подняв на меня глаза. — Пока у него сохраняется слух, мы можем общаться с ним. А потом...

Она посмотрела на меня каким-то странным взглядом. Губы у нее задрожали, и на глазах навернулись слезы. Она вдруг покачулась, и я едва успел подхватить ее.

— О Хэмфри! — воскликнула она. — Когда все это кончится? Я так измучена, так измучена!

Она уткнулась лицом мне в плечо, рыдания сотрясали ее тело. Она была как перышко в моих объятиях, такая тоненькая, хрупкая. «Первы не выдержали», — подумал я. — А что я буду делать без ее помощи?

Но я успокаивал и ободрял ее, пока она мужественным усилием воли не взяла себя в руки; крепость ее духа была под стать ее физической выносливости.

— Как мне только не совестно! — сказала она. И через минуту добавила с лукавой улыбкой, которую я так обожал: — Но я ведь всего-навсего малышка!

Услышав это слово, я вздрогнул, как от электрического тока. Ведь это было то дорожное мне, заветное слово, которым выражал и втайне мою нежность и любовь к ней.

— Почему вы называли себя так? — взволнованно вырывалось у меня. Она взглянула на меня с удивлением.

— Как «так»? — спросила она.

— «Малышка».

— А вы не называли меня так?

— Да, — ответил я. — Называл про себя. Это мое собственное словечко.

— Значит, вы разговаривали во сне, — улыбнулась она.

И снова я уловил в ее глазах этот теплый, трепетный отблеск. О, знаю, что мои глаза говорили в эту минуту красноречивее всяких слов. Меня неудержимо влекло к ней. Помимо воли я склонился к ней, как дерево под ветром. Как близки были мы в эту минуту! Но она тряхнула головой, словно отгоняя какую-то мысль или грезу, и сказала:

— Я помню это слово с тех пор, как помню себя. Так мой отец называл мою маму.

— Все равно оно мое, — упрямо повторил я.

— Вы, может быть, тоже называли так свою маму?

— Нет, — сказал я; и больше она не задавала вопросов, но я готов был поклясться, что в ее глазах, когда она смотрела на меня, вспыхивали насмешливые и задорные искорки.

После того как фок-мачта стала на свое место, работа наша быстро пошла на лад. Я сам удивился тому, как легко и просто удалось нам установить грот-мачту в степе. Мы сделали это при помощи подъемной стрельы, укрепленной на фок-мачте. Еще через несколько дней все штаны и ванты были на месте и обтянуты. Для команды из двух человек тонсела представлял только лишнюю обузу и даже опасность, и поэтому я уложил стеньги на палубу и крепко принайтовил их.

Еще два дня провозились мы с парусами. Их было всего три: кливер, фок и грот. Залатанные, укороченные, неправильной формы, они казались уродливым убранством на такой стройной шхуне, как «Призрак».

— Но они будут служить! — радостно воскликнула Мод.

— Мы заставим их служить нам и доверим им свою жизнь!

Прямо скажу: из всех новых профессий, которыми я понежному опинал, меньше всего удалось мне блеснуть в роли парусника.

Управлять парусами, казалось, было мне куда легче, нежели сплывать их, — во всяком случае, я не сомневался, что сумею привести шхуну в какой-нибудь из северных портов Японии. Я уже давно начал изучать кораблевождение с помощью учебников, которые отыскались на шхуне, а кроме того, в моем распоряжении был звездный планшет Волка Ларсена, — а ведь, по его словам, им мог пользоваться даже ребенок.

Что касается самого изобретателя планшета, то состояние его всю эту неделю оставалось почти без перемен, только глухота усилилась да еще слабее стали движения губ. Но в тот день, когда маты «Призрака» оделись в паруса, Ларсен последний раз уловил какой-то звук извне и в последний раз пошевелил губами. Я спросил его: «Вы еще здесь?» — и губы его ответили: «Да».

Порвалась последняя нить. Его плоть стала для него могилей, ибо в этом полумертвом теле все еще обитала душа. Да, этот свирепый дух, который мы успели так хорошо узнать, продолжал гореть среди окружающего его безмолвия и мрака. Его плоть уже не принадлежала ему — он не мог ее ощущать. Его телесная оболочка уже не существовала для него, как не существовал для него и внешний мир. Он создавал теперь лишь себя и бездонную глубину покоя и мрака.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Настал день отпущения. Больше ничто не задерживало нас на Острове Усилий. Куцые маты «Призрака» стояли на местах, неся на себе уродливые паруса. Все, что выходило из моих рук, не отличалось красотой, но держалось крепко. Я знал, что эти маты и паруса еще послужат нам, и подглядывал на них с безотчетным сознанием своей силы.

«Я сам сделал это! Сам! Своими руками!» — хотелось крикнуть мне.

Не раз уже случалось, что Мад высказывала влух мои мысли или я угадывал, о чем думает она; на этот раз, когда мы готовились подняться глот, она сказала:

— Подумать только, Хэмфри, что все это сделали вы, своими руками!

— Здесь, мне кажется, потрудились еще пара рук, — ответил я. — Две крошечные ручки. Только не говорите, пожалуйста, что это выражение вашего отца!

Она рассмеялась, покачала головой и принялась разглядывать свои руки.

— Мне ни за что не отмыть их теперь, — жалобно протворила она. — И кожа так обветрилась и загубела — уже, должно — быть, лопнет.

— В таком случае эта обветренная кожа и вьвязалась во все поры тела, всегда будут делать вам честь, — сказал я, взяв ее руки в свои. И, верно, не удержался бы и, несмотря на все мои торжественные решения, расцеловал эти дорогие руки, если бы она поспешно не отняла их.

Наши товарищеские отношения теперь все чаще находились под угрозой. Я долго и успешно смирял свою любовь, но она начинала протыкать надо мной верх. Она сломала мою волю и своеобразно подчинила себе мои глаза и отчасти мой язык и даже губы, ибо в эту самую минуту мне неудержимо хотелось расцеловать эти маленькие

ручки, которые трудились вместе со мной так преданно и упорно. Я терял голову. Все мое существо рвалось к Мод, и все во мне громко кричало о моей любви. Любовь налетела, подобно урагану, и я уже не в силах был ей противиться. И Мод видела это. Она не могла не видеть этого, потому так поспешно и выдернула она свои руки из моих. И все же что-то заставило ее — прежде чем она отвела глаза — бросить на меня быстрым, пытливым взглядом...

При помощи хват-галей я взял тардэль и дирик-фал на брашпиль и теперь мог одновременно поднять передний и задний углы грота. Парус полз вверх довольно неуклюже, но быстро, а вскоре и фок расправился и затрепетал на ветру.

— В такой маленькой бухточке мы ни за что не успеем поднять якорь, — сказал я. — Прежде чем нам это удастся, шхуну разобьет о скалы.

— Что же делать? — спросила Мод.

— Вытащить цепь совсем, — отвечал я. — Пока я буду травить, вам придется стать к брашпилю. А как только я покончу с якорем, так побегу к штурвалу, а вы поднимете кливер.

Десятки раз я изучал и подробно разрабатывал этот маневр снятия с якоря. Я знал, что при помощи брашпиля Мод сумеет поднять кливер — самый необходимый сейчас парус. Свежий ветер задвигал в бухту, и, хотя волнение еще не поднялось, нужно было действовать быстро, чтобы благополучно вывести шхуну в море.

Я выбил болт из скобы, и якорная цепь затрохотала в кляوزه, падая в воду. Я бросился на ют и положил руль под ветер. Паруса затрепетали, наполнились ветром, шхуна накренилась и ожила. Кливер пополз вверх. Когда и он забрал ветер, нос «Призрака» стало сносить, и мне пришлось еще положить руля, чтобы удержаться на курсе.

Я придумливал особый автоматический кливер-шкот, который сам переносил кливер, когда это требовалось, так что Мод не надо было заботиться об этом. Но я уже положил руль круто на ветер, прежде чем Мод закончила поднимать кливер. Момент был напряженный: шхуну несло прямо к берегу, который находился от нас на расстоянии броска камня. Но, сильно накренившись, «Призрака» повернула и послушно привелся к ветру. Я услышал столь приятное для мое-

го слуха громкое хлопанье и трепетанье парусов и риф-штертов, и шхуна забрала ветер уже на другом галсе.

Мод закончила свое дело и, поднявшись на ют, стала рядом со мной. Щеки ее раздумались от работы, ветер развевал светлоглазые волосы, выбившиеся из-под знойной шапки, широко открытые глаза горели от волнения, а ноздри вздрагивали, жадно обирая равнявшийся нам навстречу соленый морской ветер. Ее карие глаза были как у испуганной лани. Затаяв дыхание, она встревоженно и зорко смотрела вперед. Губы ее приоткрылись. «Призрака» неся прямо на отвесную скалу у выхода из внутренней бухты, но в последнюю минуту привелся к ветру и вышел на безопасное место.

Моя работа старшим помощником во время промыслового плаванья пошла мне впрок. Я благополучно обогнул мыс первой бухты и направил шхуну вдоль берега второй. Еще один поворот на другой галс, и «Призрака» взял курс в открытое море. Мощное дыхание океана овело шхуну, и она плавно качалась на высокой волне. С утра погода была пасмурная и облачная, но тут солнце проглянуло сквозь тучи, как бы в предзнаменование нашего счастливого плаванья, и осветило изогнутый дугою берег, где мы воевали с владыками гаремов и били «холостяков». Весь Остров Усильный ярко засиял в лучах солнца. Даже мрачный югозападный мыс уже не казался таким мрачным; на влажных от прибой прибрежных скалах играли солнечные блики.

— Я всегда буду испытывать гордость, вспоминая о нем, — сказал я Мод.

Она откинула назад голову, — что-то царственное было в этом движении.

— Милый, милый Остров Усильный, — сказала она. — Я всегда буду любить его!

— И я тоже, — быстро проговорил я.

Мы читали в душе друг у друга, как в раскрытой книге. Еще миг — и взгляды наши должны были встретиться, но, сделав над собой усилие, мы отвели глаза.

Наступило неловкое молчание; я первым прервал его:

— Помните, какие тучи собираются на горизонте с навстречной стороны. Помните, еще вчера вечером я говорил вам, что барометр падает.

— И солнце скрылось... — сказала она. Глаза ее были устремлены на наш остров, где мы доказали судье, что умеем постоять за себя, и где прекраснейшие узлы дружбы и товарищества накрепко связали нас друг с другом.

— Ну что ж, потравим шкоты, и курс на Японию! — весело крикнул я. — Как это: «Попутный ветер, потравленный шкот!»

Закрепив штурвал, я спрыгнул с юта, дал слабину на фока — и грота-шкоты, выбрав тали гиков и поставил паруса так, чтобы принять добрый попутный ветер.

Ветер был свежий, даже слишком свежий, но я решил идти под всеми парусами, пока это не станет опасно. К сожалению, при попутном ветре нельзя закрепить штурвал, и поэтому мне предстояла бесценная вахта до утра. Мод требовала, чтобы я позовил ей сменить меня, но вскоре сама убедилась, что ей будет не под силу держать курс при такой высокой волне, даже если бы она и сумела в столь короткий срок овладеть этой премудростью. Открытие это чрезвычайно оторчило ее, но вскоре она утешилась, свертывая в бухты тали, фалы и подбирая концы, валявшиеся на палубе. Да к тому же ей ведь нужно было еще готовить еду, стелить постели, ухаживать за Волком Ларсеном. Свой трудовой день она закончила генеральной уборкой кают-компания и кухни.

Всю ночь я бесценно простоял у штурвала. Ветер понемногу крепчал, и волнение усиливалось. В пять утра Мод принесла мне горячего кофе и лепешку, которую испекла сама, а в семь часов плотный горячий завтрак придал мне новые силы.

Целый день ветер крепчал и крепчал. Казалось, он был преисполнен упрямой решимости дуть и дуть безостановочно и все сильнее и сильнее. «Призрак» мчался вперед, пена волны и плотная мушкетерская волна. Мне до смерти жаль было терять такой ход, но к вечеру я изнемог. Хотя я и очень закалился и окреп, но тридцатичасовая вахта за рулем была пределом моей выносливости. Мод уговаривала меня положить шхуну в дрейф, да я и сам понимал, что, если ветер и волнение за ночь еще усилятся, мне будет уже не под силу сделать это. Поэтому, когда на море пали сумерки, я с чувством досады и вместе с тем облегчения начал приводить «Призрака» к ветру.

Однако я никак не предполагал, что взять рифы у трех парусов столь неимоверно трудное дело для одного человека. Пока шхуна шла бакишта, я не мог ощутить всей силы ветра и, только начав приводиться, почувствовал с испугом, если не сказать с отчаянием, всю его свирепую мощь. Ветер парализовал каждое мое усилие, рвал парус у меня из рук и мгновенно сводил на нет все, чего мне удавалось достигнуть ценою упорной, ожесточенной борьбы с ним. К восьмью часам я успел взять лишь второй риф у фока. К одиннадцати часам дело не подвинулось ни на йоту. Я только в кровь ободрал себе пальцы и обломал ногти до самого мяса. От боли и изнеможения я тихонько плакал в темноте, прячась от Мод.

Совсем приди в отчаяние, я отказался от попыток взять рифы у грота и решил попробовать лечь в дрейф под одним зарифленным фоком. Три часа ушло у меня на то, чтобы закрепить спущенный прот и кливер, а в два часа ночи, еле живой, едва не теряя сознания от усталости, я понял, что попытка удалась, и с трудом поверил своим глазам. Зарифленный фок делал свое дело, и шхуна держалась круто к ветру, не проявляя стремления повернуть бортом к носу.

Я был страшно голоден, но Мод тщетно старалась заставить меня что-нибудь съесть: я засыпал с куском во рту, а не то так даже не успев донести его до рта. Потом вдруг вздрагивал, и просыпался в сматывании, и видел, что рука моя с вилкой еще висит в воздухе. Я был так беспомощен и слаб, что Мод приходилось поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула при первом же крене судна.

Не помню, как добрался я из камбуза до своей каюты. Верно, я был похож на лунатика, когда Мод вела меня туда. Очнувшись я уже на своей койке и заметил, что башмаки с меня сняты. Сколько прошло времени, я не знал. В каюте было темно. Все тело у меня ломило, и я с трудом мог пошевелиться, а прикосновение одежды к моим израненным пальцам причиняло нестерпимую боль.

Я решил, что утро еще не настало, и, закрыв глаза, мгновенно снова погружился в сон. Я не знал, что проспал почти сутки и что уже опять наступил вечер.

Я проснулся вторично, оттого что сон мой стал неспокоен. Чиркнув спичкой, я посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы в три часа ночи. В первую минуту это меня озадачивало, но я тут же сообразил, в чем дело. Немудрено, что сон мой стал беспокойен, ведь я проспал двадцать один час! Я еще полежа, прислушиваясь, как завывает ветер и волны бьют о борт, а потом повернулся на бок и мирно проспал до утра.

Я встал в семь часов и, не обнаружив Мод в кают-компании, решил, что она в камбузе готовит завтрак. Выйдя на палубу, я убедился, что «Призрака» отлично держится под своим маленьким парусом. В камбузе топились плита и кипел чайник, но Мод не было и там.

Я нашел ее в кубрике у койки Волка Ларсена. Я выглядел в него и подумал: вот человек, который в полном расцвете сил потерпел крушение и оказался погребенным заживо. Что-то новое почувствовалось мне в смгчившихся чертах его застывшего тела. Мод посмотрела на меня, и я понял.

— Его жизнь утасла во время шторма, — сказал я.

— Но она не окончена для него, — промолвила с глубоким убеждением Мод.

— Сила его была чрезмерна.

— Да, — сказала Мод. — Но теперь она уже не обрекает его. Дух его свободен.

— Да, теперь дух его свободен, — повторил я и, взяв ее за руку, увел на палубу.

За ночь шторм заметно утих. Но он затихал так же постепенно, как и нарастал, и утром, когда я поднял на палубу пригтовленное к погребению тело Волка Ларсена, был еще довольно сильный ветер и большие волны. Вода поминутно заливала палубу и стекала в шпигаты. Внезапный порыв ветра накренил шхуну, и она зарылась в воду по планшир подветренного борта. Ветер истошно выли в снастях. Мы с Мод стояли по колено в воде. Я обнажил голову.

— Я помню только часть похоронной службы, — сказал я. — Она гласит: «И тело да будет предано морю».

Мод взглянула на меня удивленно и нетолующе. Но передо мною воскресла сцена, свидетелем которой я был когда-то, и это воспоминание властно побуждало меня отдать последний долг Вол-

ку Ларсену именно так, как он отдал его в тот памятный день своему помощнику. Я приподнял крышку люка, и завернутое в брезент тело соскользнуло ногами вперед в море. Привязанный к нему груз потянул его вниз. Оно исчезло.

— Прощай, Люцифер, гордый дух! — прошептала Мод так тихо, что ее слова затонули в реве ветра, и я разгадал их лишь по движению ее губ.

Держась за планшир, мы пробрались на кот, и я случайно бросил взгляд в подветренную сторону. В эту минуту «Призрака» вымыл на высокую волну, и я совершенно отчетливо увидел милах в двух-трех от нас небольшой пароход. Ныряя и снова взлетая на гребни волн, он шел прямо на нас. Он был окрашен в черный цвет, и мне сразу припомнились рассказы охотников об их браконьерских похождениях. Я понял, что это таможенное судно Соединенных Штатов. Я показал на него Мод и последил за ним, пока он не скрылся из виду. Я оставил Мод там, а кинулся было вниз к сигнальному шкафу, но тут же вспомнил, что при оснащении «Призрака» не позаботился о сигнальном флаге.

— Нам незачем поднимать сигнал бедствия, — сказала Мод. — Они все поймут, увидев нас!

— Мы спасены, — спокойно и торжественно сказал я. Я ликовал, радость меня душила... И вдруг я прибавил: — Мы спасены — и вот я не знаю, радоваться мне или нет?

Я посмотрел на Мод. Теперь мы больше не боялись встретиться взглядами. Нас властно толкнуло друг к другу, и уже не помню как, но Мод очутилась в моих объятиях.

— Нужно ли говорить? — спросил я.

Она ответила:

— Не нужно... Но услышать это было бы так приятно...

Губы ее слились с моими. Не знаю почему, но перед моими глазами вдруг встала кают-компания «Призрака» и мне вспомнилось, как Мод однажды прикончилась кончиками пальцев к моим губам, шепча: «Успокойтесь, успокойтесь!»

— Жена моя, моя единственная! — сказал я, нежно глядя ее плечу, как делают это все влюбленные, хотя никто их этому не учил. — Моя малышка!

— Муж мой! — сказала она, на мгновение подняв на меня глаза, и, тут же опустив затрепетавшие ресницы, с тихим счастливым вздохом прильнула к моей груди.
Я посмотрел на таможенный пароход. Он был совсем близко. С него уже спустились шлюпку.
— Еще поцелуй, любовь моя! — прошептал я. — Еще один поцелуй, прежде чем они подойдут...
— И спасут нас от нас самих, — закончила она с пленительной улыбкой, исполненной нового, еще не знакомого мне лукавства — лукавства любви.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кокни — уроженец Лондона, так обычно называют простой лондонский люд.
2. Телеграфная гора — ирландский район в Сан-Франциско.
3. Сокращение имени Хэмфри (Humphrey). В то же время намек на сутулость (hump — горб) людей умственного труда.
4. Билл Сайкс — персонаж из романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста».
5. Калибан — уродливое человекоподобное существо, воплощает грубые силы природы, подчиненные человеческому разуму.
6. Сетевос — в мифологии южноамериканских индейцев бог враждебных человеку стихий.
7. Брахминг Роберт (1812—1889) — английский поэт романтического направления. Разработал жанр «драматических монологов», коротких поэтических исповедей исторических и вымышленных лиц, живших главным образом в эпоху Возрождения.
8. Имеется в виду монолог Калибана, бунтующего против всеобщей человеческого разума из поэмы Р. Браунинга «Калибан о Сетевосе, или Натуртеология на острове».
9. Миссис Грэнди — персонаж популярной пьесы английского драматурга Мортона (1764—1838) — олицетворение ханжества.
10. Канак — гаваец или полинезец.
11. «Пони» — простонародное название кредитного билета в двадцать пять фунтов стерлингов.
12. Мейнелл Алиса (1847—1922) — английская поэтесса и литературный критик.
13. Браунинг Элизабет (1806—1861) — английская поэтесса, ее поэмы носят дидактический, религиозно-морализаторский характер. Среди них выделяется «Аврора Ли» (1857) — роман в стихах о женском равноправии.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ

Анкерок — бочонок для пресной воды.

Бак — носовая часть верхней палубы.

Бакинга — курс, при котором направление движения судна составляет от 100 до 1700 с направлением ветра; ветер дует косо в корму.

Банка — сиденье для гробцов на шлюпке.

Баркентина — трех- и более мачтовое парусное судно, имеющее на передней мачте прямые паруса, а на остальных косые.

Бейдевинд — курс, при котором направление движения судна составляет от 100 до 800 с направлением ветра; ветер дует спереди сбоку.

Бизань-мачта — самая задняя мачта на трех- и более мачтовом судне.

Биссы — поперечные связи судна, на которые сверху настилаются палуба.

Битенги — одиночные деревянные или металлические тумбы для крепления троса.

Бом-кливер — передний из косых треугольных парусов на носу судна.

Брашпиль — ворот с горизонтальным барабаном, служащий для подъема якоря и для тяги снастей.

Бухта троса — свернутый кругами трос.

Бушприт — деревянный брус, выступающий горизонтально или слегка наклонно с носа судна, к нему привязываются нижние передние углы бом-кливера и кливера.

Ванты — снасти, поддерживающие мачту и идущие от нее наклонно к бортам. Имеют веревочные ступеньки — выбленки. Форванты — ванты на фок-мачте; грот-ванты — ванты на грот-мачте.

Верр — небольшой якорь.

Выбойка — рычаг для вращения вручную якорного шпиля.

Выносить на ветер — перемещать нижний задний угол паруса на наветренный борт.

Галион — тип большого парусного судна.

Галис — курс судна относительно ветра. Идти правым или левым галисом — идти при ветре, дующем с правой или левой стороны.

Галфинд — курс, при котором направление движения судна образует угол от 800 до 1000 с направлением ветра. Ветер дует прямо в борт судна.

Гафель — наклонный брус, упирающийся одним концом в мачту и служащий для подъема верхнего паруса.

Гафель-гардель — снасть, служащая для подъема переднего конца гафеля.

Гик — горизонтальный брус, упирающийся одним концом в мачту. К нему привязывается нижний край нижнего паруса.

Гитовы — снасти для подтягивания нижней кромки паруса к верхней.

Грот — нижний парус на грот-мачте.

Грот-мачта — вторая от носа мачта.

Дирик-фал — снасть, которой поднимают гафель.

Каперы — каперские суда, то есть вооруженные частные корабли, занимающиеся с разрешения своего правительства задержанием и захватом в море неприятельских судов.

Кат-балки — поворотные балки, установленные на носу судна и служащие кранами для подъема якорей на палубу.

Киль — продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали набора судна — корабельного скелета. Выдвижной киль, или шверт, — вертикальный плавник, выдвигаемый в воду через прорезь в днище, отраженную специальным ящиком — ко-подцем, и служащий для уменьшения бокового сноса — дрейфа под действием ветра.

Кильватер — струя, остающаяся некоторое время заметной за кормой идущего судна. Идти в кильватере — следовать в кильватерной струе идущего впереди судна.

Кливер — второй из косых треугольных парусов на носу судна.

Кливер-фал — снасть, с помощью которой поднимается кливер.

Клипер — судно, принадлежавшее к самому быстрому классу парусных судов. Клиперы имели огромное количество парусов, которые редко убирались даже при штормовых ветрах.

Клютик — деревянный кружок, накрывающий верхушку мачты или стеньги.

Клюз — отверстие в борту, через которое проходит якорная цепь.

Кнехты — парные металлические тумбы, прикрепленные к палубе и служащие для крепления троса.

Комингс — высокая закраина люка, служащая ограждением от воды.

Кокпит (буквально «петушиная яма») — открытый сверху, обычно сообщавшийся с каютной надстройкой вырез в кормовой части палубы на небольших судах и катерах.

Корна — задняя оконечность (часть) судна.

Корфень-нагель — стержень, вставленный в отверстие кольца на мачте и служащий для крепления и подвешивания снастей.

Лаз — приспособление, служащее для измерения скорости судна или пройденного им расстояния.

Лазить — веревка, к которой прикреплен поплавок лаза.

Лесер — веревка, снасть, закрепленная обоими концами; служит для постановки некоторых парусов, для развешивания белья после стирки и т. д.

Ликтрос — мягкий трос, которым обшиваются кромки парусов.

Марсели — вторые снизу прямые паруса, здесь на мачте со смешанным, то есть и косым и прямым парусным вооружением.

Марсовые — матросы, работающие на мачтах при постановке и уборке парусов.

Мили морская — равна 1852 метрам.

На борт (руль) — повернуть руль до отказа.

Нагели — гладкие, без резьбы длинные болты, вставляемые в отверстия специальных планок с внутренней стороны фальшборта или в обоймы у основания мачты и служащие для крепления за них различных снастей.

Найтовы — тросовые или цепные крепления.

Нактоуз — привинченная к палубе тумба с надетым сверху колпачком, под которым устанавливается компас. Снабжается приспособлением для освещения компаса.

Нирал — снасть, за которую тянут вниз некоторые паруса при их уборке.

Нок — наружная оконечность всякого горизонтального или наклонного дерева, например, нок гафели.

Обводы — формы и линии корпуса судна.

Оверштаг — «поворот оверштаг» — поворот против ветра, когда судно проходит линию ветра носом.

Остойчивость — способность судна, наклоненного ветром или полой, возвращаться в прямое положение. Чем ниже центр тяжести судна, тем больше его остойчивость.

Пиллерсы — вертикальные стойки, поддерживающие палубу снизу.

Планиш – верхний брус борта шлюпки или фальшборта корабля.

Подвахтенные – сменявшиеся с вахты.

Полветра – «в полветра» – то же, что галфинд.

Полубак – площадка над палубой на носу судна.

Приводить к ветру – поворачивать судно носом к ветру.

Раздернуть – совсем отпустить шкоты, чтобы паруса (здесь пердине) свободно заполоскали и не мешали повороту судна в ту сторону, откуда дует ветер.

Ракс-бугель – скользящее по матче кольцо с крючком, служащее для подъема рейка, к которому крепится верхний край паруса.

Рангоут – деревянные или металлические части, к которым привязываются паруса.

Рей – длинные горизонтальные поперечины, подвешенные за середину к мачтам и служащие для крепления прямых трапециевидных парусов.

Риф – «обрать рифы» – уменьшать площадь паруса, подбирая и подвязывая его нижний край короткими снастями – риф-штертами, прикрепленными в два или в три ряда к парусу. Рифы берутся в случае сильного ветра.

Рубка – надстройка в виде домика на верхней палубе или мостике. На парусных шхунах и яхтах – выступающая над палубой верхняя часть каюты или кают-компания. В этом случае крыша каюты называется «палубой рубки».

Румель – рычаг, насаженный на верхнюю часть (голову) руля, с помощью которого его поворачивают.

Салп – деревянные брусья, крестообразно прикрепленные к матче; служат для привязывания снастей и как опора для стены и.

Сампан – тип плоскодонного парусного судна, распространенный на Дальнем Востоке, и в частности в Китае.

Свайка – инструмент в виде заостренного стержня, употребляемый при работах с тросами.

Сезни – здесь куски троса, служащие для привязывания свернутого паруса при уборке его на положенном месте.

Спенкер (контр-бизань) – четырехугольный косой парус, поднимаемый на задней мачте судна с полным прямым парусным вооружением.

Стаксель – третий из передних треугольных парусов непосредственно впереди фок-мачты.

Стеньга – брус, служащий продолжением мачты; фор-стенга – стеньга фор-мачты.

Стелс – деревянный брус с углублением, в которое вставляется шпор (нижний конец) мачты.

Такелаж – снасти, служащие для укрепления частей рангоута, для подъема и спуска парусов и рангоута и для управления парусами.

Тали – система блоков и тросов для подъема тяжестей, управления парусами и т.п.

Тацрен – трос или винт для подтягивания снастей стоячего такелажа.

Топ – верхушка, топ-мачта – верхушка мачты.

Топсель – верхний косой парус на грот-мачте (грот-топсель) и фокмачте (фок-топсель).

Траверз – направление, перпендикулярное продольной оси судна.

Транцевая корма – поперечный срез задней оконечности судна, образованный транцем – плоской вертикальной или слегка наклонной поверхностью из досок.

Тузик – небольшая двухвесельная шлюпка.

Туманный горн – рожок для подачи в тумане установленных сигналов парусными судами. Издает низкий и далеко слышимый звук.

Угашивать под ветер – отклоняться носом от встречного ветра.

Узел — единица измерения скорости хода судов, равная одной морской миле в час.

Фал — снасть, служащая для подъема паруса или флага.

Фалинг — трос для привязывания шлюпки. Обычно шлюпка имеет два фалинга: носовой и кормовой.

Фальшборт — продолжение борта, образующее как бы стенку вокруг верхней палубы.

Фальшкиль — брус, прикрепленный к килю снизу.

Фок — нижний парус на фок-мачте.

Фок-мачта — передняя мачта.

Фор-ванты — ванты фок-мачты.

Фордевинд — курс, при котором направление движения судна составляет угол от 1700 правого борта до 1700 левого с направлением ветра. Ветер дует прямо или почти прямо в корму. «Поворот фордевинд» — поворот кормой против ветра.

Форштевень — передняя носовая оконечность судна, являющаяся продолжением киля.

Хват-тали — небольшие тали из двух блоков, служащие для различных работ на палубе.

Швертовы — концы (тросы), с помощью которых судно привязывается к причалу или к борту другого судна.

Шкаторина — кромка паруса, обшитая мягким тросом.

Шкот — снасть, служащая для управления парусом. К слову «шкот» добавляют название паруса или гика, который им управляют: кливер-шкот, фока-гика-шкот и т.п.

Шлюп — тип небольшого одномачтового парусного судна.

Шпангоуты — поперечные ребра корабельного скелета-набора.

Шпигаты — отверстия в борту или в палубе для стока воды.

Шпир — нижняя оконечность мачты или стены или задняя оконечность бушприта.

Шпринт (шпринтов) — наклонная жердь, прикрепленная к низу мачты на шлюпке и служащая для растягивания паруса.

Штаг — снасть, поддерживающая мачту или стену спереди.

Штурм-трап — веревочная лестница.

Ют — кормовая часть палубы. На многих судах расположенные средней части палубы, образуя «полую», который, в сущности, равнозначен юту.

Якорный огонь — белый огонь, поднимаемый над носом (а на больших судах — и над кормой) при стоянке судна на якоре.



60.000.

ДЖЕК ЛОНДОН

МОРСКОЙ ВОЛК

Издательство «Фан» Академии наук
Республики Узбекистан
Ташкент – 2018

Редактор А. Зулпихаров
Худ. редактор У. Сапаев
Верстка Х. Махсудов

Лицензия АІ № 266, 15.07.2015 г.
Подписано в печать 09.11.2018 г.

Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Гарнитура «Самбита». Кегель 12.
Усл. п. л. 36,5. Тираж 700. Заказ номера 21. Цена договорная.

Оригинал-макет изготовлен в издательстве «FAN» АН РУз.
100047, г. Ташкент, ул. Я. Гўлмова, д. 70.

Издано в типографии государственного учреждения
издательства «Фан» Академии наук Республики Узбекистан.
100047, г. Ташкент, ул. Я. Гўлмова, дом 70.